

АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВ

ХРОНОСКОП,

или *Топография социального признания*



АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВ

ХРОНОСКОП,
или
Топография социального признания



ТРИ КВАДРАТА МОСКВА 2008

УДК 316.6

ББК 60.53

И26

Издатель: Сергей Митурич

Текст печатается в авторской редакции

Верстка: Татьяна Боголюбова

Корректор: Ада Мартынова

Производство: Елена Кострикина

В оформлении обложки использован рисунок Павла Филонова

ИГНАТЬЕВ, Андрей Андреевич.

Хроноскоп, или *Топография социального признания* / Андрей Игнатъев. – М.: ТРИ КВАДРАТА, 2008. — 264 с. – ISBN 978-5-94607-089-9

А.А.Игнатъев, специалист в области социологии культуры, предлагает в своей очередной книге схемы моделирования процессов, структурирующих историческое и биографическое время, при посредстве так называемой «театральной метафоры», т.е. рассматривая политическое, экономическое или иное поведение человека как особого рода «театр» со своими специфическими актерами, сценой и публикой – спектакль, драматургия которого связана с хорошо известными зодиакальными циклами. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

ISBN 978-5-94607-089-9

© А.А.Игнатъев, 2008

© «Три квадрата», 2008

**Из всех видов порядка для нас важнейшими
являются два – пространство и время.**

Дэвид Хьюм

**Жизнь – что зебра: то белая полоса,
то черная.**

Народная мудрость

Публика – дура.

Старинная актерская поговорка

1. Введение

ЭТО НЕБОЛЬШОЕ исследование когда-то было задумано как попытка ответить на вопрос, периодически возникающий перед каждым практикующим интеллектуалом: почему именно я? – не этот или кто-то из тех? – не другие, в конце концов, а именно я, любимый, обделен аплодисментами, спонсорством, голосами «за», просьбами дать автограф или другими свидетельствами повседневного социального признания – на крайний случай, кружкой холодного пива за чистым столом и в хорошей компании?

Со временем стало понятно, что универсального и окончательного ответа на этот вопрос не существует (как справедливо заметил Лев Толстой, неудача всегда уникальна), однако житейский опыт, консультативная практика и, главное, знакомство со специальной литературой позволяют сформулировать многообразные частные «модели успеха», связывающие социальное признание с определенными контролируруемыми предпосылками повседневного действия – его субъектом, ресурсами, стратегиями и, разумеется, параметрами контекста.

Таких моделей к настоящему времени известно довольно много: некоторые «модели успеха» временами рассматриваются как воплощение здравого смысла или приобретают статус продуктивной идеологической моды («будь проще, и к тебе потянутся»), другие остаются известными только узкому кругу специалистов или даже адептов, одни из них акцентируют роль самого действующего субъекта, полагая социальное признание достиже-

нием, т.е. следствием личного или группового усилия («что потопашешь, то и полопашешь»), тогда как другие рассматривают его в качестве «дара» или «права», обеспеченного какими-то конвенциями (тем же библейским «заветом», например), в их ряду и постулаты «житейской мудрости», один из которых вынесен в эпиграф, и терапевтические разработки психологов, и не столь известные, однако гораздо более влиятельные теоретические концепции социологов или экономистов, и, наконец, обыденные парадигмы признания («правила игры»), сложившиеся в различных конфессиональных, профессиональных или региональных сообществах; по отдельности все эти модели достаточно информативны и полезны, однако в совокупности отнюдь не демонстрируют какого-либо когерентного «паттерна», т.е. плохо, если вообще, согласуются друг с другом, тем самым, конечно, позволяя лишний раз убедиться, что применительно к поведению человека неправильных суждений не бывает – случаются только неуместные.

Более того, автор когда-то отдал «моделям успеха» немало и личного, и рабочего времени, поэтому вправе утверждать – для действующего субъекта, озабоченного собственной матримониальной, политической или служебной карьерой, первоочередное значение приобретают зависимости, действующие как непреложный «закон природы» и тем возмещающие дефицит эффективных социальных автоматизмов (буде он случится), тогда как любые (сколько угодно привычные) идеологемы, нормы поведения и традиции, связывающие признание с достоинствами, которые, в принципе, можно симулировать или, тем более, рассматривать как статусную ренту, сохраняют весьма ограниченную валидность. Такое положение дел наблюдается повсюду, где изменения, кризисы и катастрофы (все равно – ожидаемые или действительно состоявшиеся) ограничивают значение привычек, традиций, прецедентов и прочего «наследия предков», однако оно особенно заметно в пост-современных обществах: повседневные социальные автоматизмы признания (и, соответственно, «модели успеха», определяющие их рациональность) действуют здесь спорадически (время от времени, местами и кое-как, позволяя победителю «отмазаться», однако отнюдь не обеспечивая самой

победы), вследствие чего демонстрация личных или групповых достоинств превращается в перманентную проблему (свидетельством этому служит не только индустрия PR или рекламы, но и очевидный глобальный кризис аттестационных практик, в свою очередь, создающий куда как благоприятные условия для коррупции). Иными словами, эффективное вознаграждение чьих-нибудь личных достоинств (теми же аплодисментами, голосами «за», посещениями сайта или согласием выйти замуж) является повседневным автоматизмом, гарантирующим социальное признание, только в благополучных и устойчивых сообществах, когда стереотипы поведения, связанного с идентификацией и вознаграждением притязаний на позицию в сети «повязок», перформативное «амплуа» или компетенцию, закреплены массовыми привычками, традициями, нормами права как универсальные «правила игры», т.е. в условиях («меритократия», например), повсеместное и долговременное поддержание которых остается артефактом утопической мысли.

В этом, по-видимому, состоит одна из важнейших причин нынешнего триумфального возвращения в социологию, психологию или другие науки, изучающие поведение человека, так называемой «театральной метафоры», т.е. всем нам хорошо известной точки зрения, согласно которой мир – театр, а люди в нем – актеры, зрители или, на крайний случай, рабочие сцены; эту старинную и «вечнозеленую» поговорку традиция приписывает Шекспиру и побуждает рассматривать как оправдание повседневного бытового притворства, однако ее действительный смысл существенно шире: прежде всего «театральная метафора» напоминает нам, что человек – стайное животное (*zoon politicon*, как говаривал Аристотель), и, следовательно, даже в условиях бесспорного и хорошо обеспеченного уединения (на необитаемом острове, например) действия, которые мы совершаем, достоинства (пороки), которые мы обнаруживаем, или изменения и конфликты, в которые мы вовлечены, остаются фрагментами «спектакля», охватывающего достаточно обширное – хотя, конечно, далеко не всегда непосредственно видимое – сообщество (в этом, собственного говоря, и заключался урок, который

надлежало усвоить бедному Робинзону Крузо); иными словами, «театральная метафора» недвусмысленно нам напоминает, что повседневное действие повсюду, всегда и необходимым образом сопряжено с материальным или символическим вознаграждением (наказанием) его субъекта (так уж устроена природа человека), а следовательно – и с какими-то практиками идентификации «спектакля» в качестве уместного или допустимого («легитимного», по Ю. Хабермасу) социального действия.

Более того, метафора социальной реальности как всеохватывающего публичного «спектакля» подразумевает, что наши повседневные действия (с самого начала или в конечном счете – это уже как получится) являются осуществлением какого-то трансцендентного и безличного императива – долговременного сценарного замысла, продиктованного «демиургом», воплощенного в антропологических инвариантах культуры или (как пасьянс, трагедия и спортивный поединок) сходящегося к «судьбе», погибельному (спасительному) исходу; это обстоятельство, придающее действиям того же Робинзона Крузо «смысл», т.е. перспективу во времени и место в ряду других действий или событий, раскрывает и внутреннюю мотивацию нынешнего массового обращения к метафорам генетики, этологии, геополитики, computer science или психоанализа – концепциям повседневного действия, целенаправленно и систематически исключаящим из рассмотрения любого рода предпосылки социального признания, которые, в принципе, могут быть «приватизированы», обращены в предмет суверенного нравственного, политического или эстетического выбора, а следовательно – и произвольных манипуляций, «отсебятины», включая обыкновенную подделку: выражение «nothing personal» становится не только девизом профессионального киллера, но и определением границ повседневной стратегической рефлексии.

Это же самое обстоятельство (ограничение стратегической рефлексии факторами, неподконтрольными действующему субъекту) определяет и внутреннюю логику поведения, чаще всего наблюдаемого именно в периоды личностного кризиса, в ситуациях, когда повседневные социальные автоматизмы при-

знания блокированы или частично разрушены – обращения к метафорам, понятиям и аналитическим моделям астрологии, т.е. прежде всего (если не исключительно) к одному из важнейших архетипов коллективного бессознательного – представлению о том, что перспектива социального признания определяется «местом» соответствующего действия в пространстве и времени: в обществе, как и на театре, бывают хорошие и плохие места, точно так же существует «... время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать и время врачевать; время разрушать и время строить...» (Екк. 3, 2–3). По существу, астрология как особая техническая дисциплина сводится к библиотеке «моделей успеха», согласно которым главное условие «успеха», что бы конкретно под этим ни понималось – оказаться вовремя в нужном месте¹; как правило, «место» соответствующего действия или события в пространстве определяется с помощью обыкновенной географической карты, тогда как для времени ту же самую функцию выполняют календари (бытовые и литургические), а также специальные циклические конструкторы («зодиак»), по чисто историческим причинам соотнесенные не с компьютерными технологиями или артефактами прикладной математики, а с перемещениями светил по небесному своду (другого способа вывести циклические функции на дисплей у создателей астрологии не было). Как видим, исходные постулаты астрологии мало кто станет оспаривать (в особенности из тех, кому выпало жить в эпоху перемен, т.е. непрестанно гоняться за удачей или играть в прятки со смертью), ее рабочие технические приемы нимало не отличаются от тех, которые используются, скажем, при построении какого-нибудь межотраслевого баланса или моделей глобального развития, а главное – метафоры, понятия и аналитические модели этой дисциплины связывают социальное признание с переменными, инвариантными к политическому контексту, нечувствительными к статусным или персональным различиям (тут очень кстати было бы процитировать Шекспира) и, следо-

¹ См.: *Клавдий Птолемей*. Тетрабиблос. М.: Юпитер, [1993]; *рабби Гад Эрлангер*. Знаки времен. Зодиак в еврейской традиции. М.: Мосты культуры, 2008/Иерусалим: Гешарим, 5767; *Whitfield P.* Astrology: A History. L.: British Library, 2004.

вательно, в принципе не поддающимся манипуляциям со стороны самого действующего субъекта: для повседневного опыта если и существует что-нибудь действительно аутентичное, чего нельзя отменить или подделать, так это движение времени.

Все эти соображения объясняют, почему в данной книге из всего многообразия частных социальных автоматизмов признания, известных к настоящему времени, избраны для рассмотрения именно календарные зависимости – зодиаки и их производные: циклические «модели успеха», позволяя оперировать достаточно разнородными понятиями и данными наблюдений (что с очевидностью необходимо при рассмотрении такого сложного явления, как повседневное успешное действие), в то же время избавляют от необходимости считаться с собственными комплексами, господствующими идеологическими стандартами или, тем более, соображениями типа «он думает, что..., она хочет, чтобы...», каковыми, собственно говоря, исчерпывается нынешняя публичная аналитика, у нас в стране по крайней мере; за изъятием этой специфической детали, «модель успеха», на страницах этой книги именуемая *хроноскоп*, не содержит утверждений, которых не смог бы понять и с которыми не смог бы согласиться (ценой известного напряжения мысли, разумеется) любой сколько-нибудь квалифицированный специалист в области прикладной математики, системного анализа или прогнозирования политических и социальных процессов.

Для всякого, кто когда-либо работал с эвристиками, аналогиями, классификациями и математическими моделями, элементарно понятно, что обоснование подобного рода конструктов в качестве проверяемых (истинных или ложных) суждений о социальной реальности является заведомо бессмысленным делом: *хроноскоп* – это аналитическая парадигма, т.е. обыкновенный рабочий инструмент, позволяющий замечать и называть факты, определять их место в ряду каких-то действий или событий, формулировать гипотезы, задавать вопросы, истолковывать получаемые ответы или, наконец, ставить оперативные исследовательские задачи, т.е. проделывать все то, что сопряжено с актуальной политической, служебной или семейной рефлексией; важнейшим (если

не единственным существенным) достоинством подобного инструмента является его эффективность, вследствие чего и аргументы в пользу выделения тех или иных специфических «циклов успеха», т.е. правдоподобия исходной «следственной версии», приводятся выборочно, только там, где это целесообразно (в частности, при сопоставлении «модели успеха», обсуждаемой на страницах данной книги, с традиционными концепциями и мифологемами исторического процесса или современными политологическими и макроэкономическими «теориями циклов», хорошо известными специалистам), тогда как в основном внимание уделяется чисто техническим сведениям – описанию соответствующих конструкторов, примерам их использования, а также некоторым частным результатам, полученным с их помощью.

Не посягая на чужое или, тем более, на лавры первопроходца, автор всегда и безусловно готов сослаться на учителей, предшественников или авторитетных коллег (что, собственно говоря, и сделано в разделе «Источники», замыкающем книгу), однако существует обстоятельство, побуждающее к сдержанности в данном вопросе: в противоположность известным «теориям циклов», представляющим собой вполне респектабельные индуктивные генерализации статистических данных (так, во всяком случае, принято считать), конкретные циклические «модели успеха», которые здесь рассматриваются, являются следствием обыкновенного «инсайта», случившегося в самый канун 2000 года (еще точнее – в канун Рождества) и позволившего увидеть (как положено – в полудреме) достаточно примечательный pattern, т.е. последовательность событий, размещенных по классическому «большому зодиаку» и с очевидностью идентифицируемых как акты признания. Как известно (например, благодаря декартовым размышлениям о методе), подобного рода истории не являются чем-то исключительным, а происхождение технического или понятийного конструкта из смутных ночных видений отнюдь не отменяет уважительного к нему отношения (в конечном итоге, именно так появились на свет теория множеств, формула бензола, периодическая система элементов и множество других интеллектуальных новинок, включая, несо-

мненно, и рецептуру некоторых известных напитков), однако указанное обстоятельство затрудняет (если вообще допускает) корректную публичную демонстрацию явленных сокровищ – во всяком случае, соотнесение «модели успеха», предлагаемой в данной книге, с классическими или современными «теориями циклов» является проблемой, которая возникает *ipso facto*, требует специального рассмотрения и потому оставлена до лучших времен.

Конечно, в этих моих пояснениях к *хроноскопу* присутствует определенная логика (предметом обсуждения сначала является сама публичная «сцена», затем – драматургия «спектакля», его «тайминг» и важнейшие персонажи, а уже после этого – отношения между «актером» и публикой), однако я бы предложил рассматривать их прежде всего как «сентиментальное путешествие» в духе Лоренса Стерна – извлечения из путевого дневника, разрозненные и сугубо предварительные «размышления вслух», попытку картографировать для себя (и продемонстрировать любому, кому это интересно) обширную, однако едва исследованную территорию, в границах которой можно обнаружить много всякого занимательного, воодушевляющего и полезного. Тем не менее, очевидно, что действительно успешная карьера – тоже своеобразное путешествие, только уже «поездом, идущим на самый верх», на протяжении жизни человеку предоставляется не более двух попыток занять место в этом поезде, каждая из остановок происходит строго по расписанию и длится не более года – полутора, ну а кто не успел – тот остался без вознаграждения, земного по крайней мере.

Жаль, что технически невозможны музыкальные эпиграфы: в этом качестве я бы предложил фрагменты «Survivor's Suite» Кейта Джаррета и, скажем, «Tree of Life» Сесила Тейлора, тогда как в качестве фонового аккомпанемента при чтении был бы вполне уместен (и даже полезен) какой-нибудь из поздних альбомов группы «Ноль».

2. Проблема «успеха», социогенные патологии и феномен признания

МНЕ ВСЕГДА нравилось, как читателя «Одиссеи» знакомят с ее заглавным героем: сначала это вообще только имя, лишенное эмпирического референта, смутная фантазия юноши, у которого возникли проблемы с мамиными «женихами». Затем этот кто-то, кого зовут «Одиссей», в качестве героя светских пересудов и сплетен (каковыми, по сути дела, являются песни аэдов) становится предметом так называемого «консультативного запроса» со стороны своего сына Телемака, «фигурантом» расследования, которое им предпринято. Только в конце поэмы Одиссей – реальное «физическое лицо», тело, которое можно рассматривать и даже трогать руками; коротко говоря, осведомленность о персонаже – результат, а не исходное условие знакомства с нарративами эпоса, идентичность сначала обнаруживает себя во времени, и только затем получает локализацию в пространстве. Та же стратегия, кстати, реализована и в романе Агаты Кристи «Убийство Роджера Акройда»: сначала герой появляется как неопределенное бестелесное «я» дискурса, затем постепенно материализуется как некий привилегированный «зритель» и только к самому концу повествования перед нами возникает человек, совершивший убийство (в криминальных кругах такое действие когда-то обозначали идиомой «сделать куклу»). Как видим, нарративы эпоса, в том числе криминального, построены скорее как диалог между пациентом и психотерапевтом, нежели как полицейский рапорт или биографичес-

кая справка, и скорее всего выполняют те же самые функции «рефрейминга», т.е. изменения идентичности.

Начнем, как водится, с феномена, который лучше всего будет обозначить метафорой «гинократия»: на мой взгляд, практически все, что происходило в России в 80-е и затем 90-е годы, объясняется тем, что в 70-е произошел переход от «отцовской» семьи к «материнской», причем переход массовый, затронувший всю, так сказать, «текстуру» повседневного действия². Этот процесс, разумеется, был инициирован гораздо раньше, сразу после первой мировой войны (именно тогда, кстати, в США были введены «сухой закон» и юридическое равноправие женщин, причем с одной и той же «подачи»), он получил дополнительные стимулы в результате второй мировой войны (что вполне понятно – война как никакое другое событие нарушает гендерный баланс), однако в 60-е годы все еще доминирует «отцовская» семья, даже несмотря на то, что ее специфические структуры уже подверглись очень сильной эрозии, авторитет отца подорван, а его присутствие уже по большей части является чисто символическим.

В такой семье отец еще присутствует, однако это уже скорее персонаж страшных или благостных «маминых рассказов», одно из «амплуа» кукольного театра («вертепа»), т.е. публичного зрелища, «формат» которого определяет демонстрация куклы – излюбленное занятие всякого ребенка, обделенного вниманием близких, а не реальное «физическое лицо», тело, которое занимает довольно много места, но это, однако, все еще «отцовская» семья – разумеется, если судить по интерактивному «формату», который здесь принят, по крайней мере, номинально – как стратегия легитимации действий («ты такая же сволочь, каким был твой отец» или «твой отец так никогда бы не поступил»); тут, правда, стоит еще напомнить, что манипуляции с куклой моделируют акт насилия, легитимного («жертвоприношение», «казнь») или криминального – это уже как получится.

² О понятии «текстуры» см.: Нильсен Ф.С. Глаз бури. СПб.: Алетейя, 2004.

На рубеже 60-х и 70-х годов, однако, этот «формат», а вместе с ним и статус мужчины или женщины в семье изменяется, в 70-е годы «отцовская» семья и ее специфические практики власти становятся жупелом (определить все эти тогдашние инвективы в ее адрес термином «критика» довольно трудно), «материнская» семья, где мужчин либо нет вообще, либо их реальный интерактивный статус, как говорится, «ниже плинтуса», становится массовым явлением и больше уже никак не маскируется, вследствие чего и общество оказывается под игом «гинократии», т.е. различного рода элит, экстраполирующих зависимости и комплексы, которые вырастают из первичного биологического симбиоза между матерью и ребенком, на любые другие структуры «социального порядка», будь то уголовное судопроизводство или повседневная сексуальная мораль³. Это ведь только разговоры такие – о «равноправии», на самом-то деле давно уже (думаю, с самого начала) речь идет о формировании «текстуры» повседневного действия, которая бы наделяла женщин статусом «элиты» особого рода, т.е. превращала бы их в привилегированный субъект повседневного социального признания, а вместе с этим и основного (если не монопольного) получателя статусной ренты.

В таких «элитах», разумеется, привилегию лидерства по-прежнему удерживают мужчины, для которых «гиноκραтия»

³ Те, кто регулярно следит за сообщениями mass media, почти наверное замечали, как часто женщины избегают наказания за совершенные ими преступления – кражу, мошенничество или даже убийство. В сериалах, публичных дискуссиях и вообще на телеэкране женщина de facto давно уже обладает иммунитетом к уголовному преследованию или, тем более, нравственной оценке ее действий (в особенности – женщина с ребенком), однако это и достаточно устойчивый сюжет криминальной хроники – как правило, женщина получает «в разы» более мягкое наказание, нежели мужчина («случай Пэрис Хилтон» отнюдь не является каким-то единичным эксцессом), такая практика вошла в обычай и отчасти даже закреплена специальными нормами права: как однажды заявила – почти дословно и вполне чистосердечно – некая депутат ГД РФ, «я женщина – значит, я права». Более того, актуальная «медийная» оценка случаев полицейского насилия или «беспредела» чиновников очень сильно варьирует в зависимости от того, кто именно является его жертвой – мужчина или женщина; примеров тут не счесть. См.: *Tucker S. Gender, Fucking, and Utopia: An Essay in Response to John Stoltenberg's Refusing to Be a Man. – Social Text*, N 22 (Spring 1992), p. 3–34.

становится идеальным алиби, «отмазкой», позволяющей камуфлировать самые невероятные репрессивные практики. Это вообще характерная особенность «паттернов» социальной интеракции между авторитарными лидерами и так называемой «широкой публикой»; судя по имеющимся рассказам, наблюдениям и видеоматериалам, соответствующие практики единообразны, предполагают хорошо заметную гендерную стратификацию участников и вполне могут рассматриваться как реальный бытовой прототип коллизии, которая представлена в работе З. Фрейда «Тотем и табу», аполлоновых и дионисовых шествий, канкана или экстатических практик вуду: мужчина-лидер в центре сообщества, прочие «мужики» на его периферии и в промежутке между ними – женщины, исполняющие функции «вертухая». Сцены подобного рода можно, в частности, наблюдать на довольно известных фотографиях, сделанных в 30-е годы, на которых советские «вожди» показаны в окружении молодых и довольно привлекательных работниц – активисток «женского движения».

В нашем обществе «разведпризнаком» всех этих процессов может служить укоренившееся как раз в 70-е годы достаточно странное словосочетание «женщины и мужики». Вообще говоря, по-русски принято говорить либо «мужчины и женщины», либо «бабы и мужики», тогда как наблюдения за специфической речевой практикой, о которой тут идет речь, наводят на мысль, что термин «мужики» в данном случае является не гендерной, а чисто статусной категорией – как «на зоне» или при крепостном праве.

Во всяком случае, для уличного и «медийного» дискурса демонстрация «гендерной вертикали», т.е. безусловного и «естественного» превосходства женщины над «мужиком», давно уже стала рутиной, наглядно воплощающей те специфические формы господства, которые реально складываются на социальной и географической периферии былых колониальных метрополий. Не случайно политический статус женщин быстрее всего возрастает в так называемых «развивающихся» странах, да и наиболее оголтелые поборницы «эмансипации», как пра-

вило⁴, тоже откуда-нибудь оттуда; более того, с этим характерным геополитическим «паттерном» хорошо согласуются и межгендерные различия в средней продолжительности жизни.

В 70-е годы не только культура, но и вся европейская политическая история впервые начинает демонстрировать отчетливые признаки массового «эдипова комплекса»: всем очень доходчиво объясняют, что по жизни главное – это отбить мамашу у ее нового «жениха», хотя, конечно, делать это следует аккуратно. Поэтому, кстати, в 70-е годы общим местом становятся фильмы типа «мама вышла замуж», в которых реальным главой семьи, «лицом, принимающим решения», оказывается ребенок, тогда как взрослые находятся в положении технического персонала или даже прислуги из крепостных: Эрот, единственный сынок греческой богини Афродиты, тоже известен тем, что «помыкает матерью», прямо как персонажи нынешней криминальной хроники. Иначе говоря, к началу 70-х годов сложилась культура межгендерных отношений, в контексте которой, как и в архаичных рабовладельческих обществах, наиболее высоким интерактивным статусом наделяется человек, который, как сказали бы прежде, «ведет паразитический образ жизни», т.е. ничего не зарабатывает и ни за что не отвечает, в лучшем случае – находит клад или выигрывает в лотерею.

Книги доктора Спока о воспитании детей, еще в 50-е годы подготовившие, как принято считать, так называемое «общество потребления», т.е. вялотекущую, но уже вполне заметную «консервативную революцию» в отношениях между иждивенцами и

⁴ См.: Говорова Н., Божко М., Редичкина О., Михеев А., Попов А. Мы наш, мы женский мир построим. – РБК, № 3, 2007, с. 28–33. Одним из очень важных побочных следствий этого процесса является очевидная и весьма существенная криминализация межгендерного пространства: уже сегодня для мужчины, в особенности состоятельного, гетеросексуальные отношения (или даже посягательство на таковые, очень часто мнимое или непредумышленное) всегда могут оказаться «преступным деянием», влекущим за собой заметное ограничение прав (например, взятие под стражу, увольнение с работы или пресловутый импичмент), частичную или даже полную конфискацию имущества, а также исправительные работы на срок не менее 18 лет – перспектива, которая отнюдь не страшит «добросовестную» жертву домогательства или семейного конфликта, однако более чем благоприятна для сноровистой «охотницы на мужиков». Ну как тут не приветствовать гей-парады?! – или не превратиться в педофила и насильника?! – или вовсе не утратить потенцию?

работниками (перемена в отношениях между мужчинами и женщинами, взрослыми и подростками или мигрантами и «кореным» населением, которую мы наблюдаем сегодня – только ближайшее и, пожалуй, самое безобидное из ее последствий), тоже очень четко артикулируют переход от «отцовской» семьи к «материнской». В «отцовской» семье советы доктора Спока показались бы непрошеным и до крайности деструктивным вторжением в «частную жизнь» вменяемого, дееспособного и юридически свободного человека, который своим трудом содержит чертову тучу иждивенцев (включая прежде всего так называемую «молодежь»), но зато в «материнской» они по-прежнему чтимы, хотя, конечно, книг, в которых они изложены, сегодня уже никто не читает – свою историческую роль эти книги уже сыграли.

Конечно, для вменяемых современников вся эта тенденция в целом, деликатно именуемая «кризис традиционной семьи», стала очевидной уже к началу 50-х годов: «Мсье Верду» Чаплина или «Повелитель мух» Голдинга – только наиболее примечательные из таких ранних свидетельств об изменениях в повседневной социальной рутине (точнее – попыток их сценарного моделирования). Тем не менее, существует четкая граница во времени между обществами «отцовской» и «материнской» семьи – на мой взгляд, значение публичной полемики и массовых уличных акций 1968 года состоит вовсе не в том, что на политической «сцене» появились какие-то молодые и эффективные лидеры или компетентные элиты (сегодня, более чем полвека спустя, это очевидно), а в том, что от власти отстранили де Голля: вот, «молодые радикалы» прогнали де Голля, и эпоха на этом завершилась, ведь тот, кто пришел после де Голля, он же был профессором истории, и его самое знаменитое деяние – создание музея. Там, в этом музее, мужчина, конечно, присутствует, но уже в качестве воспоминания или символа, а не как актуальная реальность – на де Голле эпоха легитимного и публичного «мужского» лидерства (все равно – в обществе или семье) заканчивается, по крайней мере – в Европе, и дальше начинается уже нечто совсем другое.

По Фрейду, исторический смысл событий 1968-го года состоит в том, что «молодые радикалы» сначала убили отца, а за-

тем трансформировали «эдипов комплекс» в доминирующую политическую мораль; в результате всего этого вздорная и сластолюбивая тетка, предводительствующая сворой прихлебателей, ебарей и прочего рода «сукиных детей», стала характерным «общим местом» социального ландшафта, экономики, политики и, в особенности, их «закулисья». Иначе говоря, в 1968 году свергли последнего политического деятеля, репрезентирующего поведение «мужского» типа – на этом «эпоха отца» и закончилась.

У нас эта эпоха закончилась на полтора десятилетия раньше, в 1953 году: Хрущев, а тем более Брежнев – это уже совсем другое, тогда главными, конечно же, были Виктория, жена его, и Галина, его дочка⁵. В 70-е годы стандартной, особенно в кругах экономической и политической элиты, становится такая семейная коллизия: жена подстрекает мужа к взяточничеству или воровству, затем муж отправляется «топтать зону», а жена и детишки наслаждаются жизнью. Именно в 70-е годы, кстати, было первое такое громкое следственное дело – антикварный магазин на Арбате (там, на Арбате, был такой магазинчик, который торговал живописью и антиквариатом), именно с него началась эпоха громких следственных дел и судебных процессов. Так вот, тогда в mass media «засветилась» некая дама, которая с начала 30-х годов нигде и никогда не работала, при этом она не была замужем, жила в центре столицы в хорошей квартире, и пресса недоумевала: как же такое может быть? Конечно, такие женщины и в Москве, и в Питере, и вообще в России существовали всегда, их всегда было существенно больше одной, и для них ни войн, ни революций не было никогда, но впервые они стали появляться «на публике» именно в 70-е годы.

⁵ На мой взгляд, валидным свидетельством этого реального, пусть даже не вполне осознаваемого или, тем более, каким-нибудь образом кодифицированного перехода власти в руки жен, дочерей и любовниц, о котором здесь идет речь, является феномен Аджубея, зятя Н.С. Хрущева, которого в самом начале 60-х многие de facto рассматривали как «наследного принца»; сегодня подобного рода тенденции очевидны, хорошо представлены на киноэкране и даже конвертированы в расхожую сценарную «матрицу» телесериала (в частности, его специфические гендерные «амплуа»), вследствие чего моя аналитика, к сожалению, уже выглядит вторичной – хотя и отнюдь не утратившей актуальности. См.: Киммел М. Гендерное общество. М.: РОССПЭН, 2006.

А пропос, в авангарде «эмансипации», как правило, оказываются именно такие дамы, а вовсе не матери семейства с их неотменяемыми обязательствами и заботами; я даже думаю, что «перестройку» 80-х годов двигали вовсе не мужчины, как это обычно изображают, а их жены, дочери и любовницы – именно это обстоятельство в решающей степени предопределило стратегию и реальный (а не декларируемый) исход предпринятых реформ. Да и в 90-е годы «элита» нашего общества, т.е. социальная категория, представители которой осуществляют надзор и определяют перспективу социального признания – это опять-таки женщины, которые, конечно же, никогда не появляются на телеэкране, потому что элита – настоящая элита, а не какая-нибудь «дурилка картонная», которую нам представляют в этом качестве – на телеэкране не появляется, она сидит в зрительном зале; и это, конечно, семьи, а не отдельные лица. На телеэкране «актеры», которые еще только претендуют на статус и статусную ренту, тогда как настоящая, уже состоявшаяся элита – это, конечно, «зрители», прежде всего – пресловутая «домохозяйка» со своим выводком, на которых, собственно говоря, и рассчитаны сериалы, рекламные клипы или прочая массовая телепродукция, это жены, дочери, секретарши.

Все это хорошо видно по первым перестроечным фильмам о номенклатуре, когда их начали показывать. С чего бы, кстати, в «перестройку» появился такой устойчивый интерес к «Горю от ума» Грибоедова? Если «Горе от ума» перечитать в ретроспективе сегодняшнего опыта, то становится понятным, что, конечно же – думаю, это очень хорошо понимал Грибоедов, когда писал свою пьесу: конечно же, главный герой там вовсе не Чацкий, а Фамусов. И его проблема заключается в том, что сыновей нету: некому власть передать! Он все ждет, что выдаст дочку замуж и, как в сказке, появится зять, которому можно отдать полцарства и коня в придачу, а тот все не появляется. Он из-за этого и на Чацкого-то злится: ждал он его, ждал, когда этот малый из-за границы приедет, и можно будет, наконец, отдать власть, как говорится, «в хорошие руки», потому что он сам-то уже старый, но тут выясняется, что у «молодых радикалов» совсем другие интересы.

Глядя на все это из нынешнего времени, понимаешь, что в «Горе от ума» по-настоящему трагическая фигура – это Фамусов. У него нет продолжения, ему не с кем разговаривать, ему нечего ждать и нет для чего жить – вот, действительно, трагедия.

Такая (примерно) ситуация начала складываться как раз в 70-е годы, когда наши советские «господа», уходя на покой, стали передавать власть (реальную власть, а не разные бантики и бумажки) своим дочкам, любовницам или молодым женам, и все, что потом происходило в 80-е годы, помимо внимания к этой стороне дела выглядит как полный абсурд. Очень интересно проследить, как происходила передача власти: как правило, власть передавалась не «вниз», а «вбок», сыновья, как правило, отказывались эту власть принимать – сегодня это называется *downshifting* и считается «разведпризнаком» приближающегося социального кризиса.

Хотя, конечно, в начале 90-х я слышал такую шутку, будто бы «перестройка» вкупе с последующими реформами – это страшный сон, который приснился Гайдари-деду. Вышел он из боя, принял стакан, забылся тяжким сном, и снится ему, что со всех сторон идут на страну буржуины и уже почти победили, а во главе этих «супостатов» его собственный внук. В 80-е и 90-е годы самые деятельные, самые энергичные, самые хваткие «господские детки», т.е. следующее поколение элиты, тоже уходили в сторону. И не обязательно в бизнес. Понятно, конечно, что они хотели жить богато, но это не было мотивацией, потому что они и раньше жили богато. Они просто уходили куда-то вбок. Создается такое ощущение, что для них просто не было перспективы унаследовать «дело отцов», в данном случае продолжать было просто нечего.

Во всяком случае, к исходу 70-х на деньги в большинстве своем сели женщины, так или иначе получившие какое-то серьезное наследство, пусть даже и в форме «отступных» или вообще гонорара за однократные сексуальные услуги: как говорится, «уехать – значит немного умереть». Такое общество, в котором молодой и богатой вдовой в перспективе является любая женщина, представлено в едва ли не лучшем из произведений Ро-

берта Шекли (тоже, кстати, начало 70-х), тогда как на исходе 90-х почти идентичное развитие событий появляется в фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета». У нас в те же 70-е куда как популярной стала песня на стихи Е. Винокурова «Сережка с Малой Бронной...», которая очень хорошо моделирует типовой гендерный «расклад» этого времени: женщины, конечно, фрустрированы, но живы и, в общем, неплохо устроены, а вот мужчины, напротив, остались «за речкой» или даже вовсе изъяты из дискурса, будто их и не было никогда – коллизия, которая определяет реальную социальную динамику «послевоенного» общества и «подразумеваемые обстоятельства» всякого возможного эпического нарратива, будь то, скажем, «Холодное лето 53-го», «Унесенные ветром» или «Одиссея». Отсюда уже типовая развязка любого нынешнего «боевика» или пресловутое «...женщины, дети, старики», по сути дела – этакая глосса к работе З. Фрейда «Тотем и табу», хорошо камуфлированная «отмазка» для трактовки мужской части населения как обычного расходного материала, определяющая интригу практически любого фильма с участием Бриджит Бардо (как, впрочем, и приснопамятной «Анжелики») или сценарии различного рода «охоты на мужиков», в частности – травли так называемых «публичных персон» при посредстве mass media⁶, в контексте которой «sexual harassment» достаточно эффективно замещает прежние «пособничество коммунистам» или «сношения с дьяволом». Впрочем, прогресс не остановить – летом 1996 года в каком-то новостном репортаже из Чечни (кажется, на радио «Эхо Москвы») я встретил еще более интересную формулу: «женщины, дети, журналисты»; это, конечно, оговорка, однако она удостоверяет, что «гиноκραтия» и так называемое «общество спектакля», т.е. разрастание «публичных» социальных практик – феномены одного порядка.

⁶ См.: Fraser N. Sex, Lies, and the Public Sphere: Some Reflections on the Confirmation of Clarence Thomas. – Critical Inquiry, 1992, vol. 18, N 2, p. 595–612; Fassin E. The Rise and Fall of Sexual Politics in the Public Sphere: A Transatlantic Contrast. – Public Culture, 2006, vol. 18, N 1, p. 84–104.

Тут у нас где-то в самой глубине «зрительного зала», «в тени», есть женщины на вид эдак лет по 45–50, которые сидят на деньгах, как драконы из сказки, и, собственно, вся политика делается из предположения, что эти женщины на деньгах так и будут сидеть дальше. Я, понятное дело, ничего не имею против ухоженных и богатых женщин, тем более что у млекопитающих «контроль над ресурсами», будь то пища, финансы или информация, является прирожденной этологической функцией самок – в отличие от «контроля над территорией», который осуществляют самцы⁷. Есть даже такая точка зрения, что именно поэтому вплоть до начала 20 века европейская или американская женщина не могла наследовать недвижимость, ее наследством были драгоценности, ценные бумаги и наличные деньги (традиция или норма права, которая в пьесах А.Н. Островского является важнейшим из «подразумеваемых обстоятельств»). Тем не менее, подобное «положение вещей», т.е. гендерная (как, впрочем, и расовая, этническая или возрастная) стратификация общества может сохраняться сколько-нибудь длительное время только при некоторых весьма специфических условиях.

Прежде всего, «гинократия», как и любая другая форма дискриминации по признаку расы, пола и возраста, по форме носа или произношению «с» и «р», должна быть обеспечена «превосходством в живой силе и технике»; это означает, что господство «второго пола» предполагает ситуацию, когда мужчин вообще очень мало и они покалечены или тяжело больны, т.е. составляют недееспособное меньшинство, желаниями которого можно (или приходится) пренебречь. На мой взгляд, именно по этой причине самые жестокие и властолюбивые создания на свете – медсестры в госпиталях и психиатрических клиниках – не все подряд, конечно, но и не в этом дело: забота о слабых и милосердие – идеальная «отмазка» для притязаний на бесконтрольную власть, кто с этим не сталкивался или об этом забыл – перечитайте Кена Кизи, на крайний случай – поразмыслите, почему в сообщениях о

⁷ См.: *Ardrey R. The Territorial Imperative. A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations.* L.: Collins, 1966.

терактах и захвате заложников или даже вообще в криминальной хронике так часто фигурируют бывшие медсестры и воспитательницы детских садов, а протагонисты «нового гендерного порядка» так энергично защищают бродячих животных или различного рода очевидных и наглых паразитов. Как раз такая ситуация, в которой, собственно говоря, и возникло движение за женское «равноправие», сложилась на юге США после гражданской войны, а в странах Европы – в результате первой и второй мировой войны, а также лишений, репрессий и революций в промежутке между ними, в период, когда численность здоровых и дееспособных мужчин сильно сократилась, а женщины привыкли к тому, чтобы рассматривать собственное тело как ценность⁸, которая всегда может быть обращена в источник дохода, власти и прочих ресурсов..

На практике, разумеется, «гинократия» вполне может возникать, сохраняться и даже приобретать легитимность в ситуациях, когда военные действия или репрессии отсутствуют – например, в условиях массового отъезда мужчин «на заработки» или репродуктивной патологии, из-за которой мальчики рождаются редко и, как правило, обладают плохим здоровьем; историки культуры, социологи и антропологи время от времени обнаруживают подобные сообщества на «периферии» самых разных цивилизаций и социальных систем. Тем не менее, такие сообщества недолговечны и очень быстро вымирают – или возвращаются к «норме», если только в сохранении гендерного неравенства не заинтересованы какие-то корпоративные «структуры», обладающие достаточно серьезными ресурсами политического насилия – достаточными для того, чтобы мужчин и впредь было очень мало и они испытывали бы недостаток «воли к свершению», были бы покалечены, тяжело больны или страдали аддикциями.

Как мы уже хорошо понимаем сегодня, идея гарантий для какой-нибудь партикулярной социальной группы обладает то-

⁸ Тут очень кстати будет посмотреть фильм Р.М. Фассбиндера «Замужество Марии Браун» или поразмыслить об отечественных сценарных киноклише, моделирующих интеракцию между фронтовиками в увольнении и молодыми женщинами. См.: *Featherstone M., Hepworth M., Turner B.S. The Body. Social Process and Cultural Theory.* L. etc.: SAGE, 1991.

талитарным потенциалом, не менее существенным, нежели у доктрин государственного или национального социализма: защита прав детей, комнатных растений, бродячих или домашних животных и тому подобной фауны или флоры является предложением для вторжения какого-нибудь очередного Швондера в частную жизнь⁹, ничуть не менее провоцирующим, нежели обеспечение «социально справедливых» норм жилплощади. Во всех таких случаях, однако, практики «контроля над территорией» по-прежнему остаются сугубо «мужской» прерогативой, тогда как «гинократия» приобретает инструментальный характер – становится ширмой, за которой спрятаны вполне традиционные субъекты и практики господства – такая, если хотите, разновидность «живого щита», стратегии, которая составляет характерную отличительную особенность современной войны – или «травестии», составляющей характерную отличительную особенность современного публичного зрелища (телевидения и концертной площадки). Слово «травестия» в данном случае означает не столько конкретное сценическое «амплуа», сколько его специфическую рациональность – переодевание женщин мужчинами (и наоборот), исполнение взрослыми роли подростка или другие формы имитационного моделирования конфликтов, которому обычно сопутствует демонстрация «камуфляжа», репрезентирующего партнеров по интеракции (вспомним фигуру «буржуя» на старых советских карикатурах или новейшие европейские карикатуры на мусульман, примерно ту же функцию выполняет передразнивание «нечистой силы» на Хеллоуин). Иными словами, сколько-нибудь долговременное господство «второго пола» является артефактом политических практик, которые вполне можно квалифицировать как разновидность колониального или даже оккупационного режима – в таком контексте «зоны», т.е. перманентного и массо-

⁹ Если кто забыл или не знает – это один из персонажей повести М. Булгакова «Собачье сердце». См.: *Игнатьев А.А.* «Право на ...» и свобода. – Index. Досье на цензуру. Вып. 4–5. М., 1998, с. 34–36.

вого ограничения свободы¹⁰, эффективная индивидуация невозможна, вследствие чего отношения биологического симбиоза между матерью и ребенком приобретают пожизненный характер, т.е. оборачиваются трансформацией возрастного неравенства в гендерное: мужчина навсегда остается «подростком», по крайней мере – в качестве участника повседневной интеракции (вслед за мужчинами, разумеется, деградирует и очередное поколение матерей, но этого уже некому заметить – помимо гинеколога или специалиста по демографии).

Ведь что, собственно, такое этот самый «эдипов комплекс», каковы его характерные симптомы? – это прежде всего «комплекс», т.е. «формат» повседневного действия и стратегия целедостижения, которые складываются, сохраняются и структурируют либидо сами собой, помимо нашей воли; академик Иван Павлов – тот самый, который мучил собак – определил бы «эдипов комплекс» как очень сложный условный рефлекс, или «динамический стереотип», более-менее согласованное множество которых, собственно говоря, и образует идентичность любого из нас (наше персональное «я» и корпоративное «мы»). Далее, это комплекс, который формируется как следствие длительного биологического симбиоза между матерью и ребенком и предполагает прежде всего сохранение такого симбиоза, в частности – достаточно сильные негативные аффекты по отношению к любым действиям или событиям, которые ему уг-

¹⁰ См.: *Альбедиль М.Ф., Цыба А.В.* (ред.). Астарт, вып. 2. Женщина в структурах власти архаических и традиционных обществ. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999; *Палья К.* Личины сексуальности. Екатеринбург: У-Фактория / Изд-во Уральского университета, 2006; *Mannoni O.* Psychologie de la colonization. Paris: Seuil, 1950. Здесь и далее эпитетом «колониальный» обозначен перформативный контекст, в границах которого перспективу успешного действия определяет принудительная и асимметричная интеракция между категориями населения, по обычаю или закону обладающими разным правовым статусом: рабство, каким мы его знаем сегодня, «тюрьма» и «клиника» у Мишеля Фуко, «эксплуатация», как она рассматривается у последователей Маркса, или различного рода «инструментальные» практики господства, артикулированные в дискурсе как универсальная и безличная технологическая дисциплина – это, конечно, классические образцы «колониального» перформативного контекста. Для русской литературы связь между «гинократией» и «колониальными» формами интеракции была очевидной еще в позапрошлом веке: достаточно вспомнить бессмертную повесть И.С. Тургенева «Муму» или диалог, который мы когда-то все проходили в школе: «... – И так мне жалко стало! – Кого, Митрофанушка?! – Да вас, матушка – вы так утомились, колотя батюшку...»

рожают; подобные аффекты одновременно испытывают как ребенок, так и его мать, поэтому сколько-нибудь эффективная индивидуация в условиях «материнской» семьи невозможна – собственно говоря, Эдип – это человек, который понятия не имеет, кто он такой, где находится и с кем имеет дело (как, впрочем, и Гамлет тоже – именно это обстоятельство превращает трагедию Шекспира в хороший исходный материал для аналитики «эдипова комплекса»). Как принято считать, перспективу «материнской» семьи ограничивает именно ее неспособность обеспечить эффективную индивидуацию, т.е. превращение обезьянки вида *homo sapiens* в «подобие Божие», вменяемого и дееспособного субъекта; тут нужен либо мужчина, и притом «настоящий», либо опытный и умелый психотерапевт, либо, на крайний случай – субкультура, которая хотя бы отчасти восполняет отсутствие того и другого (оттого-то в «послевоенных» обществах коллизии, связывающие субкультуру подростков, какого-нибудь «настоящего» мужчину и опытного психотерапевта или педагога, становятся «общим местом» повседневной стратегической рефлексии – вспомним хотя бы персонажей Арнольда Шварценеггера и Валерия Приемыхова или их реальные прототипы – того же А.С. Макаренко, например). Наконец, «эдипов комплекс» предполагает, что повседневное исполнение желаний является неизбежным и само собой разумеющимся следствием их публичной артикуляции (условие целедостижения, которое для грудного младенца определяет экзистенциальный, а для журналиста или нищего – профессиональный контекст интеракции); вот почему у Ю. Хабермаса различные инструментальные функции являются исключительной прерогативой «другого», тогда как предпосылки успешного действия редуцированы к практикам социального признания. Иными словами, важнейшим из проявлений «эдипова комплекса» является устойчивая и хорошо артикулированная склонность считать, притом вполне чистосердечно, что исполнение наших повседневных желаний – чужая проблема: чего бы нам ни захотелось – новую почку, птичьего молока или немедленного мирового господства – для того, чтобы желание исполнилось, достаточно его «опубликовать», т.е. отдать распоряжение прислуге, потребовать у мужа, родителей

или государства, на крайний случай – попросить у телезрителей, читателей газеты или сердобольных прохожих.

Свою аналитику этого специфического феномена, обозначенного здесь термином «социальное признание» и определяющего тот тематический «фокус», вокруг которого она реально строилась, я начну вовсе не как размышлений о том, как понравиться начальству или вызвать аплодисменты (как раз в этом автор смыслит очень мало), а с рассмотрения гораздо более общего (и далекого от злобы дня) вопроса – что, собственно, такое этот пресловутый «успех», которого, якобы, вынужден (или непременно будет) добиваться любой человек, осуществляющий повседневное действие? На этот счет есть множество авторитетных и, в принципе, одинаково правильных суждений, однако наиболее уместными остаются представления, скрытые за идиоматикой повседневной речи: «успехом» является прежде всего обыкновенное исполнение желаний, т.е. достижение эффекта или появление артефакта, составляющего предмет этого самого желания, какое-то специфическое событие (скажем, завершение книги или избавление от головной боли), на которое можно посмотреть (или обратить внимание), указать местоимением «это», кавычками или пальцем, наконец, навесить «читаемый» вербальный ярлык. Как предполагается, любой конкретное событие «успеха», т.е. партикулярного исполнения желаний, *ex definitionis* является следствием одаренности, мастерства или специфической мотивации некоего «физического лица», свойственных ему или ей стереотипов повседневной стратегической рефлексии и осуществляемых ими инвестиций (времени, труда, капитала, других ресурсов), т.е. обусловлен различного рода факторами и структурными предпосылками, которые, в принципе, можно контролировать (например, посредством нарративных, имитационных или математических моделей), более того – зависимость «успеха» от каких-нибудь других событий или действий всегда можно рассматривать как демонстрацию некоего «очевидного» и «понятного» паттерна (иначе мы не смогли бы об этом рассказывать). Такая точка зрения, отнюдь не вступающая в противоречие с «высокими истинами» философии, педагогики или классической художественной литературы, в то же время позволя-

ет придать понятию, о котором здесь идет речь, вполне конкретное и достаточно ясное, не вызывающее разногласий значение, вполне сообразное с интуициями повседневной стратегической рефлексии – человек обозначает артефакты или эффекты термином «успех», если они действительно то самое, что хотелось и мнилось получить в качестве результата предпринятых действий.

При всей своей непритязательности, подобная точка зрения оказывается весьма перспективной, напоминая прежде всего, что достижение «успеха» всегда, повсюду и необходимым образом сопряжено с инвестициями либидо, времени, капитала или каких-то других ресурсов¹¹, т.е. наличием особого рода предпосылок, обозначаемых (в социологии, психологии или других науках, изучающих поведение человека) термином «мотивация».

В самом деле, что бы ни понималось под «успехом», трудно себе представить появление артефакта или достижение эффекта, за которыми нет чьего-нибудь личного желания, притом в буквальном смысле этого слова сильного, т.е. инвестиций либидо, достаточных, скажем, для преодоления различных препятствий, в том числе создаваемых соседями, коллегами, родственниками, земляками, сообществом экспертов, строителями дома неподалеку, популярными теле- и радиоведущими или, не за работой будь помянуты, паразитами из «высших эшелонов власти», а также для перемещения собственного тела в пространстве жилья, города и мира или, наконец, обеспечения мозга эндорфинами (необходимое условие эффекта, в просторечии именуемого вдохновением), финансовых инвестиций, достаточных, скажем, для покупки компьютера или ноутбука, возмещения расходов на электроэнергию, пищу, аренду жилья и транспорт, коррекцию дофаминового баланса, покупку книг и одежды или отправку семейства на отдых

¹¹ Как именно это происходит, т.е. какие именно интеракции, зависимости или процессы связывают событие «успеха» с различного рода инвестициями времени, либидо, капитала или других ресурсов – вопрос отдельный и для данной книги посторонний: достаточно убедиться, что такие зависимости или процессы действительно существуют, отчасти известны и всегда могут быть исследованы далее. См.: *Акофф Р., Эмери Ф. О целенаправленных системах*. М.: Сов. Радио, 1974; *Наумова Н. Ф. Целеполагание как системный процесс*. М.: ВНИИСИ АН СССР, 1982; *Шпренгер Р. Мифы мотивации: Выходы из тупика*. Калуга: «Духовное познание», 2004.

(чтобы не мешали работать), наконец, невосполнимых и всегда рискованных инвестиций времени, так называемого «социального капитала» или того таинственного вещества, недостаток которого (буде он случится) приходится оплачивать здоровьем, душевным покоем и надеждой на вечное блаженство; перечисленные или другие подобные инвестиции могут быть обусловлены сугубо личными привычками и комплексами, понятиями, нормами и ценностями национальной культуры, актуальными служебными обязанностями, сложившимися корпоративными традициями и стереотипами, соображениями политической и коммерческой целесообразности, глобальными тенденциями современности и требованиями международной общественности, желанием кому-нибудь насолить, избавиться от скуки, «отмазаться» от налоговой инспекции или произвести впечатление на предполагаемого сексуального партнера, наконец, пресловутым «призванием», т.е. действием фактора, о котором достоверно ничего не известно (помимо того, что об этом можно прочесть у Макса Вебера). На самом деле группа факторов, обозначаемых термином «мотивация», гораздо более обширна и устроена существенно сложнее, нежели список обыденных «казусов» или проблемных ситуаций, побуждающих к достижению «успеха», однако в данном случае она не рассматривается сколько-нибудь подробно – подобно стихам, аффекты и артефакты желания произрастают из самого разнообразного «мусора», на котором далеко не всегда уместно задерживать внимание.

В самом деле, мотивация, т.е. «конкретное», устойчивое и достаточно сильное желание, остается важнейшим из факторов, определяющих перспективу «успеха», только в специфическом перформативном контексте безусловной и полной свободы¹², как ее

¹² Вопрос об источниках, параметрах или возможностях изменения мотивации в данном случае не рассматривается по принципиальным соображениям: предполагается, что все эти предпосылки «успеха» составляют *privacy* человека и обсуждаются в аналитике только по специальному запросу, т.е. как особое событие «успеха», в достижение которого (скажем, в проведение тренинга) опять-таки необходимо инвестировать время, либидо и прочие ресурсы; в таком контексте единственным существенным параметром желания остается его действительность, в частности – добросовестная готовность заплатить за его исполнение.

себе представляют избалованные и нетрезвые женщины – тогда, действительно, «если нельзя, но очень хочется, то можно». В реальном социальном, политическом или экономическом контексте перспективу «успеха» определяет не только наличие или отсутствие мотивации, но и так называемая «текстура», т.е. различного рода «можно» или «нельзя», структурирующие поток инвестиций в исполнение соответствующих желаний и благодаря этому связывающие мотивацию субъекта (в чем бы она ни состояла) с теми специфическими событиями, которые рассматриваются как предмет желания; элементами «текстуры» являются личные привычки и «повязки», вкусы и комплексы «правлящей элиты», «законы природы и общества», понятия, ценности и стереотипы культуры, архетипы коллективного бессознательного и даже физические препятствия (например, топография социального ландшафта или планировка жилища).

Иными словами, появление артефакта или достижение эффекта, составляющего предмет желания, можно рассматривать как понятное и предсказуемое следствие каких-то специфических действий или предусмотренных ими инвестиций («утром штамп в паспорте – вечером любовь до гроба») только в том единственном случае, когда конвертация времени, либидо или капитала в «успех» происходит на самом деле, т.е. обеспечена какими-то конкретными изменениями, практиками и процессами – только при этом условии зависимость, связывающую достижение «успеха» с инвестициями, действительно можно контролировать посредством нарративных, имитационных и математических моделей или рассматривать как демонстрацию какого-то хорошо различимого паттерна; в благополучных и устойчивых сообществах подобное «положение вещей» обеспечивают автоматизмы повседневного действия (так называемая «рутина»), в мифопоэтических фантазиях – какие-нибудь магические заклятья или волшебные лампы, а в исторической и социальной реальности – орудия и ресурсы власти (божество, принявшее облик золотой рыбки, по сути дела, делегирует старику-рыболову некий одноразовый политический статус, «право на ...» в роде лицензии на отстрел или продуктового талона).

Напротив, за границами контекста, обозначенного подобным образом (в ситуациях кризиса идентичности, в пост-современных обществах или на периферии «глобальной системы»), какие-либо вменяемые действия, направленные на достижение «успеха» и сопряженные с инвестициями времени, либидо, капитала или других ресурсов, становятся заведомо невозможными: при отсутствии надежного социального автоматизма, исправного волшебного кольца или, на крайний случай, покровителя, способного конституировать «право на ...», т.е. обладающего реальным авторитетом (старик-рыболов этим правом пренебрег, а его супруга злоупотребила, вследствие чего оба персонажа известной пушкинской сказки остались ни с чем), события или артефакты, составляющие предмет желания, не могут быть достижением (заслугой или виной) какого-либо «физического лица» и потому остаются только случайностью (счастливой или несчастной – как повезет), которую невозможно планировать и о которой бессмысленно размышлять, практичному человеку по крайней мере – не отсюда ли пресловутое русское «авось» и не потому ли старики так легко «подседают» на политике, а дети – на (компьютерных) играх? Как видим, в условиях кризиса или на социальной периферии стратегии, обусловленные понятиями, нормами и ценностями культуры, приобретают весьма ограниченное значение, тогда как наиболее важными предпосылками «успеха», факторами, конституирующими реальную социальную «текстуру», становятся различные природные императивы повседневного действия, например – биологические ритмы сообщества или организма (что, собственно, и наблюдается у невротиков).

Здесь необходимо отвлечься и пояснить: «наблюдается у невротиков» не значит «является вздором», «подлежит медикаментозной коррекции» или «не может рассматриваться в качестве аргумента», невротик действует в совсем ином социальном контексте, нежели так называемый «здоровый человек», однако же стремится к «успеху» ничуть не в меньшей степени, расходует на его достижение отнюдь не менее существенные ресурсы и его мотивацию определяет при этом такое же самое представление о повседневном исполнении желаний как о рациональном дей-

ствии, т.е. об осуществлении инвестиций – затратах времени, либидо или капитала, «просчитанных» заранее или вполне понятных задним числом и потому допускающих оценку в терминах заслуги, вины и награды – утверждение, в справедливости которого нетрудно убедиться, оказавшись в эмиграции или в неволе, преодолевая трудности развода, наконец, наблюдая за невротиками в естественных условиях. Иными словами, невротик действует не в «благополучном и устойчивом сообществе» с его надежными автоматизмами поведения, влиятельными покровителями или магическими техниками (теми же индустриями моды, mass media и косметики), а в ситуации кризиса или на социальной периферии – там, где кончается асфальт и где специфическая рациональность природы (включая и чисто этологические императивы пола, возраста, здоровья или владения боевыми искусствами) оказывается куда более уместной¹³, нежели та, которую предписывают ценности, понятия и нормы культуры, сколь бы привлекательными они не выглядели сами по себе; отсюда, конечно, не следует, что невротические и «нормальные» желания одинаковы, а практикуемые стратегии их исполнения равноценны, однако иерархия соответствующих «моделей успеха» определяется прежде всего топографией социального пространства, т.е. его имманентным делением на «центр» и «окраину», и не связана непосредственно с размерами или качеством инвестиций, определяющих мотивацию в каждом из таких случаев. В рамках подобной постановки вопроса, очевидно, трансформация невротика в так называемого «здорового человека» сопряжена не столько с воздействием на его поведение как таковое,

¹³ Именно поэтому в ситуациях острого конфликта происходит такая стремительная регрессия любых практикуемых «моделей успеха» к чисто возрастным или гендерным инвариантам поведения: обнаружив явную и непосредственную угрозу своим интересам, «примитивная» женщина начинает визжать и делает это, пока не появится мужчина, который все устроит, тогда как «продвинутая» женщина, наоборот, обычно стремится «поставить вопрос» и «потребовать исполнения» или «привлечь внимание общественности» и «сформировать консенсус»: как видим, различие в морфологии поведения отнюдь не сказывается на его структуре – эффект, хорошо известный всякому, кто занимается социологией инноваций. См.: Winn B. Technology as Cultural Process. Working Papers of International Institute for Applied Systems Analysis, WP-83-118. Laxenburg: IIASA, November 1983.

какими бы средствами оно не осуществлялось и на достижение каких бы целей не было направлено, сколько с перемещением индивида или группы в социальном контексте, т.е. с построением «терапии» как некоей специфической карьеры¹⁴, а следовательно – с диагностикой конкретных условий и созданием вполне реальных предпосылок, обеспечивающих невротiku повседневное достижение «успеха»; собственно говоря, поведение невротика и так вполне рационально, вследствие чего аналитик или психиатр, предпринимающий попытку дезавуировать какие-то привычные для своего пациента стратегии повседневной рефлексии, стереотипы действия или предметы желания, обычно выглядит полным идиотом – подтверждением тому является множество совершенно замечательных образцов корпоративного юмора, которые придется рассмотреть когда-нибудь в другом месте.

Что действительно характерно для невротиков, так это не столько проблематичная мотивация или рациональность (в конце концов, идеологема «возврата к природе» или представление о так называемых «естественных правах» человека – не самое вздорное из того, что составляет корпус современной культуры), сколько реальный, весьма серьезный и по-человечески вполне понятный дефицит одобрения или поддержки со стороны каких-то других людей, т.е. той специфической предпосылки «успеха», которую социологи и юристы обозначают термином «легитимность»; грубо приблизительно, поведение невротика всегда, повсюду и необходимым образом рассматривается как девиантное посягательство на действующие социальные автоматизмы, вследствие чего с полным на то основанием переживается как источник беспокойства и угрозы, «нечистоты» по Мэри Дуглас¹⁵. Именно это обстоятельство объясняет очевидную и хорошо известную склонность не-

¹⁴ У терапии подобного рода есть достаточно древние прототипы – примерно так «работали» суфийские шейхи или православные старцы; в последние лет десять ее обозначают термином *couching* и рассматривают как пограничное условие действительно успешной карьеры. См.: Харрис Д. Коучинг: личностный рост и успех. СПб.: Речь, 2003.

¹⁵ См.: Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. М.: Канон-пресс, 2000.

вротиков сбиваться в стаи, создавать обширные и хорошо защищенные субкультуры или даже навязывать «благополучному и устойчивому сообществу» свои специфические повседневные диспозиции – как, впрочем, и столь же очевидную готовность их родственников, соседей или других партнеров по интеракции реагировать на педагогические, политические или семейные инициативы подобного рода как на вторжение опасного хищника – тенденцию, в пост-современных обществах уже послужившую предпосылкой к созданию целой индустрии правозащитного и экологического шантажа, а вместе с нею и к формированию массовых праворадикальных симпатий; более того, в границах обозначенного таким образом конфликта интересов (ситуации, по нынешним временам знакомой практически каждому, у кого в доме есть подростки) победа невротика уничтожает предпосылки какого угодно «успеха», в том числе связанного с удовлетворением чисто животных потребностей человека (попросту говоря, некому будет зарабатывать на жизнь), в то время как победа обывателя (или, если угодно – добропорядочного труженика и гражданина), увы, остается артефактом несбыточной утопической мысли – кто в этом сомневается, пусть поразмыслит о прямых или косвенных выгодах, получаемых «правлящими элитами» от поддержки материнства и детства, защиты личности и собственности или отчуждения других подобных функций¹⁶. Как видим, даже вполне симпатичный и заведомо благонамеренный невротик с неизбежностью оказывается в положении, исключающем мотивацию или рациональность, которые бы устраивали его партнеров по ситуациям повседневного исполнения желаний (родственники, соседи, коллеги или даже случайные знакомые всегда будут рассматривать его как источник повышенной опасности и потому

¹⁶ Не случайно идеологию так называемого «социального государства», наделяющего иждивенцев различными гарантированными правами по отношению к работникам, с такой готовностью перенимают тоталитарные массовые движения, авторитарные политические лидеры или даже вполне бескорыстные «энтузиасты» полицейского произвола. См.: *Кристи Н.* Приемлемое количество преступлений. СПб.: Алетейя, 2006; *Левитт С.Д., Дабнер С.Дж.* Фрикономика. М.–СПб.– Киев: ИД «Вильямс», 2007; *Szasz Th.S.* The Manufacture of Madness. A comparative study of the inquisition and the mental health movement. L.: Routledge & Kegan Paul, 1971.

блокировать любые, даже вполне оправданные и сколько угодно продуктивные действия), вследствие чего для невротика (и любого другого человека, занимающего такое же самое «место» в перформативном контексте – например, «мигранта» или практикующего интеллектуала) отсутствие или наличие поддержки со стороны каких-то других людей, т.е. дефицит легитимности или восполняющие его инвестиции того специфического ресурса, который мы обозначили термином «социальное признание», становятся едва ли не самой важной из предпосылок «успеха».

Иными словами, поведение, которое наблюдается у невротиков, является своеобразным функциональным замещением («субститутотом») культуры и ее социальных автоматизмов, обеспечивающих достижение «успеха», т.е. вполне рациональным (не «по- своему», а на самом деле) решением проблемы повседневного исполнения желаний, в ситуации кризиса или на социальной периферии возникающей у всякого энергичного и честолюбивого человека: не случайно же педагоги, аналитики, беллетристы и другие свидетели в один голос отмечают исключительную и несомненную способность невротиков «устраиваться» в повседневной жизни. Для стариков такое же самое значение приобретают инструменты и ресурсы власти, включая пресловутое «право на ...» или те привилегии и стереотипы действия, которые его воплощают, для детей – алгоритмы (компьютерных) игр или магические практики (отсюда и миллионы Джоан Роллингс), для практикующего интеллектуала – «законы природы и общества», которые тот изучает или преподает, для верующего человека – догматы, каноны и ритуалы его религии (в том числе, разумеется, циклы литургического календаря), а для «мигранта» или человека, находящегося в состоянии «перехода», т.е. столкнувшегося с различными обратимыми изменениями в контекстуальных предпосылках «успеха», связанными с отлучками, болезнями, праздниками или другими относительно кратковременными «отключениями» культуры¹⁷, структурными

¹⁷ См.: ван Геннеп А. Ритуалы перехода. М.: Вост. литература, 1999; Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Вост. литература, 1983.

предпосылками «успеха» становятся прежде всего универсальные природные императивы (включая биологические циклы общества и организма, о которых уже говорилось ранее); любопытно, что представители практически всех перечисленных «пород» человека проявляют исключительно сильную личную заинтересованность в реквизитах и свидетельствах социального признания, публичной демонстрации той же, скажем, «цветовой дифференциации штанов» или орденов, медалей и знаков отличия, а их повседневная склонность к лицедейству или устройству публичных «сцен» опять-таки хорошо известна и не нуждается в дополнительных иллюстрациях: подобного рода феномены обычно связывают с повышенной, якобы, потребностью невротиков, стариков, «мигрантов» и других «аутсайдеров» во внимании со стороны «благополучного и устойчивого сообщества», что, по-видимому, чистая правда, однако наводит на мысль о компенсаторных функциях этой самой потребности, т.е. о том, что внимание публики – это очередное «устройство» для исполнения желаний (в просторечии устройства, о которых здесь идет речь, именуются «лохотрон», а состояния – «немошь»), подобно той же самой власти, компьютерным и магическим алгоритмам или пресловутым «законам природы и общества» возмещающее локальный или системный дефицит предпосылок «успеха», недаром же Фауст и его спутник изначально появляются как персонажи ярмарочного вертепа¹⁸. Как видно из сказанного, повседневная функциональная субституция культуры имеет достаточно богатую морфологию и достигается многими способами, однако нетруд-

¹⁸ Тут, очевидно, возникает весьма деликатный вопрос о вероятных латентных взаимосвязях между такими артефактами культуры, как «марионетка», «лохотрон» и «протез», а также о возможной исторической преемственности между тем же ярмарочным вертепом (репертуар которого, будь то явление волхвов младенцу Иисусу или избивание городского Петрушкой – только алиби для «придите и поклонитесь», т.е. манипуляции публикой) и концепциями «искусственного интеллекта» или их современными техническими дериватами; на осуществимость и осмысленность подобного рода сопоставлений указывают многочисленные памятники фольклора (в том числе современного), а также некоторые популярные произведения Э.Т.А.Гофмана, Г. Майринка или – специально для местной публики – В. Пелевина. См.: *Rossi P. Philosophy, Technology and the Arts in the Early Modern Era*. L.: Harper Collins, 1970.

но обнаружить и некоторые специфические инварианты, которые этот эффект сохраняет в самых разных контекстах: повсюду, где универсальные социальные автоматизмы блокированы (для невротика, «мигранта», ребенка, старика или практикующего интеллектуала), повседневное и «посюстороннее» исполнение желаний существенным образом связано с дефицитом предпосылок, обеспечивающих достижение «успеха», а следовательно – с инвестициями каких-то особых ресурсов, которые его восполняют.

Для того, чтобы составить (разумеется, самое предварительное) представление об этих ресурсах, необходимо прежде всего рассмотреть вопрос о том, как вообще возникает дефицит легитимности – то специфическое «положение вещей», при котором повседневное социальное признание – аплодисменты или восхищенные взгляды окружающих – становится самодовлеющей ценностью, определяет мотивацию и приобретает характер неких дополнительных инвестиций в достижение «успеха». В условиях, которые мы обозначили как «благополучное и устойчивое сообщество», подобного сорта инвестиции, очевидно, остаются избыточными: понятия, ценности и нормы культуры, действующие как универсальное магическое заклятье (или, если угодно, приказ, от исполнения которого нельзя уклониться – себе дороже), унифицируют отдельные конкретные инвестиции либидо (времени, капитала или других ресурсов), приводят их во взаимное соответствие и таким образом превращают в манифестацию некоего «порядка», реализованного на множестве событий «успеха», т.е. создают социальное пространство («эон», как сказали бы гностики), в границах которого желания, несовместимые с культурой, попросту не могут исполниться или даже эффективно подавляются еще на стадии их формирования. В подобных условиях любое событие «успеха», в чем бы оно ни состояло, более или менее соответствует ожиданиям других людей, вследствие чего и обыденное действие становится предметом оценки, тем более публичной, исключительно в случае неудачи: «в норме» оно вознаграждается теми конкретными артефактами или эффектами, которые составляют изначальный предмет желания. При таком «положении вещей», хо-

рошо представленном в памятниках фольклора, известном каждому, кто проводит или сопровождает переговоры, и вполне сообразном со всем, что написано в учебниках по социологии, какие-либо публичные жесты или другие действия, направленные на оценку отдельных конкретных инвестиций в достижение «успеха», отнюдь не являются повседневными (вследствие чего всегда обставлены различными экстраординарными ритуалами и табу («никто не может быть признан виновным иначе, как по приговору суда»), а свидетельства или реквизиты социального признания редко (если вообще) приобретают характер самодовлеющей ценности, «актива», имеющего непосредственную ликвидность. Как правило, они выполняют сугубо вспомогательные функции, рассматриваются как специфическая разновидность «санкций», т.е. эффектов социального контроля, и отнюдь не трансформируются в ресурсы, которые можно инвестировать в достижение «успеха»: о них по всеобщему согласию стараются забыть или умолчать как о сугубо частном побочном эффекте какого-то основного действия – его «издержках», как теперь говорят¹⁹. Более того, при указанном «положении вещей» и вследствие процессов, которые в социологии, психологии или других дисциплинах, изучающих поведение человека, называют «социализация», обыденные автоматизмы культуры способны обеспечивать достижение «успеха» даже на необитаемом острове, в условиях полного и хорошо контролируемого уединения, где никаких «окружающих», а вместе с ними и аплодисментов, восхищенных взглядов или вопроса о легитимности нет в помине.

Совсем иначе дело обстоит «в патологии», т.е. при столкновении с устойчивой локальной угрозой благополучию (например, перспективой развода, тяжкого недуга, вытеснения на социальную периферию) или в условиях перемен (персональных и системных), когда обыденные автоматизмы культуры действуют

¹⁹ Сама по себе довольно странная практика «снятия судимости» приобретает рациональность именно в этом контексте: «законодатель», очевидно, рассматривает пребывание «на зоне» как преходящий и сугубо символический акт социального контроля («штраф»), а не особый телесный, социальный и психологический опыт, реальное изменение идентичности, которое нельзя отменить или забыть.

местами, кое-как и отчасти (почему – вопрос особый, который здесь не рассматривается), вследствие чего между отдельными конкретными инвестициями либидо, времени или капитала возникают достаточно серьезные рассогласования, «порядок», реализуемый на множестве событий «успеха», деформируется или разрушается, а это, в свою очередь, переживается как «загрязнение» социального пространства, т.е. мнимое или действительное распространение мотивации, несовместимой с ожиданиями других людей и, более того, препятствующей исполнению их собственных желаний (развитие событий, которое в просторечии оценивается как «несправедливость» и на практике вменяется всем, кто так или иначе им воспользовался). Здесь опять-таки хорошим примером являются невротики, дети или «мигранты», для которых свидетельства и реквизиты социального признания (те же аплодисменты, пресловутые голоса «за», знаки отличия и награды или одобрение и поддержка окружающих, пусть даже чисто символическая (тот же «букетик цветов», например) становятся ресурсами, которые обеспечивают осуществление стратегий, обычных при борьбе с наводнениями или другими вялотекущими природными катаклизмами – своеобразную «гигиену» или, если угодно, «технику безопасности», отнюдь не исключаящую прямого насилия (буде оно понадобится), однако куда более эффективную в ситуациях очевидного и неустранимого «отказа» культуры, т.е. неудачи, которую нельзя игнорировать и не удастся даже приемлемым образом объяснить – стратегий, направленных главным образом на принятие мер, не являющихся инвестициями в достижение «успеха» и не устанавливающих сколько-нибудь эффективного «порядка», однако защищающих от репрессивных санкций со стороны окружающих и, соответственно, от действий, блокирующих или осложняющих достижение «успеха», в частности – на принятие мер, обеспечивающих наглядную демонстрацию того, что данное конкретное событие «успеха» или его субъект отнюдь не являются источником угрозы для окружающих или препятствием к исполнению чьих-либо желаний (вот почему невротики, дети или «мигранты» так стремятся понравиться окружающим и располо-

жить их в свою пользу). Как видим, в ситуациях, переживаемых как явная и непосредственная угроза исполнению желаний (безотносительно к тому, как и почему они возникают на самом деле), по-человечески понятная, безусловно продуктивная и вполне оправданная сама по себе установка на консенсус, т.е. согласование отдельных конкретных инвестиций в достижение «успеха», и притом средствами, исключаящими насилие, порождает весьма специфическую перспективу социального контроля «вручную», знакомую каждому, кому довелось заниматься аналитикой бытовых конфликтов, и в просторечии именуемую «скандал»: любая мотивация, в чем бы она ни состояла, вызывает подозрения и справедливо их заслуживает, партикулярные действия обращаются в предмет непрерывной и взаимной публичной экспертизы, направленной прежде всего на оценку их легитимности, а в качестве «отмазки», т.е. доказательства совместимости с ожиданиями других людей, используются главным образом свидетельства и реквизиты социального признания; чтобы во всем этом убедиться, достаточно посмотреть старый отечественный фильм «Ребро Адама» с блистательной Инной Чуриковой в роли центрального персонажа.

Вся эта панорама актуального «положения вещей» в области исполнения желаний, которая здесь представлена, преследует своей целью не столько критику пост-современного общества (к тому, что уже сделали другие – например, «дядя Федор» Чистяков – мне добавить нечего), сколько наглядную аналитику зависимости между событием «успеха» и некоторыми специфическими стратегиями его достижения, в свою очередь, предполагающими мотивацию, отнюдь не обязательно «естественную» даже для эгоцентричного и тщеславного человека – регулярные и достаточно чувствительные затраты ресурсов на публичную демонстрацию собственных желаний (или предпосылок, эффектов и артефактов их исполнения) я бы, в общем, диагностировал как симптоматику хорошо распознаваемого невроза. Между тем, такая аналитика отнюдь не исчерпывается ни обыденными предпосылками «успеха», ни различными специфическими формами социального признания, способными компенсировать их отсутствие или недоста-

точную эффективность даже в условиях послевоенной разрухи, и предполагает рассмотрение некоторых других факторов «успеха», действующих всегда, повсюду и необходимым образом, однако приобретающих особое значение в ситуациях кризиса: имеются в виду различного рода зависимости между инвестициями либидо (времени, других ресурсов) и достижением «успеха», альтернативные понятия, ценностям или нормам культуры и чаще всего реализуемые в массовых повседневных практиках предсказания будущего – собственно говоря, любая из них предполагает²⁰, что между «местом» действия в пространстве или времени и теми эффектами или артефактами, которые составляют его результат, существует зависимость, механизм которой далеко не обязательно известен (или даже вообще постижим), однако достаточно надежен и потому позволяет с уверенностью утверждать: всякая деловая встреча, назначенная, скажем, на 1 января, закончится пьянкой или не состоится вовсе (другие опыты в том же роде предлагаю выполнить самостоятельно).

Отсюда, конечно, не следует, что будущее предопределено и может «считываться» со страниц какого-то общедоступного документа (скажем, календаря, государственного бюджета или метеокарты на предстоящее тысячелетие), однако даже простейшая обыденная аналитика показывает, что «успех» как действительно уникальное и неповторимое событие – страшная редкость: как правило, для любого из наших достижений или провалов уже существует прецедент, а их чередование подчинено определенному ритму, хорошо представленному в структуре того же календаря, как бытового, так и литургического (членение времени на «кратные» интервалы, равные суткам, месяцу и году, едва ли бы сохранило такую популярность и устойчивость, если бы не воспроиз-

²⁰ В общем случае именно такого рода практики объединяют эпитетом «трансгрессивные» и рассматривают как разновидность *coping behavior*, т.е. «совладающего поведения»; предсказание будущего является простейшей и наиболее распространенной из таких практик. См.: Кайюа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003; Олье Д. (ред.). Коллеж социологии 1937–1939. СПб.: Наука, 2004; Приходько Е.В. Двойное сокровище: Искусство прорицания в Древней Греции. М.: Прогресс, 1999.

водило действие какого-то неведомого, но вполне реального механизма), более того – прототипом такого ритма, скорее всего, являются различные космологические циклы, отображаемые в природной реальности как биологические циклы организма или сообщества, смена времен года и чередование ночи и дня, а в психике, сознании и поведении человека – как архетипы коллективного бессознательного, традиции или даже обыкновенные бытовые привычки, которые буквально принуждают соотнобразовывать с этим ритмом отдельные конкретные действия²¹. Тут, конечно, возникает множество чисто технических проблем, связанных с идентификацией событий «успеха» или с определением их ритма (т.е. построением каких-то конкретных моделей социальной динамики), однако существует немало специальных приемов и уловок, позволяющих в перспективе с этим справиться – в конце концов, взлет и падение финансовых элит, циклы политического лидерства или топография «глобальной системы» отнюдь не обязательно являются исполнением чьих-либо желаний, обладают рациональностью, которую предполагает какая-нибудь культура, или являются менее причудливыми феноменами, нежели образцы того, что у современных математиков называется «хаос»: капризы погоды, очертания облаков и камней, динамика биржевых индексов или сокращения сердечной мышцы при аритмии.

В этой связи, по-видимому, необходимо еще раз попытаться ответить на вопрос, который приходится выслушивать очень часто: где, собственно говоря, мы находимся на самом деле – в «благополучном и устойчивом сообществе» или в ситуации скандала и кризиса? – какое именно из этих определений повседневного социального контекста является продуктивным и «трезвым» взглядом на жизнь, а какое – артефактом стратегической рефлексии или обыкновенной иллюзией? Как и во всех других случаях,

²¹ Саму идею цикличности Б.Л. Уорф, в свою очередь, связывал с особенностями репрезентации времени в индоевропейских языках, что вполне согласуется с имеющимися историческими данными о происхождении зодиакальных конструктов. См.: *Whorf B.L. Language, Thought, and Reality*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1956; Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет: история религии бон. СПб.: Евразия, 1998; Емельянов В.В. Ниппурский календарь и ранняя история зодиака. СПб.: ПВ, 1999.

когда речь идет о поведении человека, на этот вопрос существует множество более или менее правильных ответов, однако в данном конкретном случае наиболее уместным выглядит тот, который дает медицина: человек всегда, повсюду и необходимым образом находится в одном из двух состояний, определяемых как «здоровье» или «болезнь» с достаточной долей условности, однако открывающих совершенно разную перспективу повседневного исполнения желаний; «в норме» эта перспектива связывает «успех» с автоматизмами культуры, тогда как «в патологии», как уже говорилось – с теми специфическими стратегиями, конструктами и стереотипами действия, которые здесь рассматриваются (с магическими практиками, различного рода интригами, частным случаем которых является политика, или с достижением социального признания). Иными словами, «на самом деле» мы всегда, как и пресловутый принц Гамлет, находимся перед дилеммой – рассматривать ли актуальный социальный контекст как «благополучное и устойчивое сообщество» или как ситуацию кризиса и скандала; ее разрешение, собственно говоря, и составляет (в первом приближении, разумеется) предмет стратегической рефлексии, в границах которого главное – не перепутать «трезвый взгляд на жизнь» с устоявшимися и милыми сердцу иллюзиями.

3. Модели для сборки: рабочие термины, структуры созависимости и циклы изменений

ЕСТЬ ТАКАЯ старинная практика, опирающаяся на мифологическую традицию – моделировать историю или биографию циклически, исходя из тех хорошо различимых «паттернов», которые мы можем наблюдать на небесном своде – траекторий, по которым движутся светила, и конфигураций, которые они образуют. Этот специфический подход (вообще говоря, ничуть не более абсурдный, нежели допущения классической механики) определяет рациональность не только астрологии, но и циклических моделей, используемых современными социальными науками: образцами здесь могут служить экономические циклы Кондратьева, исторические циклы Вико, различного рода электоральные и политические циклы или циклы финансовой активности.

В таком контексте зодиаки – это семейство динамических моделей (имитационных, графических или вербальных), согласно которым природные, социальные и психические процессы имеют циклическую структуру²²; в современной «хроно-тронике» чаще всего используются «малый», или западный, зодиак, моделирующий «течение времени» как последовательность годовых циклов, в каждом из которых 12 «домов» раз-

²² См.: *Валянский С.И., Калужный Д.В., Недосекина И.С.* Введение в хроно-тронику. Путь к оптимальному развитию. М.: АИРО-XX, 2001; *Пантин В.И., Лапкин В.В.* Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития. Дубна: Феникс+, 2006.



Рис. 1. Зодиак химер

мером приблизительно в месяц, и «большой», или восточный зодиак²³, который на самом деле представляет собой комбинацию 2-годового «зодиака начал», 10-летнего «зодиака стихий» и 12-летнего «зодиака животных»; есть такая точка зрения, что «большой зодиак» моделирует реальные процессы изменения идентичности или перформативного контекста²⁴, тогда как «малый зодиак» является артефактом инициативных практик (попросту говоря – конструкцией, понадобившейся когда-то для осуществления «обрядов перехода»). Помимо этого, известны еще зодиак майя, который представляет собой достаточно сложную комбинацию циклов разной длительности, объединяемых 20 космологических символами, по большей части зооморфными, 32-летний зодиак «Авесты», 3-летний зодиак, определяющий структуру литургического календаря христиан, 12-месячный «зодиак друидов», скорее всего – реликт гораздо более сложной структуры, и 7-дневный зодиак, положенный в основание европейского гражданского календаря (говорят, восходящий к шумерам).

При разработке «хроноскопа» за основу был взят канонический и общеизвестный 12-летний «зодиак животных», трансформированный в «зодиак химер», т.е. циклическую конструкцию, которая дополнительно моделирует переходы от одного из «домов» к другому (см. рис. 1); по отношению к «малому зодиаку» такие переходы, собственно говоря, и являются «революцией», в первоначальном значении этого термина²⁵. В качестве символов этого эзотерического зодиака использованы имена

²³ См.: Ларин В.В. Восточная зодиакальная символика. СПб.: Изд-во РНБ, 1999.

²⁴ В рамках «большого зодиака» некоторые аналитики дополнительно выделяют 4-летний цикл, связанный с характерологическими различиями в стратегии («demand pull» или «technology push»), а традиционный 2-летний «зодиак начал» рассматривают как чередование «актеров», предрасположенных к инвестициям «когнитивного» и «манипулятивного» типа. См.: Кваша Г.С., Аккуратова Ж.Н. Структурный гороскоп. М.: РИПОЛ, 1997; в данном случае я позволил себе заменить оригинальную терминологию собственной, более привычной и понятной для социолога.

²⁵ Один из «домов» такого эзотерического «зодиака химер» хорошо известен: пресловутому Змееносцу соответствует зодиакальный интервал, расположенный как раз на границе между Скорпионом и Стрельцом; чаще всего Змееносца изображают как черепаху, на панцире которой утнездилась змея – скорее всего, это мифологический прототип Тортилы из повести А. Толстого «Приключения Буратино».

мифологических героев и тварей («химер»), а не названия реальных животных, и эти имена обозначают уже не циклы «малого зодиака», а достаточно короткие промежутки времени между зимним солнцеворотом и так называемым «лунным новым годом», точнее – окрестности этого специфического «места» во времени: зодиаки и их дериваты – это «странные аттракторы», которые указывают на вероятную область наблюдения тех или иных событий, а не динамические траектории, которые определяют их точные координаты во времени и пространстве.

Как и любая другая модель циклического процесса, «зодиак химер» предполагает, что автоматизмы повседневного действия зависят от даты появления «актера» на свет, т.е. позиции в зодиакальном кругу («знака», под которым началось формирование идентичности данного конкретного «актера»). Оси, которые проходят через символы, находящиеся в оппозиции друг другу, делят «зодиак химер» на отдельные сектора (группы «домов»), каждому из которых сопоставлен некий специфический «формат» установления, поддержания или прекращения интеракции.

Ось «пифия»/«медуза» делит зодиакальный bestiary на сектора преследующих (от Петуха до Тигра) и подстерегающих (от Кота до Обезьяны) тварей; сами «химеры» в этом плане амбивалентны – скажем, различного рода «кошки» реально пытаются достать жертву только на очень короткой дистанции.

Ось «овод»/«спрут» разграничивает сектора, обитатели которых «мелькают» и «смотрят» или «слушают» и «жужжат», т.е. оперируют видео- и аудиосигналами (от Лошади до Свиньи и от Крысы до Змеи, соответственно). Есть, кстати, основания полагать, что «Лошадь» как зодиакальный символ является сравнительно поздней интерполяцией²⁶, первоначально в этой позиции была какая-то рептилия (скорее всего – крокодил или саламандра, в зависимости от «стихии») или даже ры-

²⁶ См.: *Mode H.* Fabeltiere und Daemonen. Die phantastische Welt der Mishwesen. Leipzig: Edition Leipzig, 1973; *Gould Ch.* Mythical Monsters. L.: Senate, 1995; *Терентьев-Катанский А.П.* Иллюстрации к китайскому bestiary. СПб.: ФормаТ, 2004.

ба, если судить по иконографии «козерогов»: судя по графике символа, посредством которого в астрологии обозначают эту химеру, «козерог» изначально – рогатая змея, а не гибрид козы и рыбы.

Ось «эдип»/«электра» делит бестиарий на тех, кто «окликает» партнера (от Собаки до Кота), и тех, кто на этот «оклик» отзывается (от Дракона до Петуха), т.е. устанавливает, поддерживает или прекращает контакты в порядке реакции на перформативные «сигналы» партнера, тогда как ось «козерог»/«неотопыр» делит его на тех, кто идентифицирует себя (вплоть до замещения в «первичной ситуации») с отцом (от Быка до Лошади) или с матерью (от Козы до Крысы); сами «химеры» здесь опять-таки амбивалентны.

Ось «гаруда»/«сирена» делит соответствующих «актеров» на тех, кто в интеракции позиционирует себя «снаружи, сверху», и тех, кто позиционирует себя «изнутри, снизу», для установления контакта в одних случаях (от Змеи до Собаки) необходимо откуда-то «подняться и высунуться», тогда как в других (от Свиньи до Дракона), наоборот, куда-то «спуститься и проникнуть»: в частности, Винни-Пуху очень хорошо удастся одно и с трудом – другое. Есть также основания предполагать, что конструкции «высунуться изнутри» или «проникнуть снаружи» достаточно адекватно моделируют поведение в стрессе (например, панику, агрессию или другие экстатические состояния), а термины «сверху» или «снизу» указывают на предрасположенность к соответствующей позиции в сексуальном акте и при пожирании добычи.

Наконец, ось «кербер»/«тортила» разделяет небесный бестиарий на тех, кто мотивирован прежде всего на социальное признание («спектакли» от Обезьяны до Быка), и тех (от Тигра до Козы), кто является его прирожденным субъектом, «зрителем», т.е. «зрителем», «слушателем» или «рецензентом» по преимуществу.

В итоге каждому из «домов» конвенционального 12-летнего «зодиака животных» поставлен в соответствие «формат» повседневного действия, определяемый значениями набора переменных, каждая из которых может оцениваться по ранговой шкале –

типология, которая представляет собой очевидную и вполне корректную проекцию «охотничьих» моделей рефлексии на интерактивные социальные практики²⁷. Как мы знаем, у животных существуют десятки пород, а у растений – сотни сортов; так почему бы не допустить, что такая же множественность «пород» или «сортов» сохраняется и у обезьян вида *homo sapiens*? Мое обращение к «зодиаку химер» отнюдь не предполагало диагностики отношений между «актерами», представляющими разные «дома», т.е. появившимися на свет под разными «знаками», однако традиционные «паттерны» астрологии (такие, как «тригон», «оппозиция» или «квадратура»), по-видимому, сохраняют свое значение и в данном случае: в «тригоне» между партнерами по интеракции возникает зависимость, в «квадратуре», скорее всего, будут перманентные недоразумения и конфликты, наконец, партнеры, находящиеся в «оппозиции», продуктивно, хотя и не без труда, дополняют друг друга. Гораздо более привлекательным выглядит использование «зодиака химер» в качестве универсального «астрального кода» мифологии, однако это задача, которая требует отдельного рассмотрения; впрочем, желающие могут и сами попробовать сравнить «драматургию» повседневного действия, предполагаемую для каких-то конкретных позиций в «зодиаке химер», с теми «сценариями» интеракции, которые представлены, скажем²⁸, в соответствующих статьях энциклопедии «Мифы народов мира».

²⁷ См.: Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: морфология и история. М.: Новое Изд-во, 2004.

²⁸ См.: Токарев С. А. (ред.). Мифы народов мира. Энциклопедия. М.: Советская Энциклопедия, 1992.

СТРОГО ГОВОРЯ, при разработке «хроноскопа» не использовано ни одного термина, значение которого не было бы известно любому сколько-нибудь компетентному специалисту в области психологии, социологии или какой-нибудь другой «науки о поведении», на крайний случай – нельзя было бы найти в словаре²⁹. Тем не менее, некоторым наиболее важным из этих терминов придано значение, которое не вполне совпадает со словарным, а кроме того – каждый из них обозначает специфическую категорию переменных, вследствие чего нуждается в так называемой «операциональной» дефиниции.

Прежде всего напомним: понятие *actor* обычно используется в англоязычной литературе по социологии (которая в большинстве случаев остается, нравится нам это или не нравится, важнейшим и наиболее авторитетным источником актуальной профессиональной традиции) для обозначения индивида, являющегося истинным субъектом действия; почти идентичное французское слово «актер», ставшее в русском языке обозначением артиста, работающего на театральной сцене, буквально означает «тот, кто действует», в противоположность «персонажу» или «маске», т.е. тому, кого показывают зрителям.

Термином «*проект*» обозначены интерактивные практики, «амплуа» и «пространства», которые возникают по инициативе отдельных партикулярных «актеров» как артефакты их желаний; конкретные персональные «проекты» возникают вследствие разрыва между содержанием желаний и перспективами их исполнения, т.е. в «пограничной» проблемной ситуации, которая где-то ранее уже определена идиомой «хочу, но не могу», и предполагают события, означающие «перемену судьбы» или, на крайний случай, «перестройку» актуального перформативного контекста (скажем, налоговую амнистию, покровительство «серьезного человека» или эмиграцию куда-нибудь overseas, пода-

²⁹ См.: Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь. М.: Экономика, 2004.

лее от «мундиров голубых» и симпатизирующего им народа). Как мы знаем, такая ситуация обрамлена латентными и диффузными аффектами (пресловутые «чувство глубокого недовольства» или «...беспокойство, охота к перемене мест»), побуждает к настойчивой демонстрации символов, артикулирующих эти аффекты в дискурсе³⁰, наконец, разрешается в действиях, которые могут быть идентифицированы как попытка «перестроить» автоматизмы повседневного исполнения желаний, т.е. психологическую и социальную «рутину», в контексте которой осуществляются инвестиции времени, либидо или других ресурсов. На практике событиями, которые оформляют «проект» и могут рассматриваться как эмпирические референты этого понятия, являются прежде всего какие-то новые «kids on the block», т.е. появление «актеров», у которых раньше было какое-то совсем другое «амплуа» или их на «сцене» не было вообще – контингента³¹, распознаваемого задним числом по тому весьма характерному сочетанию идентичности и чисто возрастных признаков, на которое указывает идиома «новая волна». Термином «контингент» обозначено то очень важное обстоятельство, что все эти новые «актеры» иницируют свой «проект» независимо друг от друга и, как говорится, «в приватном порядке»; соответственно, любой сколько-нибудь заметный «проект», даже независимо от содержания тех социальных, экономических или по-

³⁰ Такими символами, разумеется, могут быть не только слова или изображения (например, карикатуры), но и поступки – например, различного рода политические манифестации или «обращения за помощью», все равно – административной или консультативной; разумеется, артикуляция «недовольства» и «беспокойства» в дискурсе никогда не бывает вполне адекватной, вследствие чего и поговорка «карта не территория, жалоба не проблема» сохраняет валидность далеко за рамками психотерапевтических практик. См.: *Newirth G.A. A Weberian outline of a theory of community: its application to the «dark ghetto»*. – *British Journal of Sociology*, vol. 20 (1969), N 2, pp. 148–163.

³¹ Этим контингентом могут быть представители очередной возрастной когорты («молодежь»), иммигранты или различного рода «креативная публика», словом – любые «актеры», нечаянно или преднамеренно посягающие на социальную и психологическую «рутину» повседневного действия. См.: *Щюц А. Чужак*. – В кн.: *Щюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом*. М.: РОССПЭН, 2004, с. 533–549; *Simmel G. The Stranger*. – In: *Sociological Theory. A Book of Reading*. Ed. by L.A. Coser, B. Rosenberg. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 1982, p. 488–493.

литических изменений, которые он предполагает, обозначается в дискурсе прежде всего именами тех, кто его инициировал.

В рамках «проекта» складываются и получают артикуляцию желания, исполнение которых сопряжено с какими-то переменными (скажем, в социальных практиках или в содержании нормативных актов, обеспечивающих «натурализацию» иммигрантов), появляются «акторы», инициирующие эти перемены, наконец, формируется консенсус относительно содержания или способа осуществления перемен, а вместе с ним и те конкретные «мы», которые их ждут, т.е. специфическая «аудитория», инвестирующая в «проект» политические, финансовые или другие ресурсы; коротко говоря, «проектом» является любая когерентная совокупность действий³², которые могут рассматриваться как появление новых «актеров» на какой-то публичной «сцене», скажем – на театральных подмостках, фондовой бирже или экране телевизора, т.е. как их «заявка» на социальное признание («продажи», аплодисменты, голоса на выборах). В тех случаях, когда ведется хотя бы самый поверхностный мониторинг подобного рода инициатив, прямо или косвенно затрагивающих поведенческую «рутину», состояние «проекта» можно оценивать по его «рейтингу», т.е. такому же самому набору показателей, какой используется при диагностике разнообразных теле – и политических проектов: в частности, о состоянии «проекта» вполне адекватно свидетельствуют такие показатели, как размеры соответствующего контингента «актеров», уровень их публичности (*visibility*) и аттрактивности, масштабы их доступа к *mass media*, их текущий социальный статус и другие подобные переменные, а также частота, уровень и перспектива развития конфликтов между конкурентами или противниками «проекта» и его участниками. На мой взгляд, в истории джаза образцовыми «проектами» являются инициативы, обозначаемые терминами «be-bop», «cool» и «free

³² Термин «когерентная» означает, что указанная совокупность действий согласована – либо при посредстве личных «повязок» между «актерами», образующими устойчивый кластер («сообщество»), либо на уровне «формата» интеракции и парадигмы дискурса.

jazz», каждая из которых, в свою очередь, ассоциирована не только с конкретным периодом времени или достаточно характерными изменениями в эстетике, технических средствах и социальных практиках³³, но и со вполне определенными именами (соответственно, Чарли Паркер, Майлс Дэвис и Орнетт Коулмен), а в политике – прежде всего «русская революция», как она представлена в эпосе А.И. Солженицына «Красное Колесо», т.е. события 1913–1920 годов, связанные с именами В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого, так называемая «холодная война», которую обычно (скорее всего, справедливо) рассматривают как инициативу Уинстона Черчилля (или И.В. Сталина, кому что кажется «исторической правдой»), пресловутая «перестройка», считающаяся инициативой М.С. Горбачева, а также различного рода изменения, совокупность которых ассоциирована с именем В.В. Путина.

Термином «*лидерство*» обозначены интерактивные практики, «амплуа» и «пространства», которые обеспечивают участникам «проекта» реальное, эффективное «следование за ...» каким-то привилегированным «актером», в частности – перспективу исполнения желаний посредством тиражирования и трансляции «моделей успеха», которые тот практикует³⁴. Как и любые другие «форматы» повседневного действия, входящие в состав «хроноскопа», конкретные персональные «лидерства» возникают вследствие разрыва между содержанием желаний и

³³ В данном случае основным событием, которое рассматривается как эмпирический референт «проекта», очевидно, является выпуск альбома, репрезентирующего изменения в эстетике, технических средствах и социальных практиках интеракции между музыкантами (таковы, например, «Birth of the Cool» Майлса Дэвиса, «Live at the Village Vanguard» Колтрейна или «Town Hall 1972» Энтони Бракстона); в новейшей отечественной истории такое же значение, очевидно, имели пресловутый «апрельский Пленум ЦК КПСС» 1985 года или назначение В.В. Путина директором ФСБ.

³⁴ См.: Адаир Д. Психология лидерства. М.: Эксмо, 2005; Менегетти А. Психология лидера. М.: Агроконсалт, 1996; Егорова-Гантман Е., Минтусов И. Политическое консультирование. М.: Никколо М, 2002; Кетс де Врис М. Мистика лидерства: развитие эмоционального интеллекта. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005; Минделл А. Лидер как мастер единоборства (введение в психологию демократии). М.: ИП РАН, 1993; Щербинина Н.Г. Теории политического лидерства. М.: Изд-во «Весь мир», 2004.

перспективами их исполнения, т.е. в той же самой «пограничной» проблемной ситуации («хочу, но не могу»), и предполагают события, означающие, что «инициатива снизу», которая здесь обозначена термином «проект», блокирована при посредстве репрессий, пропаганды и public relations или наталкивается на существенный недостаток признания (скажем, в форме ответной «инициативы сверху»). У детей такая динамика изменений способствует появлению и артикуляции запроса на вмешательство матери или кого-нибудь, кто ее заменяет («модель успеха», которая, говорят, формируется еще в пре- и окончательно закрепляется в пост-натальный период), «примитивные женщины» в подобной ситуации, как уже говорилось, призывают на помощь мужчину (сексуальные отношения – это тоже разновидность биологического симбиоза), а «современные» взрослые люди начинают озираться в поисках какого-нибудь «лидера», который бы им «сказал, что делать», послужил примером или, на крайний случай, успокоил и вытер сопли. На практике событиями, которые оформляют «лидерство» и могут рассматриваться как эмпирические референты этого понятия, являются прежде всего действия по совладанию с различного рода расстройствами психосоциальной «рутины», возникающими вследствие успешного продвижения какого-нибудь «проекта»; типология таких «катастроф» и определяет основные формы «лидерства», прежде всего – различия в способах и посылах его осуществления.

Как мы все хорошо знаем из работ Ю. Тынянова³⁵, любой «проект» на практике означает конфликт между «архаистами» и

³⁵ Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977; очень похожую модель исторического процесса как перманентного являющегося конфликта двух сетевых структур, охватывающих практически все социально активное население, предлагает и Грассе д'Орсе в своей знаменитой книге «Язык птиц». Такие конфликты в специальной литературе получают определение «стратегические», поскольку не могут быть разрешены посредством уничтожения одной из «сторон», т.е. требуют от своих участников определенной долговременной стратегии. См.: Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М.: ИРИСЭН, 2007; Dixit A., Nalebuff B. Thinking Strategically. The Competitive Edge in Business, Politics and Everyday Life. N.Y. – L.: Norton, 1991.

«новаторами», в результате которого либо одна из сторон одерживает победу, либо возникает так называемая «патовая ситуация», т.е. стратегический конфликт приобретает латентный, диффузный и «вялотекущий» характер; такое развитие событий, в свою очередь, оборачивается «катастрофами», т.е. быстрым и заметным изменением системной динамики³⁶, типология которых вкупе с конкретными сценариями «лидерства» может быть представлена следующим образом.

Те изменения, которые могут быть идентифицированы как победа «новаторов», чаще всего оборачиваются «обрывом традиции», т.е. «катастрофой», которая сопровождается крушением политического устройства или, по крайней мере, заметным и существенным нарушением сложившегося «баланса власти», а также (чаще всего) устранением или внезапной естественной смертью персоны³⁷, так или иначе олицетворяющей «социальный порядок». Для той отечественной истории, которую мы все знаем из школьных учебников, такими «катастрофами» являются, скажем, убийство Александра II в 1881 году, крушение монархии в 1917 году, смерть И.В. Сталина в 1953 году или, наконец, отстранение КПСС от власти в 1989 году; для новейшей истории музыки это, соответственно, появление на театральных и концертных подмостках всего того, что сегодня называется «jazz», кризис 1953 года, в результате которого джаз утратил расовую и

³⁶ Постон Т., Стюарт Й. Теория катастроф и ее приложения. М.: Мир, 1980; как принято считать, наиболее существенные из таких «катастроф» происходят в год Змеи.

³⁷ Как отмечает Н.М. Карамзин, комментируя события 1014 года, т.е. обстоятельства смерти князя Владимира и прихода к власти Ярослава, впоследствии прозванного «Мудрым», только внезапная смерть отца, который «от горести занемог тяжкою болезнию», уберегла сына от «злодеяния редкого», т.е. отцеубийства (полагаю – самое позднее в 1017 году). См.: Уткин А.И. (ред.). Н.М. Карамзин об истории государства Российского. М.: Просвещение, 1990, с. 42. Версия, согласно которой смерть И.В. Сталина в начале 1953 года отнюдь не была естественной, также имеет достаточно широкое хождение. Наконец, еще одна «катастрофа» в том же роде, пережитая ее свидетелями как реальный обрыв традиции – смерть И. Броз Тито и последующее упразднение косовской автономии в 1989 году (событие, которое инициировало распад Югославии); здесь, разумеется, речь идет о типологической близости «паттернов» социальной динамики, отображающих актуальную политическую конъюнктуру, а не о повторяемости изолированных событий.

функциональную стигму, наконец, различного рода события в окрестностях 1989 года³⁸, которые еще ждут своего аналитика (я бы их идентифицировал как признаки, указывающие на исчерпание соответствующей «инновационной волны»).

В свою очередь, победа «архаистов» означает на практике «большую зачистку», т.е. «катастрофу», которая сопровождается принудительными и достаточно радикальными реформами «сверху», предпринятыми по инициативе «лидера» и предполагающими широкое активное использование инструментов политического насилия; в новейшей отечественной истории это, очевидно, «поворот» 1929 года, связанный с именем И.В. Сталина, «реформы» 1965 года, предпринятые после прихода к власти Л.И. Брежнева, наконец, развитие событий, на рубеже 2000/01 года инициированное В.В. Путиным, а в истории джаза – соответственно, «консервативная революция» 1929 года, в результате которой всякого рода «hot five» исчезли вплоть до конца 30-х, тогда как общепринятым джазовым «форматом» становится пресловутый big band, или кризис 1965 года, в результате которого возникает музыка «fusion» и различные ее дериваты (включая «world music» или другие актуальные эксперименты в данной области).

Наконец, «патовая» ситуация и «вялотекущее» развитие конфликта естественным образом оборачивается «потерей контроля», т.е. «катастрофой», которая сопровождается прежде всего быстрым и заметным падением эффективности управления (вплоть до разрушения соответствующих «систем»), высоким уровнем аномии, вовлечением в стратегический конфликт «рядовых граждан», а также различного рода массовыми «уличными» эксцессами; в новейшей отечественной истории это, очевидно, «беспорядки» 1905 года, пресловутое «лето 1941-го» или, наконец, события 1977 года, ознаменовавшие начало «эпохи застоя» и, безусловно, достойные самого внимательного анализа (в истории музыки это, соответственно, «революция», связан-

³⁸ Во всяком случае, трансформация Сесила Тэйлора из «новатора», бросающего вызов истеблишменту, в живого «классика», олицетворяющего традицию, пусть даже созданную им самим, состоялась в рамках «проекта», кульминация которого приходится как раз на 1989 год.

ная с появлением Чарли Паркера в «Minton's Play House» или панк-рока на британских концертных площадках).

В контексте любой из таких «катастроф» между индивидом, претендующим на привилегированный статус «лидера», и сообществами «актеров», репрезентирующих отдельные «проекты», складываются отношения, развитие которых очень хорошо моделирует эксперимент по организации побега из каземата, известный, в частности, по работам В. Лефевра³⁹. Здесь исходная ситуация такова: в некоем каземате находится узник, у которого вне каземата есть сообщник. Каждый из них по отдельности стену каземата пробить не может, но если они будут делать это одновременно навстречу друг другу, то добьются успеха и смогут устроить побег. Пусть, далее, обмен информацией между «узником» и его «сообщником» невозможен, т.е. ни один из участников эксперимента до конца работы не знает, какое решение принял его партнер. Задача, которая стоит перед партнерами по организации побега, остается сравнительно простой, если есть «самое тонкое место». Если же подобного места нет или оно проблематично, то успешный побег предполагает, что «беглец» и его «сообщник» независимо друг от друга предпринимают попытку встретиться в каком-нибудь таком месте, которое обладает наиболее высокой аттрактивностью – например, странно выглядит. Более того, «надзиратель», т.е. участник эксперимента, который стремится воспрепятствовать побегу, также устраивает засаду где-нибудь поблизости от так называемых «фокальных точек» интеракции, т.е. такого места в перформативном контексте, которое по какой-либо причине привлекает внимание (как известно, лучший сторож – это бывший грабитель). В реальном социальном контексте повседневного действия такими «фокальными точками» интеракции, очевидно, становятся уже не выступы и впадины на стене каземата или какие-нибудь хорошо наблюдаемые сингулярности ландшафта, а материальные «активы» и конкретные социальные «акторы»,

³⁹ См.: *Лефевр В.А.* Конфликтующие структуры. М.: Сов. радио, 1973; надеюсь, мне простят замену точной цитаты пересказом.

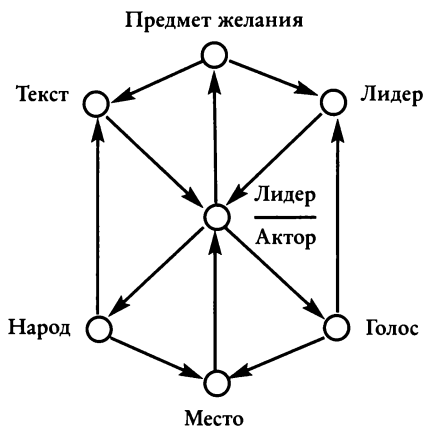


Рис. 2. «Лидерство» как структура.

Здесь привилегированный «актор», расположенный в «центре» структуры, выполняет функции «лидера», тогда как «текстом» являются ритуальная формула или молитва, от произнесения которых, в свою очередь, зависит «голос», т.е. пророчества или другие артефакты дивинации. Кроме того, в оппозиции к «лидеру» всегда находится какой-то другой привилегированный «актор», претендующий на такую же идентичность, вследствие чего реальная динамика «перехода» представлена в рефлексии как «синдром вертепа», т.е. интеракция двух партнеров, занимающих симметричные позиции в структуре.

вследствие чего и эффективное «лидерство» складывается прежде всего вокруг событий, связанных с их идентификацией.

С этой точки зрения хорошей моделью интеракции, связанной с осуществлением «лидерства», является библейская история Авраама: здесь есть некий «актор», стремящийся к осуществлению «проекта», есть «катастрофа», в условиях которой этот «проект» остается беспредметным желанием, есть «голос» трансцендентного (т.е. находящегося за границами актуального перформативного контекста) партнера, выполняющего (по отношению к данному конкретному «актеру») функции «лидера», наконец – есть привилегированное «место», с достижением которого сопряжено реальное и необратимое осуществление «проекта»; интеракция героя истории с этим «лидером», собственно говоря, и обеспечивает «переход», т.е. трансформацию идентичности и (или) контекста, необходимую для эффективного исполнения желаний.

Для нас в данном случае не важно, связана ли «катастрофа» с идентичностью «актера», т.е. представляет собой локальный бытовой случай бесплодия, усыновления чужого ребенка и переселения семьи на новое место, или со спецификой перформативного контекста, в границах которого артикулировано соответствующее желание. Между тем, развитие событий, о котором рассказывает библейская «история Авраама», вполне можно (и даже стоило бы) рассматривать как символическое воспроизведение одной из наиболее важных социальных революций, случившихся в истории человечества – реального исторического перехода от первобытной «гинократии» с ее специфическими автоматизмами, блокирующими или существенно затрудняющими индивидуацию, к «патриархальным» стратегиям массового повседневного действия. Есть немало свидетельств⁴⁰, косвенным образом указывающих на корреляцию такого перехода (т.е. структур идентичности, альтернативных первичному биологическому симбиозу между матерью и ребенком) с наличием или отсутствием предпосылок для формирования аддикций к алко-

⁴⁰ См.: Маккенна Т. Пища богов. Поиск первоначального Древа познания. М.: Изд-во Трансперсонального института, 1995; Белоусов В. Мир, созданный Beatles: Театр масок. СПб.: Алетейя, 2007.

голю, наркотикам или другим источникам «кайфа», однако это уже проблема, далеко выходящая за рамки моего исследования.

Кроме того, история Авраама наглядно показывает, что в условиях «катастрофы» эффективное и необратимое осуществление какого угодно «проекта» в качестве своего исходного условия предполагает особого рода отношения между «актором» и «лидером», которые обычно в дискурсе обозначены термином «договор» и на практике означают, что партнеры по интеракции являются друг у друга заложниками: желания одного (все равно, «узника» или «сообщника») заведомо не могут быть исполнены помимо соучастия в исполнении желаний другого⁴¹. Наконец, та же парадигмальная история позволяет прийти к выводу, что всякое состоявшееся «лидерство» является *une relation à trois* по меньшей мере: наряду с добросовестным «актором» и компетентным «лидером», необходимым исходным условием для преодоления «катастрофы» является какая-то «жертва», т.е. некий публичный акт остракизма – необратимого изгнания со «сцены» или даже физического уничтожения⁴², более того – статус «жертвы» в решающей степени зависит от масштабов «катастрофы», т.е. объема власти, необходимой для эффективного и необратимого восстановления «социального порядка», а соответственно – утрата «ак-

⁴¹ Читая, скажем, Пушкина или Майстера Экхарта, поневоле приходишь к выводу, что без соучастия своих избранников Бог действительно остается трансцендентным субъектом, а значит – ничего не может: ни увидеть, ни услышать, ни, наконец, сказать так, чтобы мало не показалось. Ср. также negotiations о будущем Содомы (Быт 18, 22–33) или диалог Иисуса и Св. Петра в известном апокрифе.

⁴² С этой точки зрения «лидерства», связанные с именами, скажем, И.В. Сталина или Б.Н. Ельцина, едва ли бы состоялись без «съедения», соответственно, Л.Д. Троцкого и М.С. Горбачева, даже А.Б. Чубайс, каким мы его знаем сегодня – и тот имеет в своем активе такую «жертву», как А.В. Коржаков. Тут, правда, важно не ошибиться и не оказаться «жертвой» самому, а кроме того – бывают напрасные «жертвы»; как видим, практика жертвоприношений первоначально возникает в сугубо политическом, сексуальном контексте, и только post mortem, в ретроспективе похорон «безвременно ушедшего» лидера приобретает культовый характер – превращается в самодовлеющий ритуал, т.е. специфический «формат» интеракции, который обеспечивает воспроизводство «лидерства» как перформативного контекста, в частности – его инвариантность к персоне исполнителя соответствующих функций. См.: Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М.: ЯСК, 2006; Элиас Н. Придворное общество. Исследования по социологии короля и придворной аристократии. М.: ЯСК, 2002; Kantorowicz E.H. The King's Two Bodies. Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1997.

тора» или «актива», избранного в качестве «жертвы», тем чувствительнее, чем выше уровень притязаний на социальное признание (для Авраама это предмет того самого желания, ради исполнения которого, собственно говоря, и заключен «договор» с Богом).

Иными словами, всякое состоявшееся «лидерство» очень похоже на кристаллы или обыкновенные силовые поля (см. рис. 2), какими мы их знаем из школьного учебника физики – магнитное, электрическое или гравитационное: тут есть некие привилегированные «траектории», вдоль которых размещены события эффективного исполнения желаний, и есть структурообразующее отношение «лидер»/«актор», которое определяет перспективу соответствующих интеракций. В таком «поле», очевидно, базовый стратегический конфликт социальной динамики никогда не разрешается «полностью и окончательно», на практике между «архаистами» и «новаторами» всегда сохраняется некий асимметричный компромисс, гарантией которого как раз и становится очередное «лидерство»; вследствие этого реальное заклание «жертвы» обычно откладывается до завершения «перехода», в большинстве случаев это год Быка (хотя, конечно, человека, предназначенного в «жертву», можно и пощадить – за исчерпанием функции). Кроме того, всякое эффективное «лидерство» возникает в ситуации, которую хорошо моделирует притча об «ученике чародея», вследствие чего восстановление «социального порядка» поневоле сопряжено с действиями, достаточно радикальными для того, чтобы впоследствии предъявить обвинение – скажем, в неправомерном и грубом насилии; как принято считать⁴³, именно поэтому всякий легитимный субъект власти наделен иммунитетом по отношению к традиции или нормам права – обычно подобного рода привилегии определяют термином «суверенитет». Наконец, в контексте эффективного «лидерства» осуществление

⁴³ См.: *Schmitt C. Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty.* Cambridge, Mass. – L.: The MIT Press, 1988. Тут, конечно, очень важен эпитет «легитимный», т.е. добившийся признания в соответствии с определенной процедурой: отличие рэкетира от налогового инспектора, а политика от бандита состоит исключительно в этой самой процедуре – неукоснительной приверженности «стереотипам» в одном случае и различного рода «импровизациях» в другом.

реального и необратимого «перехода» сопряжено с отношениями «договора», т.е. взаимного пребывания в заложниках: желания «лидера», в чем бы они не состояли, заведомо могут быть исполнены помимо соучастия в исполнении желаний, артикулированных «актерами» как их собственный «проект»; именно вследствие этого реальную социальную динамику «катастрофы» определяет прежде всего текущий «баланс власти», т.е. чисто политические факторы, и уже в этих границах – соображения здравого смысла, безопасности и выгоды. Коротко говоря, на практике преодоление «катастрофы» сопряжено с формированием достаточно сложной структуры, в рамках которой повседневное успешное действие самым существенным образом предполагает доверие отдельных «актеров» своему «лидеру» как привилегированному источнику информации⁴⁴, необходимой для разрешения так называемой «дилеммы узника»; стратегия, посредством которой обеспечивается такое доверие, пусть даже вынужденное, и определяет различия между отдельными типами «лидерства».

В контексте «катастрофы», которая здесь определена как «обрыв традиции», эффективное осуществление «перехода» чаще всего является функцией «лидера», который сам по себе, на уровне идентичности и даже персонального «хабитуса» является воплощением этой самой традиции: Н.С. Хрущев после смерти И.В. Сталина, Б.Н. Ельцин после отстранения КПСС от власти, Майлс Дэвис периода «первого квинтета», т.е. превращения джаза в искусство для «продвинутой» мультирасовой богемы. В данном случае доверие «актеру», претендующему на привилегированный статус, обеспечивает сложившийся «образ жизни», исторически обусловленная идентичность, наконец, специфический персональный «хабитус», включая и обыкновенную привычку следовать велениям «голоса», репрезентирующего какое-то сообщество реальных носителей власти; при «обрыве традиции» в качестве

⁴⁴ Как уже говорилось, эффективная и стабильная интеракция с «лидером» предполагает «договор», т.е. отношения взаимного взятия в заложники, а следовательно – сопряжена с возникновением так называемого «стокгольмского синдрома», т.е. склонности «верить на слово», которая становится императивом как для «актера», инициирующего «проект», так и для самого «лидера».

«жертвы» чаще всего избирается инициатор «проекта», обеспечившего победу «новаторов», а «договор» с его наиболее видными и влиятельными участниками оформляется как номинация «элиты», т.е. совокупности «актеров», для которых социальное признание, высокий статус и, соответственно, возможность получения так называемой «статусной ренты» гарантированы «форматом» интеракции, хорошо известным из текстов А.С. Пушкина: «волю первую мою ты исполнишь как свою». Такие «лидерства» хорошо известны по исследованиям, посвященным кризису «традиционных» социальных практик, и являются наиболее характерной особенностью всякой успешной «реформы сверху», проводится ли она в античной Греции или, скажем, в современной России, Индии и странах Латинской Америки; по сути своей этот тип «лидерства» является хорошо структурированным парадоксом⁴⁵, вследствие чего исполнителями соответствующих функций чаще всего оказываются энергичные и амбициозные «выдвиженцы», представляющие какую-нибудь маргинальную группу (так называемые «цветные», иммигранты и женщины).

В свою очередь, «катастрофа», которая здесь определена как «большая зачистка», предполагает, что эффективное осуществление «перехода» становится функцией «лидера», доверие которому обеспечивает его собственная техническая компетенция. Как правило, предметом такой компетенции, перманентно или, по крайней мере, достаточно часто удостоверяемой публично, становится диагностика отдельных «проектов», их обоснование, а также эффективное использование пропаганды, public relations и средств политического насилия. В истории джаза наиболее ярким «лидером» этого плана является тот же Майлс Дэвис, но уже в период «второго квинтета», а в отечественной истории это, безусловно, когорта политиков, прямо или косвенно связанных с так называемыми «косыгинскими реформами»; в данном случае «лидером»

⁴⁵ См.: Мухелишвили Н.Л., Шабуров Н.В., Шрейдер Ю.А. Символ и поступок. Препринт. М.: МНС «Сознание», 1987; Прагматика притчи. Препринт. М.: ИППИ АН СССР, 1989; Muller R.J. The Marginal Self. An Existential Inquiry into Narcissism. Atl. Highlands, N.J.: Hum. Press Int., 1987; Stonequist E. The Marginal Man. A Study in Personality and Culture Conflict. N.Y.: Russel, 1961.

становится человек, который хорошо знает, чего на самом деле хотят его партнеры и где именно находится предмет желаний, ради исполнения которых те готовы «следовать за...», идентификация конкретной персоны предполагает достаточно широкий консенсус, в качестве «жертвы» чаще всего избираются альтернативные «лидеры», хотя бы в перспективе способные этот консенсус разрушить, тогда как предметом «договора», обеспечивающего номинацию «элиты», становится признание за «лидером» монополии на осуществление экспертных функций, т.е. его статус как субъекта, осуществляющего надзор; в криминальных кругах подобного рода статус обозначают весьма красноречивым термином «смотрящий». Этот тип «лидерства» хорошо известен из дискуссий о стратегиях модернизации и весьма привлекателен для эксперта, профессионального аналитика или вообще «потребителя» рациональных политических теорий; обычно подобные «лидерства» определяют термином «идеократия» и рассматривают как результат замещения традиции артефактами научного или даже технического дискурса, тогда как исполнителями соответствующих функций чаще всего становятся инженеры, медики и офицеры спецслужб.

Наконец, «патовая» ситуация», «вялотекущее» развитие конфликта и «потеря контроля», т.е. «катастрофа», которая сопровождается, как уже говорилось, высоким уровнем аномии или даже массовыми «уличными» эксцессами, предполагает, что эффективное осуществление «перехода» становится функцией «лидера», доверие которому обеспечивает так называемая «харизма». В истории джаза это, безусловно, Чарли Паркер, музыкант, которому Х. Кортасар посвятил рассказ, имеющий весьма примечательное название «Преследователь», а в истории «русской революции» наиболее ярким и бесспорным примером «лидера», обладающего «харизмой», т.е. малопонятным свойством личности⁴⁶, вследствие

⁴⁶ См.: Lindholm C. Charisma. Oxford: Blackwell, 1993. В «Авесте» этот специфический фактор, трансформирующий интеракцию в «лидерство», обозначен термином *hvarnah, а в дискурсе испаноязычного психоанализа, *cante flamenco* и тавромахии – термином *duende*. См.: Топоров В.Н. Фарн. – В кн.: Мифы народов мира, т. 2. М.: Сов. Энциклопедия, 1992, с. 558–559; Лопес-Педраза Р. Раздумья о дуэнде. – В кн.: Современный психоанализ (хрестоматия). М.: Изд-во Стаса Раевского, 2007.

которого данному партикулярному «актору» сопутствует удача, остается, наверное, Нестор Махно: в данном случае функции «лидера» осуществляет человек, вызывающий желание «следовать за...», т.е. подражать, тиражировать соответствующую «модель успеха», в силу неведомой и непонятной причины. По крайней мере некоторые из таких индивидов всегда или очень часто избирают «правильную» стратегию, вследствие чего в ретроспективе успешного исполнения желаний получают привилегированный статус «голоса», который «указывает, что делать»; идентификация «жертвы» или номинация «актеров», образующих «элиту», в данном случае также осуществляется «задним числом», в ретроспективе реального «следования за...» и сопряженного с этим обстоятельством преобразования идентичности и(или) социального контекста⁴⁷. Этот тип «лидерства» достаточно часто моделируется «массовой культурой», определяет «формат» интеракции, характерный для культовых практик, и хорошо известен по различного рода отчетам о «пограничных» социальных ситуациях.

На практике, конечно, «чистые» типы интеракции встречаются очень редко (если вообще когда-либо), вследствие чего любой индивид, реально выполняющий функции «лидера», в разные периоды времени, в разных перформативных контекстах и по отношению к разным «актерам» может конституировать разные «лидерства»; примерами тут могут служить уже неоднократно упомянутые Майлс Дэвис или – в другом ряду – И.В. Сталин. При всех различиях между отдельными типами «лидерства», любое из них предполагает достаточно высокий статус и выполняет

⁴⁷ В тех случаях, когда подобная перспектива становится источником конфликта, «следование за...» реально осуществляется как демонстративное передразнивание («травестия»), т.е. провокация к «лидерству», чреватая превращением в «жертву». О наиболее примитивных формах «следования за...» см.: *Ямпольский М.* Демон и Лабиринт (диаграммы, деформации, мимесис). М.: НЛО, 1996.

⁴⁸ Отсюда, в частности, двойственная родословная, представляющая Иисуса одновременно и как прирожденного, «эксклюзивного» обладателя аутентичной личной харизмы («воплощение Духа Святого»), и как законного (по мужской линии) наследника царей «из колена Давидова»; более того, здесь (как и в некоторых других эпизодах Нового Завета), возможно, подразумевается не биологическое родство, а преемственность функции, т.е. ритуал, связанный с идентификацией лидера (такой, например, как у буддистов Тибета).

«трансгрессивные» социальные функции, связанные с осуществлением «перехода», тогда как различного рода артефакты, обозначенные как «проект», «текст» и «место», вполне могут рассматриваться как специфические персональные «амплуа» или источники ресурсов. Так, например, в новозаветных притчах Иисус является одновременно и носителем «харизмы», и воплощением традиции⁴⁸, и обладателем уникальной технической компетенции, которая проявляется как традиционные действия священнослужителя, в частности – номинация «жертвы» и эффективная молитва. Кроме того, можно заметить, что позиции «голос», «народ» и «жертва» симметричны, вследствие чего субъект дивинации взаимозаменяем со своей публикой: отсюда «мы» в обращениях римского императора к сенату и армии или политическая традиция⁴⁹, согласно которой *vox Dei* и *vox populi* рассматриваются как функциональные субституты (например, в современных теориях суверенитета и на выборах). Тем не менее, предлагаемая здесь версия хорошо известной типологии Макса Вебера остается сугубо предварительной: при всем разнообразии публикаций, посвященных феномену «лидерства», его специфическая структура, динамика и социальные функции в значительной степени остаются предметом спекуляций или даже отождествляются с практиками господства⁵⁰, вследствие чего и соответствующие пояснения к «хроноскопу» нуждаются в уточнениях.

⁴⁹ По той же причине «жертва» рассматривается как субъект дивинации (например, в историях о «говорящей голове» или предсмертном проклятии), тогда как «голос» становится функцией «места», претендующего на статус сакрального «центра» интеракции: отсюда такие красноречивые названия, как «Голос Америки» и «Эхо Москвы» или – в другом ряду – универсальный интерактивный «формат» культовых практик, согласно которому иерофанция соотносена с особым рода «хронотопом», локализованным во времени как «праздник», а в пространстве – как «святилище». См.: *Шукуров Ш.М.* (ред.). Храм земной и небесный. М.: Прогресс-Традиция, 2004; *Лидов А.М.* (ред.). Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М.: Индрик, 2006. Ту же самую автореферентную структуру нетрудно обнаружить в библейской «истории исхода», а также в нарративах лагерного фольклора.

⁵⁰ В практике mass media это отождествление приобретает уже просто курьезные формы: в одном из выпусков «рейтинговой» телевизионной программы на вопрос ведущего относительно личных притязаний на лидерство некая девушка ответила «Да, я люблю, чтобы меня слушались»; самое забавное состоит в том, что ведущий, по-видимому, счел такой ответ адекватным.

Термином «элита» обозначены опять-таки интерактивные практики, «амплуа» и «пространства», возникающие в результате успешного «лидерства», т.е. всех тех изменений идентичности и(или) социального контекста, которые обеспечили исполнение каких-нибудь конкретных желаний – осуществление «проекта» или их кластера. На практике событием, которое оформляет «элиту» и может рассматриваться как эмпирический референт этого понятия, является прежде всего появление контингента «актеров», для которых так или иначе гарантировано присутствие на «сцене», обеспечивающей эффективное повседневное участие в интеракции – так сказать, доступ к ломберному столу, дееспособные партнеры и, наконец, ресурсы, необходимые для участия в соответствующих «проектах», в том числе образование (например, знание иностранных языков), внешность и здоровье. По этой причине обмен или конкуренция между представителями «элиты» и прочими «актерами» всегда остаются асимметричными⁵¹, у представителей «элиты» всегда есть некое «накопляемое преимущество» в исполнении желаний, которое обусловлено их социальным статусом и в конечном итоге оборачивается особым рода рентой – дополнительными «продажами», полезными знакомствами, эксклюзивными знаниями и умениями или другими артефактами социального признания – обстоятельство, на которое в дискурсе обычно указывают идиомами «родился в рубашке» или «...с серебряной ложкой во рту», позволяющими рассматривать «элиту» в качестве «праздного класса». Любая сколько-нибудь заметная «элита», даже независимо от своего «личного состава», обозначается в дискурсе прежде всего указаниями на ту специфическую «площадку», которую она занимает и контролирует, тогда как термином «контингент» по-прежнему обозначено то очень важное обстоятельство, что все эти новые «актеры», составляющие

⁵¹ См.: Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прорпесс. 1884; Bottomore T.B. Elites and Society. L.: Watts, 1964; Andrews F.M. (ed.). Scientific Productivity. The effectiveness of research groups in six countries. Cambridge, Mass.: Cambridge Univ. Press/Paris: Unesco, 1979.

«элиту», образуют классическую «сетевую» структуру, т.е. либо действуют «в инициативном порядке» независимо друг от друга, либо образуют небольшие и мобильные «команды», беспрерывно конкурирующие друг с другом, и только постепенно становятся неким устойчивым сообществом. Наконец, эта специфическая структура складывается вокруг «лидера» как артефакт «следования за...», т.е. как совокупность «актеров», *de facto* удостоенных права участвовать в осуществлении «перехода», вследствие чего принадлежность к «элите» вполне может рассматриваться как универсальный «проект», инвариантный к отдельным конкретным желаниям.

В свою очередь, то обстоятельство, что любая «элита» складывается вокруг эффективного «лидера» как побочный продукт его миссии, а также различного рода привилегии, ранее названные «статусной рентой» и *de facto* связанные с принадлежностью к «элите», объясняет, почему воспроизводство подобных структур сопряжено с достаточно частой проблематизацией лояльности. Тут имеются в виду различного рода испытания⁵², которые позволяют идентифицировать «элиту» в качестве «актеров», инвестирующих либидо или другие ресурсы в практики «следования за...»; кроме того, проблематизация лояльности (в том числе и так, как это делают женщины, страдающие различными формами истерии) обеспечивает идентификацию того, кто получает статус «жертвы», подобного рода сценарии харак-

⁵² В истории Авраама это, безусловно, отсылка Сарры к фараону и царю Авимелеху, почти идентичная по своему сценарию кастингу у Станиславского («верю»/«не верю»). Очень похожий или даже идентичный «формат» интеракции специфичен для «гиноцентрических» культовых сообществ, возникающих на социальной и географической периферии мировых религий: как правило, в подобных сообществах мужчина-лидер является виртуальной фигурой, т.е. «предметом веры» и артефактом дискурса женщин, притягивающих (вполне чистосердечно) на статус его жены, дочери или иного доверенного лица, вследствие чего «проблематизация лояльности» осуществляется главным образом при посредстве экстатических ритуальных практик и сопутствующих им «видений», «голосов», «даров», «стигм» или острых аффектов. См.: Бамбышева Г.И. Религиозное движение «Возрождение» в Калмыкии: генезис, организация и культовые инновации. Дипломная работа. М.: РГГУ, 2007; Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.

терны для пресловутой «охоты на ведьм». Далее, реальная или предполагаемая проблематизация лояльности, составляющая условие *sine qua non* всякого эффективного «лидерства», означает, что пребывание в составе «элиты» является перманентным поединком, к тому же по правилам, которые могут меняться и не всегда известны заранее, вследствие чего в подобных сообществах весьма существенное значение приобретают различные «игры», в том числе спортивные, которые рассматриваются не только как форма досуга, но и как своеобразные инициатические практики. В результате суждения о «харизме» приобретают эмпирическую валидность, т.е. опознавательными признаками потенциально эффективного «лидера» становятся хорошие спортивные результаты, удачливость на охоте или за ломберным столом⁵³, наконец, обыкновенный успех у женщин («лидерство» по-прежнему остается мужским «амплуа»), а также – в более архаичных культурах, нежели наша собственная – способность чудесного исцеления больных; кроме того, возникают два достаточно разных типа «элит», опознаваемых по наклонности их представителей к сольным или командным «играм». Такие «элиты» отличаются друг от друга прежде всего по доминирующему «формату» интеракции – иерархия, предполагающая подчинение («единоборцы», или автократическая «элита»), и команда, предполагающая обмен ресурсами или услугами (процедуральная «элита», или «футболисты»); в качестве примера здесь можно рассматривать «элиты», инициация которых приходится на середину 50-х (престижные виды спорта – гимнастика, легкая атлетика и так называемый «большой секс») или конец 60-х (главным образом, преферанс, «пивбол на спиртплощадке» или какая-нибудь другая «групповуха», подчас вполне криминаль-

⁵³ См.: Блок М. Короли-чудотворцы. Очерки представлений о сверхъестественном характере королевской власти. М.: ЯРК, 1998; Вигzell Ф. Читая фортуны: гадательные книги в России после 1765 года. М.: ОГИ, 2007; Парчевский Г.Ф. Карты и картежики. Панорама столичной жизни. СПб.: Изд-во «Пушкинского фонда», 1998. Понятно, что такие «разведпризнаки» сохраняют сугубо эвристический характер и легко поддаются имитации, тогда как для человека, страдающего нарциссическим синдромом, проблематизация лояльности легко и очень быстро приобретает самодовлеющий характер.

ная), а также значение тенниса в начале 80-х, футбола в середине 90-х и горных лыж или боевых искусств уже в наше время. Наконец, есть основания предполагать⁵⁴, что процедуральные и авторитарные «элиты» ассоциированы с разными стратегиями инвестиций (в том числе, вероятно, инвестиций либидо), однако такая гипотеза остается сугубо предварительной и нуждается в уточнении (тем более, что финансовые «элиты» и их динамика отнюдь не являются хорошо наблюдаемыми феноменами).

Как можно заметить, «проект», «лидерство» и «элита» предполагают «формат» интеракции⁵⁵, который может быть идентифицирован как «сообщество», т.е. совокупность «актеров», объединенных различными личными «повязками», иначе говоря – зависящих друг от друга как соперники или партнеры по стратегическому конфликту (ситуация, которую хорошо моделируют спортивные поединки и «коммерческие» карточные игры). Между тем, циклические модели исторического, политического или какого угодно социального процесса (включая развитие событий, которое мы обозначаем как «биография») имеют своим прототипом влияние фаз Луны на поведение человека и, соответственно, предполагают два дополнительных друг другу цикла системной динамики, связанных с полно- и новолуниями (латентный процесс, инициируемый актом зачатия, и явный, инициируемый актом «появления на свет»). Здесь как бы предполагается, что в ежемесячном цикле Луны существует две критические точки, находящиеся в оппозиции

⁵⁴ Судя по всему, развитие экономики сопряжено с периодическим подъемом, расцветом и упадком двоякого типа финансовых элит: промышленных, действующих главным образом в сфере производства услуг или потребительских товаров (в их числе, разумеется, энергоресурсов) и организованных как авторитарные иерархии («корпорации», «фирмы»), и спекулятивных, действующих прежде всего на фондовой бирже и организованных как сообщества независимых равноправных субъектов «рынка». См.: Коуз Р. Фирма, рынок и право. Нью-Йорк: Телекс, 1991.

⁵⁵ В англоязычной литературе по социологии такой «формат» интеракции, напоминающий нам, что человек – стайное животное («zoop politicon»), обозначают термином «community». См.: Мердок Дж.П. Социальная структура. М.: ОГИ, 2003; Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М.: ОГИ, 2004; Cohen A.P. The Symbolic Construction of Community. L.: Routledge, 1985.

друг другу – новолуние, когда начинает действовать некий существенный фактор персонального или группового (популярного) поведения, и полнолуние, когда этот фактор, в свою очередь, инициирует какие-то другие циклические процессы: например, на полнолуние гады и птицы вылупляются из яйца, тогда как на новолуние происходит их зачатие (кладка яиц или оплодотворение самки). Как утверждает древний орфический миф, в ночь первого полнолуния после весеннего равноденствия из мирового яйца вылупляется очередной «эон», крылатый змей, годовой цикл времени со своей специфической личной или групповой «судьбой», это событие всегда и повсюду отмечали как праздник, оно и теперь празднуется как иудейская или христианская Пасха; та же орфическая эвристика может быть спроецирована и на солнечные циклы – здесь также есть привилегированное событие в ночь с 24 на 25 декабря, соответствующее новолунию (зимний солнцеворот, Рождество Христово, а до того Митры), и есть точка, соответствующая полнолунию – ночь на Ивана Купалу, или рождество Иоанна Крестителя. В этот момент времени (точнее, в его «окрестностях») происходит инициация очередной годовой «судьбы», которая «появляется на свет», т.е. приобретает явный и публичный характер, в ночь с 23 на 24 июня; у нас, правда, верят сейчас не тому календарю, который явлен на небесах, а тому, который отпечатан на бумаге, поэтому соответствующее развитие событий отмечают на 13 дней позже, что не соответствует, конечно, никакому реальному положению светил и созвездий. Так вот, «хроноскоп» вполне может рассматриваться как проекция той же самой «лунной» эвристики на 12-летний цикл, трактуемый как универсальный динамический «модуль» биографии или профессиональной карьеры: здесь также предусмотрены два дополнительных друг другу цикла (точнее, «пакета» циклов) системной динамики, один из которых моделирует формирование сообществ, тогда как другой – становление или распространение какого-то массового «формата» интеракции. Иными словами, наряду с личными «повязками», в реальных проблемных ситуациях действуют и другие императивы, кото-

рые могут быть идентифицированы как универсальная парадигма дискурса⁵⁶, инвариантная к позиции «актора» в перформативном контексте; такой «формат» интеракции конституирует массовый «запрос», «дилемму» и «схизму», т.е. циклы социального признания, отнюдь не предполагающие зависимости или партнерства.

Прежде всего, консолидация «элиты» на практике означает далеко не только появление сообщества «актеров», представители которого занимают и контролируют какую-то публичную «сцену», вследствие чего получают достаточно заметное преимущество в конкуренции за социальное признание. Как уже говорилось, для представителей «элиты» позиция на «сцене» гарантирована их соучастием в осуществлении «лидерства», тогда как всем прочим надо еще как-то себя «показать» или «проявить», именно это обстоятельство и становится источником статусной ренты; помимо того⁵⁷, консолидация «элиты» означает, что локальные стереотипы, навыки повседневного действия или даже сугубо приватные идиосинкразии, сложившиеся в процессе формирования данного конкретного сообщества как некое побочное следствие условий, в которых оно реально возникало, приобретают «достоинство необходимости и всеобщности», т.е. становятся предметом так называемого «нормативного консенсуса», определяющего «формат» всякой успешной интеракции. В конечном итоге у «публики» склады-

⁵⁶ См.: Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003; Douglas M. Natural Symbols. Explorations in Cosmology. L. – N.Y.: Routledge, 1996. В данном случае предпочтение отдано терминам «сообщество» и «парадигма», однако их трактовка заметно шире, чем у Т. Куна, и соответствует скорее взглядам М. Дуглас, у которой те же самые основополагающие «форматы» интеракции обозначены терминами «group» и «grid», соответственно.

⁵⁷ Тут еще стоит обратить внимание на сугубо «оптическую» лексику, недвусмысленно указывающую на особую роль зрения, в «поле» которого должен находиться всякий «актор», реально претендующий на вознаграждение и карьеру: как видим, «театральная метафора» вовсе не является измышлением Эрвина Гофмана, это обыденная и весьма распространенная стратегия рефлексии, на практике определяющая границы того, что считается истиной – отсюда и такие идиомы, как «momento de verdad» или «aletheia». См.: Магильницкий С.Г. Шекспир о глазах и зрении. М.: Рос. Экон. Барометр, 1995; Arendt H. The Human Condition. Chcgo – L.: Univ. Chcgo Press, 1958.

вается некое обобщенное и универсальное представление о требованиях к человеку, претендующему на статус «актера», т.е. на аплодисменты, высокие гонорары, правительственные награды или другие реквизиты успешной карьеры, которое в дальнейшем определяет содержание и конкретные предметы желаний, а соответственно – реальные личные инвестиции либидо, времени или других ресурсов в достижение различных конкретных целей; вот почему занятие, которое для «лидера» было излюбленной формой досуга, в процессе формирования «элиты» становится универсальной инициативной практикой⁵⁸, а те специфические личные качества, которых оно требует – критерием, по которому осуществляется предварительная селекция «новичков». Коротко говоря, консолидация «элиты» на практике означает появление массовой (т.е. универсальной и безличной) парадигмы дискурса, овладение которой становится необходимым исходным условием появления на «сцене», а значит – критерием, по которому распознают и вознаграждают тех, кто претендует на успешную карьеру.

Термином «запрос» обозначены универсальные массовые стратегии и контексты повседневного действия, которые возникают как результат социализации, т.е. усвоения «актерами», в перспективе претендующими на успешную карьеру (прежде всего – иммигрантами, молодежью и другой «широкой публикой»), тех стереотипов и навыков интеракции, которые «элита» демонстрирует на «сцене», в том числе на телеэкране, как условие *sine qua non* повседневного исполнения желаний. В принципе, такие стереотипы и навыки могут быть какими угодно, однако в процессе формирования «запроса» тот специфический «формат» интеракции, который они предполагают, становится

⁵⁸ Так, судя по телесериалам, в наши дни человек, претендующий на успешную карьеру, скажем, в органах внутренних дел, должен регулярно участвовать в распитии достаточно большого количества крепких спиртных напитков (что, безусловно, предполагает хорошее здоровье, психическую устойчивость и наличие некоторых достаточно сложных навыков интеракции); в правление Брежнева это было неизбежным и очень важным испытанием вообще для всякого, кто претендует на сколько-нибудь серьезную карьеру.

хорошо структурированным и унифицированным шаблоном⁵⁹, обеспечивающим трансляцию желаний в дискурсе – артикуляцию своих собственных желаний или идентификацию чужих. В данном случае речь идет о трансляции аффекта, поэтому соответствующий процесс, скорее всего, приобретает «эпидемическую» динамику; отсюда, в частности, можно сделать вывод, что формирование «запроса» неким существенным образом ассоциировано с интимными отношениями, а также распространением сплетен, анекдотов и модных новинок. Кроме того, этот процесс, по-видимому, критичен по отношению к перспективе изменений, связанных с осуществлением власти, поэтому в рамках «хроноскопа» выделены «запросы» консервативного и радикального типа, специфическую направленность которых можно обозначить, соответственно, терминами «традиция» или «инновация»; в контексте авторитарных «иерархий», как правило, формируется диспозиция «мы ждем перемен», тогда как процедуральные «команды», напротив, вызывают устойчивое и массовое желание «не допустить никаких изменений». На практике событием, которое оформляет такой массовый «запрос» и может рассматриваться как эмпирический референт этого понятия, является прежде всего появление достаточно обширного контингента «актеров», так или иначе независимо друг от друга разделяющих некий общий аффект относительно позиции в стратегическом конфликте, которая обеспечивает повседневную успешную интеракцию; в русскоязычном профессиональном дискурсе такой аффект обычно обозначают термином «упование». Этот общий аффект, опять-таки, может быть каким угодно, однако его содержание, каким бы оно ни было, является типичным «предметом веры», т.е. соответствующие представления в самом общем случае могут быть редуцированы к мифологемам «пограничной ситуации», «инога мира» и «культурного героя», которые затем проецируются на какой-нибудь актуальный «цикл» социальной динами-

⁵⁹ См.: *Harvey K., Shalom C. (eds.). Language and Desire. Encoding sex, romance and intimacy. L.– N.Y.: Routledge, 1997.*

ки⁶⁰. Иными словами, термином «запрос» обозначена парадигма дискурса, которая артикулирована как унифицированная совокупность пристрастий – предмет широкого и устойчивого консенсуса по отношению к выбору профессии, брачного партнера, страны проживания, предметов потребления, позиции на выборах, символов повседневного дискурса, «правил игры» в отношениях с ближними или к другим стратегиям и контекстам повседневного действия, ассоциированным с успешной карьерой.

Термином «дилемма» также обозначена парадигма дискурса, которая артикулирована как предмет широкого и устойчивого консенсуса, но уже по отношению к различного рода изъятиям (что называется, «оборотной стороне») того специфического «формата» интеракции, который предполагает актуальный массовый «запрос». Любая «дилемма» возникает в оппозиции к «проекту», поэтому ее содержание в самом общем виде определяет все тот же стратегический конфликт между «архаистами» и «новаторами», тогда как перспектива развития в решающей степени зависит от характера «катастрофы», которую тот провоцирует: в контексте «обрыва традиции», очевидно, соответствующая «дилемма» оформлена прежде всего как несовместимость «либерализма» и «стабильности», в контексте «большой зачистки», соответственно, «лояльности» и «технической компетенции», в контексте «потери контроля», скорее всего – как несовместимость «харизмы» и личных пристрастий (быть может, именно по этой причине у церковной и воинской «элиты» получают такое значение практики невладения имуществом, воздержания от «излишеств» и celibата). В данном случае речь опять-таки идет о трансляции аффекта, поэтому формирование «дилеммы» по-прежнему ассоциировано с интимными отношениями и распространением сплетен, анекдотов или модных новинок, соответствующий процесс приобретает «эпиде-

⁶⁰ См.: См.: Гладыш А. (Игнатъев А.А.). Структуры Лабиринта: отчет о полевых наблюдениях. М.: Ad Marginem, 1994; Чаликова В.А. (ред.). Утопия и утопическое мышление: антология. М.: Прорпесс, 1991; Walser R. Running with the Devil: Power, Gender and Madness in Heavy Metal Music. Hanover, Penn.: Wesleyan Univ. Press, 1993.

мическую» динамику, его артефакты остаются «предметами веры», а тем событием, которое оформляет «дилемму», т.е. может рассматриваться как эмпирический референт этого понятия, также остается появление достаточно обширного контингента «актеров», так или иначе независимо друг от друга проецирующих на перформативный контекст интеракции некий общий аффект относительно конфликта между «архаистами» и «новаторами». На первых порах этот аффект сохраняет амбивалентный характер и обнаруживает себя главным образом как ирония или другие симптомы того, что в социологии обозначают термином «role distance», однако по мере формирования «дилеммы» расхождение между идентичностью «актеров» и той интерпретацией стратегического конфликта, которую предполагает актуальный «запрос», возрастает, иронию сменяют гораздо более жесткие речевые практики, в просторечии именуемые «стеб» и достаточно хорошо представленные в публикациях, посвященных феномену юродства⁶¹, а затем и открытые формы несогласия, вплоть до публичных деклараций и скандалов, проявлений агрессии или других действий, обозначающих реальную «схизму», т.е. достаточно заметный раскол потенциальных участников интеракции на партикулярные «аудитории», каждая из которых практикует какие-то собственные парадигмы дискурса.

В данном случае термином «схизма» обозначены универсальные массовые стратегии и контексты повседневного действия, которые возникают как следствие антагонизма, имплицитно встроенного в любые социальные отношения – несоизмеримости «человека» и «общества», т.е. этнической, гендерной или возрастной идентичности «актеров», претендующих на успешную карьеру, и тех парадигм актуального дискурса, в том числе связанного с осуществлением «лидерства», которые реально оп-

⁶¹ См.: Иванов С.А. Блаженные похабы. Культурная история юродства. М.: ЯСК, 2005. Такого же сорта (или очень похожие) речевые практики можно обнаружить и в публикациях, посвященных феномену публичного скандала, в том числе политического. См.: Moser H. L'Eclat c'est moi. Zur Faszination unserer Skandale. Weinheim: Deutscher Studien Verlag, 1989; Scott J. Domination and the Art of Resistance. Hidden Transcripts. New Haven – L.: Yale Univ. Press, 1990.

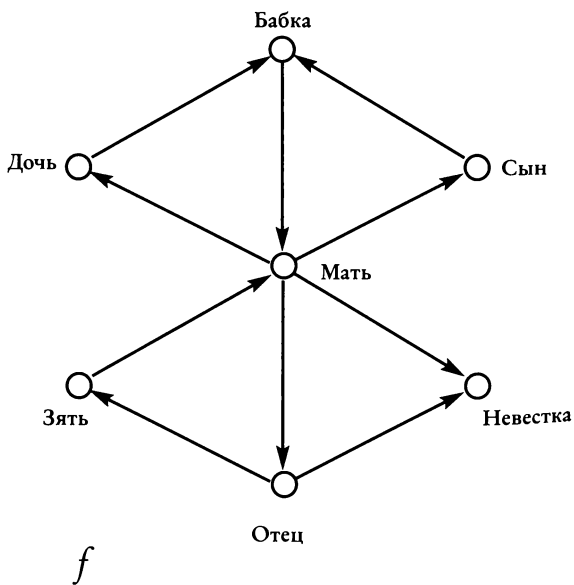
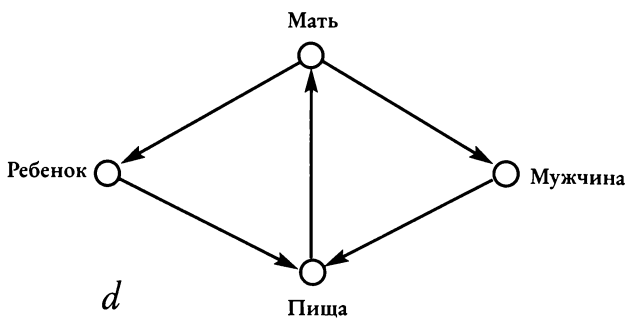
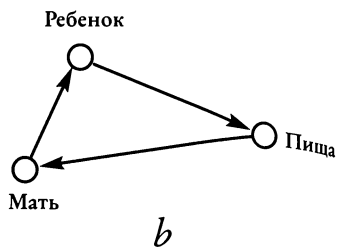
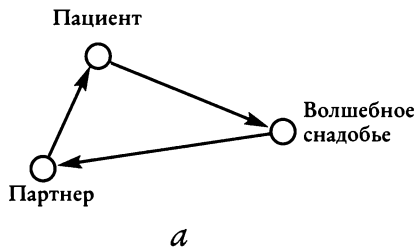
ределяют условия доступа на различного рода «сцены», включая телеэкран. Как можно заметить, «схизма» возникает в оппозиции к «лидерству», и конфликты, которые она артикулирует, выполняют примерно те же функции, но уже по отношению к потенциальной «аудитории», ее будущему составу: идентификация и мобилизация индивидов, которые впоследствии станут «архаистами» или «новаторами». В самом общем случае, очевидно, эти функции связаны с рассогласованиями «приватного» и «публичного» дискурса⁶², т.е. различного рода нарушениями интеракции, возникающими вследствие ее структурной неоднородности и в процессе «схизмогенеза» получающими дополнительную артикуляцию как антагонизм «народа» и правящей «элиты», политической конъюнктуры и потребностей «частного человека», интегральной социальной реальности и партикулярных желаний, «требований времени» и сложившихся привычек, закона и здравого смысла, теории и практического опыта или, наконец, реальной и словарной речевой нормы. По мере развития «схизмы» подобного рода оппозиции, в свою очередь, становятся основанием для консолидации отдельных локальных сообществ и режимов дискурса («партий» в политике, «направлений» в культуре, «рынков» или «корпораций» в экономике), тогда как соответствующие конфликты, собственно говоря, и оказываются теми событиями, которые оформляют

⁶² На практике такие консолидирующие оппозиции очень хорошо обеспечивают демонстрацию «схизмогенеза» и мобилизацию его потенциальных участников, т.е. так называемую «капитализацию» различий в императивах массового повседневного действия, реальное формирование, воспроизводство или трансформацию социальной «текстуры», короче – распознавание, консолидацию и мобилизацию «своих», публики, гомологичной или конгруэнтной по структурам идентичности (в данном случае – персонального «я»); подобного рода прагматика, однако, недвусмысленно обозначенная в названии одного из нынешних отечественных политических движений и достаточно характерная для ситуаций, ранее обозначенных как «пограничные» или «транзитивные», вовсе не предполагает разрешения соответствующих конфликтов – в справедливости этого общего утверждения нетрудно убедиться, ознакомившись с какой-нибудь конкретной дискуссией между сторонниками и противниками цензуры (или аборт; или гей-парадов; или смертной казни; или ценза оседлости; или миротворческих операций; или современного нам искусства). См.: *Goffman E. The Interaction Order. – American Sociological Review, 1983, vol. 48, N 1, p. 117; Urban G. Culture's Public Face. Public Culture, 1993, N 5, c. 213–238.*

какую-то конкретную «схизму», т.е. могут рассматриваться как эмпирический референт этого понятия. В истории джаза событием, которое инициировало, пожалуй, наиболее заметную и долговременную «схизму», т.е. расщепление некогда единого дискурса на две альтернативные парадигмы, каждая из которых конституирует свою специфическую «аудиторию», является публикация первых записей Орнетта Коулмена в 1959 году, а в новейшей отечественной истории это, очевидно, убийство С.М. Кирова в середине 30-х⁶³, первые публичные выступления А.Д. Сахарова и других «инакомыслящих» в конце 50-х, «чистки» и судебные процессы над деятелями «теневой экономики» в начале 80-х, наконец, пресловутая «чеченская война», которая тоже начиналась как обострение некоего латентного и диффузного конфликта.

В целом, очевидно, «хроноскоп» моделирует актуальный перформативный контекст социальной интеракции как достаточно сложную систему, динамика которой является результатом интерференции нескольких разных циклических процессов, вследствие чего на практике «актор» оказывается в ситуации перманентного выбора. Для «актора», который действительно претендует на исполнение желаний, предметом такого выбора может стать все, что угодно: предполагаемое место работы и должность, бюджет и место отдыха, заключение или расторжение брака, короче – любая «переменная», которая реально влияет на повседневную интеракцию. От тягот подобного выбора «хроноскоп» не избавляет, как не избавляет и от необходимости обладать соответствующей информацией, однако модели социальной динамики, которые тут предполагаются, вполне можно рассматривать как некую «карту» исторического или биографического времени, позволяющую «актерам», которые

⁶³ По сути дела, именно это событие инициировало раскол «победителей», т.е. «элиты», сложившейся к началу 30-х вокруг И.В. Сталина; «разборки» между представителями этой «элиты» или их потомками сохраняли актуальность вплоть до отстранения КПСС от власти в 1989 году и, судя по материалам mass media, продолжают поныне. Клавдий, скорее всего, неповинен в убийстве старого Гамлета, однако «придворное сообщество», по-видимому, считало иначе, за что и поплатилось (или получило свою награду, в зависимости от поведения).



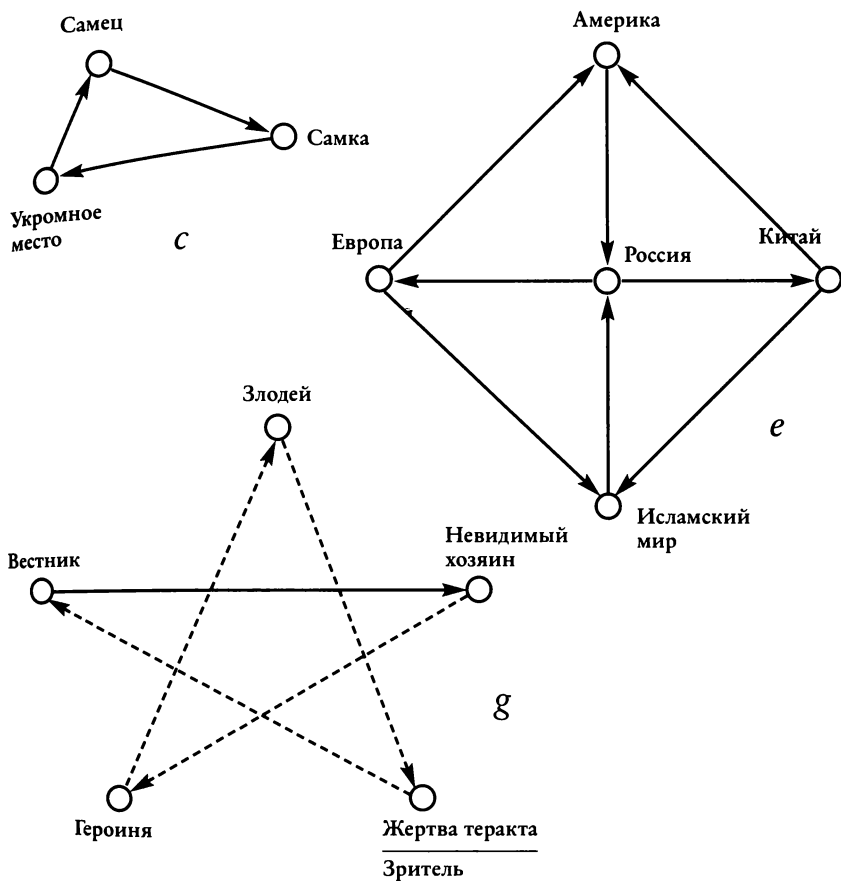


Рис. 3. Элементарные «паттерны» созависимости

Здесь графы моделируют отношения зависимости: конфигурация (a) моделирует созависимость между пациентом, страдающим аддикцией к алкоголю, наркотикам или другому «волшебному снадобью», конфигурация (b) воспроизводит структуру отношений между матерью, младенцем и ресурсами, в которых тот нуждается, конфигурация (c) отображает типовую ситуацию флирта, конфигурация (d) предполагает конкуренцию между партнерами по интеракции (в данном случае – мужчины и ребенка за доступ к пище), наконец, конфигурация (e) определяет структуру и динамику стратегического конфликта в политике.

претендуют на успешную карьеру, определить свое «место» в актуальном перформативном контексте.

Тут, пожалуй, не избежать комментария, посвященного понятию «everyday life», или «повседневность», которое для социолога или историка культуры давно уже превратилось в расхожий вербальный ярлык: насколько я могу судить, это понятие возникает в рамках так называемой «интерпретативной» социологии как определение некоего универсума (или «хронотопа»), в границах которого интеракция обусловлена «рутиной», т.е. прирожденными или достигнутыми автоматизмами поведения⁶⁴, его общепринятыми, хорошо наблюдаемыми и само собой разумеющимися сценариями. Иными словами, у «повседневности» всегда существуют границы, за которыми указанные сценарии невербализуемы, проблематичны или отсутствуют вообще – за этими границами «сначала надо подумать, а уже потом действовать», т.е. необходима предварительная стратегическая аналитика или какие-нибудь другие предпосылки к расширению актуальной социальной «рутины», ранее обозначенные как «трансгрессивные» практики.

В данной работе предполагается, что всякая возможная «рутина», или общепринятый «формат» интеракции, отображает либо парадигму дискурса, действующую на персональном уровне как аффективно окрашенная склонность, либо – на уровне сообщества – устойчивые отношения созависимости, либо, наконец – на уровне реальной социальной динамики – некую интегральную структуру, которую, собственно говоря, и моделирует «хроноскоп» с его циклами изменений в перформативном контексте. Кроме того, при операциях с «хроноскопом» по большей части неявно используется некая «сетевая» техника моделирования интерактивных ситуаций, которая предполагает, что актуальные перформативные

⁶⁴ См.: *Абельс Х.* Интеракция, идентификация, презентация. Введение в интерпретативную социологию. СПб.: Алетейя, 1996; *Гарфинкель Г.* Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007; *Гидденс Э.* Устроение общества. Очерки теории структуризации. М.: Академический проект, 2003. В границах «нормативной» социологии понятие «everyday life» либо становится избыточным, либо приобретает сугубо номинативные функции, т.е. указывает на практики, локализованные в границах так называемой «частной жизни».

контексты складываются и разворачиваются как совокупность отношений созависимости между «актером», его «партнерами» и какими-то «ценностями», т.е. представляет собой некое специальное развитие идей Дж.Л.Морено. В данном случае предполагается, что конфигурация межличностных зависимостей и влияний («повязок»), направление конкретного вектора (графа), который их моделирует, а также позиция, которую в соответствующей «сети» отношений занимает «актер», являются вполне адекватным отображением социальной «рутины», т.е. совокупности автоматизмов, определяющих предмет интеракции, ее реальный исход, а также мотивацию и стратегию ее участников.

Термином «актер» обозначен индивид (участник интеракции), являющийся привилегированным субъектом действия и/или рефлексии; для психотерапевта или практикующего аналитика «актером» является пациент, клиент, заказчик или как там они называют человека, реальную проблемную ситуацию которого они моделируют в своем дискурсе.

Термином «ценность» обозначены любого сорта объекты или артефакты, для участников интеракции являющиеся предметами желания, а для аналитика, психотерапевта или других субъектов рефлексии – предметами деиксиса: их можно назвать, на них можно указать пальцем или местоимением «это», они локализованы во времени и пространстве, наконец, все эти предметы (желания или деиксиса) имеют интерсубъективный характер, т.е. сохраняют одно и то же значение для всех участников интеракции.

Термином «партнер» обозначены какие-то другие индивиды, которые также вовлечены в интеракцию, но не в качестве субъектов рефлексии («пациентов» психотерапевта или «клиентов» аналитика), а как специфические «ценности», т.е. субъекты господства (от которых «актер» зависит) или предметы их желаний, зависящие от «актера».

Термином «зависимость» обозначены некие «силы», т.е. неконтролируемые процессы и факторы, которые формируют желания и побуждают участников интеракции к инвестициям в достижение соответствующих результатов (или наоборот – препятствуют какому-то другим действиям). Это могут быть и «влечения» психоана-

литиков, и разнообразные практики насилия (все равно – институционального или бытового), и обыкновенные физические силы (тяготения или трения, например), и даже «силы» неопределенной природы, с действием которых обычно связывают так называемый «нуминозный опыт». В дискурсе политического и социального аналитика (или психотерапевта) подобного рода «силы» представлены как функциональные зависимости между переменными, характеризующими позицию «актера», «партнеров» и «ценностей» в «сети» отношений, которые их связывают.

Для техники, о которой здесь идет речь, важнейшим исходным допущением является представление о любого рода отношениях зависимости как о неких реальных или виртуальных «каналах» циркуляции ресурсов, тогда как важнейшей исходной предпосылкой к устойчивости структур, образованных подобными отношениями, являются замкнутые циклы либидо; простейшей формой такого замкнутого цикла либидо является пресловутый «роковой треугольник», т.е. автореферентная зависимость «актера» от «ценности», являющейся предметом его желаний, этой «ценности», в свою очередь, от «партнера», который ею реально распоряжается, а этого «партнера» от «актера», который осуществляет господство по отношению к соответствующему индивиду.

Для автора данной книги соображения, побуждающие обратиться к обсуждаемой здесь технике, связаны прежде всего с аналитикой структур созависимости, связывающих «актера», который страдает аддикцией к алкоголю или наркотикам, и «партнера», по отношению к которому этот «актер» осуществляет господство – обычно это мать, интимный партнер или какой-нибудь другой человек, являющийся заложником ситуации, возникающей вследствие аддикций, которыми страдает «актер». Как предполагается, следствием указанной созависимости является упорное бессознательное стремление «партнера» контролировать циркуляцию «волшебного снадобья», по отношению к которому любые конкретные действия становятся частным случаем – это могут быть и достаточно серьезные реальные усилия исключить потребление «снадобья», и превращение «партнера» в его

поставщика, и одновременное исполнение обеих этих взаимоисключающих функций (что на практике встречается достаточно часто). Судя по всему, структуры созависимости, возникающие «вокруг» аддикции к алкоголю или наркотикам (см. рис. 3, а), воспроизводят гораздо более фундаментальные структуры отношений между матерью и ребенком, складывающиеся в пренатальный период; эти структуры созависимости дополнительно закрепляются как «динамические стереотипы» интеракции в период выкармливания младенца (см. рис. 3, б), приобретают характер «естественного» определения ситуации в период полового созревания (см. рис. 3, с – конфигурация, которая определяет типовые сценарии флирта) и функционируют у взрослых как своеобразный социальный институт, регламентирующий проведение совместных трапез – в частности, наделяющий подобную трапезу значением прелюдии к половому акту. Наконец, подобного рода структуры созависимости формируются повсюду, где и когда реальное поведение людей определяют так называемые «полевые» факторы, прежде всего – неконтролируемые бессознательные зависимости и пристрастия, вследствие чего их аналитика сохраняет свое значение и для различного рода желаний, достаточно существенно отличающихся от элементарных аддикций к алкоголю и наркотикам или пищевых и сексуальных влечений: в частности, у автора данной книги есть некоторый ограниченный опыт аналитики структур созависимости, определяющих возникновение и развитие политических конфликтов.

Наряду с зависимостью, в подобного рода структурах существуют и отношения конкуренции между «актерами», «партнерами» или «ценностями», когда соответствующие позиции дублируют друг друга; в частности, отношения между деловыми партнерами чаще всего строятся как элементарная бинарная конкуренция (см. рис. 3, d – конфигурация, которая определяет динамику «эдипова комплекса» и весьма типична для рекламы пищевых продуктов, моющих средств, лечебной косметики или других «женских» предметов потребления), в политике встречаются более сложные центросимметричные конфигурации (см. рис. 3, e), наконец, наиболее сложные структуры с тернарными

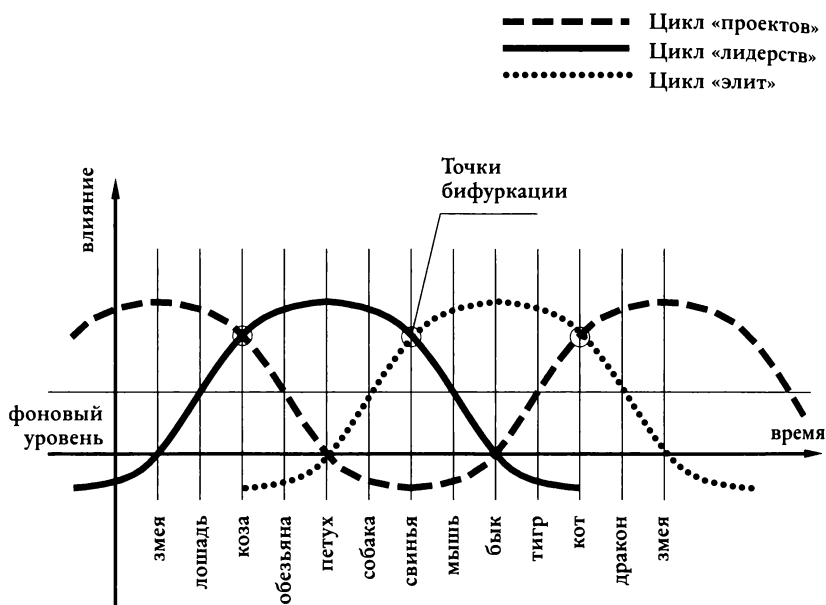


Рис. 4. Циклы социальной динамики

конкуренциями встречаются в так называемых «больших семьях» и устойчивых корпоративных иерархиях (рис. 3, f). Самыми простыми показателями, указывающими на наличие зависимости, является концентрация внимания (прежде всего взгляда и слуха) на определенных предметах или их символах (названиях и визуальных логотипах), превращение знаков, указывающих на эти предметы, в «фокальные центры» дискурса, а также топография реального поведения – например, локализация предметов желания в социометрических «центрах» интеракции; на практике построение соответствующих графов является результатом достаточно длительного диалога между информантом и аналитиком.

Судя по всему, обсуждаемая техника остается достаточно эффективной в самых разных прагматических контекстах, однако наиболее перспективным выглядит ее использование в аналитике ситуаций и практик социального признания, т.е. различного рода действий, так или иначе сопряженных с апелляцией к «публике», все равно – политической, бытовой или театральной. В самом деле, эффективная апелляция к «публике», будь то реальное сообщество «зрителей» на политическом митинге, в концертном зале и на стадионе или их виртуальное скопление перед телеэкраном и у радиоприемника, предполагает, что эта конкретная «публика» так или иначе вовлечена в интеракцию с индивидами, присутствующими на «сцене» в качестве исполнителей соответствующей «роли». Данное обстоятельство определяет не только топографию социального пространства, в границах которого осуществляется апелляция к «публике», но и так называемую «интригу», т.е. развитие событий, предлагаемое в качестве зрелища: как правило, театральный спектакль, какая-нибудь предвыборная затея и, скажем, террористический акт, сопряженный с захватом заложников, конструируется по тем же самым правилам, что и обыденные структуры созависимости.

Так, можно показать, что «интрига», связанная с захватом заложников, как его показывают по телевизору, предполагает те же самые пять сценических «амплуа», что и драматургия ярмарочного балагана: это, конечно, «жертвы теракта», с которыми себя идентифицируют телезрители (на месте заложника

мог бы оказаться кто угодно), «вестник», который обеспечивает трансформацию событий, связанных с захватом заложников, в публичное зрелище (обычное ситуационное «амплуа» журналистов), «невидимый хозяин», незаметно для телезрителей направляющий реальное развитие событий⁶⁵, «героиня», на которую телезрители проецируют свое сочувствие «жертвам теракта», обычно это женщина-правозащитник, снабжающая заложников напитками и пищей, наконец, «злодей», на которого телезрители проецируют свои негативные аффекты (конкретный исполнитель теракта или руководитель группы боевиков).

Сами по себе подобного рода графы или диаграммы (как, впрочем, и зодиакальные модели), безусловно, «ничего не доказывают», т.е. являются скорее инструментом для конструирования исходных следственных или терапевтических версий, нежели аргументом в дискуссии: как и уличные граффити, корпоративный татуаж или различного рода планы местности, в особенности одноразовые, подобного рода артефакты прежде всего обеспечивают визуализацию соответствующего прагматического контекста, помимо которой эффективный аналитический и консультативный дискурс невозможен; такая стратегия была использована З. Фрейдом в его «Толковании сновидений», определяет рациональность многих традиционных способов гадания (скажем, по линиям руки или окраске и конфигурации клубов дыма над жертвенником) и вполне позволяет рассматривать «кассовый» фильм, литературный «бестселлер», узнавае-

⁶⁵ На мой взгляд, именно драматургия ярмарочного балагана вкупе с теми специфическими структурами созависимости, которые она предполагает в качестве своего исходного условия, является истинной причиной того, почему в ситуациях массового террора спецслужбы неизменно подозреваются в «двойной игре». Как нетрудно заметить (см. рис. 3, г), персонаж, который здесь обозначен как «невидимый хозяин», не только инициирует «интригу», связанную с захватом заложников (больше просто некому), но и ее завершает, т.е. появляется на «сцене» одновременно и как «супостат», организовавший захват заложников, и как «герой», который обеспечил их освобождение. Более того, те же самые автореферентные структуры созависимости объясняют, почему трансформация любого из этих «амплуа» в свою противоположность может продолжаться сколько угодно долго – как это, собственно говоря, и происходит в романах Эжена Сю или в фильмах о Фантомасе

мый «расклад» отношений в сообществе или общепринятый календарь как отображение неких реальных и достаточно устойчивых автоматизмов повседневного действия – своего рода симптоматику поведения, на основании которой можно уже предпринимать аналитику идентичности, социального порядка или предполагаемого развития событий.

Как уже было сказано ранее, в рамках «хроноскопа» отдельные циклы изменений имеют протяженность в 12 лет; в соответствии с древней традицией, которая сохраняется повсюду, где оперируют с психологическим и социальным временем⁶⁶, этот стандартный «модуль» всякой успешной карьеры дополнительно делится на три равных интервала («от восхода до полудня», «от полудня до заката» и «от заката до восхода»), т.е. «инициацию», «кульминацию» и «деградацию» соответствующего цикла разделяют 4-летние интервалы времени (см. рис. 4). В данном случае термин «инициация» указывает на момент времени, когда некое конкретное сообщество или парадигма дискурса (скажем, «проект» или массовый «запрос») становятся хорошо заметной и контролируемой предпосылкой успешной карьеры, термином «кульминация» обозначен момент, когда действие соответствующего фактора достигает своего апогея, а термином «деградация», соответственно – момент, когда оно прекращается вообще (такой период времени обозначен термином «обскурация»).

⁶⁶ Примерами тут могут служить различные трехчастные зодиаки, предполагающие выделение «мутабельных», «кардинальных» и «фиксированных» позиций в 12-летнем или годовом цикле (судя по всему, именно такие зодиаки определяют «паттерны» финансового планирования и контроля), трехчастный же суточный цикл, хорошо известный из истории рабочего движения («восемь часов труда, восемь часов досуга, восемь часов сна»), кульминация которого всегда и повсюду обозначена различными «трансгрессивными» практиками (в частности, экстастическими ритуалами «конца работы»), топография рулеточного колеса (одного из древнейших устройств для испытания «судьбы»), предполагающая три основных сектора («вуазан де зеро», «орфелен» и «тьер»), каждый из которых разбит на 12 интервалов («цвета» и «числа»), или хорошо известные «паттерны» дискурса, моделирующие, соответственно, становление, закрепление и угасание интеракции – в частности, так называемая «сонатная форма» в музыке, «интрига» классической драмы или, наконец, различного рода сценарии, определяющие развитие так называемого «переноса». См.: Юнг К.Г. Психология переноса. М.: Рефл-бук/Киев: Ваклер, 1997.

Как предполагается, инициация «проекта» происходит в «зазоре» между годом Крысы и годом Быка, своей кульминации любой «проект» достигает на рубеже года Дракона и года Змеи, тогда как деградация «проекта», т.е. его истощение, приходится на границу между годами Обезьяны и Петуха; 4-летний интервал времени, охватывающий годы Петуха, Собаки, Свиньи и Крысы – это обскурация «проекта».

Далее, инициация «лидерства» приходится на кульминацию «проекта», т.е. на рубеж между годами Дракона и Змеи, его кульминация – на границу между годами Обезьяны и Петуха, тогда как деградация «лидерства» как фактора успешной карьеры происходит на границе между годом Крысы и годом Быка; 4-летний интервал времени, охватывающий годы Быка, Тигра, Кота и Дракона – это обскурация «лидерства».

Наконец, инициация «элиты» приходится на кульминацию «лидерства», т.е. на рубеж между годами Обезьяны и Петуха, ее кульминация – на границу между годами Крысы и Быка, тогда как деградация «элиты» происходит на границе между годом Дракона и годом Змеи; 4-летний интервал времени, охватывающий годы Змеи, Лошади, Овцы и Обезьяны – это обскурация «элиты».

В свою очередь, массовый «запрос» развивается в оппозиции к «элите», его инициация происходит в «зазоре» между годами Тигра и Кота, кульминация приходится на рубеж между годами Лошади и Козы, тогда как деградация «запроса» происходит на границе между годом Собаки и годом Свиньи; 4-летний интервал времени, охватывающий годы Свиньи, Крысы, Быка и Тигра – это обскурация массового «запроса».

Далее, в оппозиции к «проекту» развивается «дилемма», инициация которой приходится на кульминацию «запроса», т.е. на рубеж между годами Лошади и Козы, кульминация происходит на границе между годами Собаки и Свиньи, тогда как деградация, т.е. истощение, соответственно – на рубеже года Тигра и года Кота; 4-летний интервал времени, охватывающий годы Кота, Дракона, Змеи и Лошади – это обскурация «дилеммы».

Наконец, в оппозиции к «лидерству» развивается «схизма», инициация которой приходится на кульминацию «дилеммы»,

т.е. на рубеж между годами Собаки и Свиньи, кульминация происходит на границе между годами Тигра и Кота, тогда как деградация «схизмы», т.е. исчерпание ее реального потенциала как фактора, структурирующего повседневную интеракцию – на рубеже года Лошади и года Козы; 4-летний интервал времени, охватывающий годы Козы, Обезьяны, Петуха и Свиньи – это обскурация «схизмы».

Как можно заметить, выборы президента в США приурочены как раз к этим «фокальным точкам» цикла; кульминация «проекта» инициирует очередное «лидерство», кульминация «лидерства» инициирует очередную «элиту», наконец, кульминация «элиты» инициирует размежевание между «архаистами» и «новаторами», т.е. очередной инновационный «проект». В таком контексте рациональность изменений, которые моделирует «хроноскоп», можно определить как «дилемму капитана»: во время достаточно серьезного шторма перед капитаном судна непременно возникает дилемма – пожертвовать ли судном, спасая команду и пассажиров (на что капитан «Титаника», судя по всему, долго не мог решиться), или наоборот. Такая дилемма, с которой периодически сталкивается любой человек, которому есть за что отвечать, все равно – влиятельный политик или владелец небольшого «бизнеса», и определяет предмет стратегического конфликта.

В данном случае «модулем» исторического и биографического времени, который определяет длительность отдельного «проекта», является интервал в 12 лет; соответственно, цикл «элит» имеет длительность в 24 года, цикл «лидерств» длится 36 лет, тогда как полный цикл вообще всех изменений, которые предусматривает «хроноскоп», составляет, очевидно, 144 года⁶⁷. Можно предположить, что существуют еще циклы в 720 и 1440

⁶⁷ У этой величины есть обоснование, проливающее некоторый свет на природу циклических процессов, которые моделируют зодиаки: в течение 144 лет на отношениях между возрастными когортами полностью реализуется хорошо известный принцип «Дерево побеждает Землю, Земля побеждает Воду, Вода побеждает Огонь, Огонь побеждает Металл, Металл побеждает Дерево», определяющий структуру «зодиака стихий» и, говорят, сформулированный великим Чжуан-Цзы.

лет, определяющие динамику и специфические «ритмы» процессов, которые Л.Н. Гумилев определяет как «этногенез»; такие циклы достаточно хорошо заметны в истории отдельных цивилизаций (например, Европы), однако их динамика, очевидно, требует специального исследования и совсем иных моделей, нежели «хроноскоп».

ТЕРМИНЫ «инициация», «кульминация» или «обскурация», очевидно, указывают на некие переменные, динамика которых, в принципе, является или, по крайней мере, может быть предметом наблюдения и количественной оценки, однако разработка соответствующих показателей, к сожалению, является проблемой, которую бессмысленно пытаться решить в общем виде, по крайней мере, на данный момент времени – прежде тут необходимы достаточно основательные case studies, посвященные конкретным историческим или биографическим изменениям. Те конкретные образцы моделирования биографий или социальных изменений, которые приводятся далее, подобных исследований отнюдь не заменяют⁶⁸, однако они позволяют продемонстрировать возможности «хроноскопа» как устройства для структурирования данных, получаемых обычными методами социологии – непосредственное («полевое») наблюдение, изучение материалов mass media или других документов, наконец, разговоры с осведомленными друзьями, родственниками или деловыми партнерами, которые вполне могут рассматриваться как интервью.

⁶⁸ По сути дела, таким историческим «казусом» является рок-движение в СССР, исследование которого было выполнено автором данной книги в сотрудничестве с В.В. Марочкиным. См.: *Игнатьев А.А., Марочкин В.В. Хроноскоп русского рока*. М.: ОбКом, 2005. Кроме того, предполагалась и даже была выполнена на уровне предварительной аналитики (сколько помню, осенью 2004 года) достаточно большая работа о рок-группах, отмеченных присутствием или влиянием А. Грановского («Ария», «Мастер» и другие), однако соответствующая совместная публикация пока не подготовлена, «источники» этой предполагавшейся совместной публикации, полагаю, сохранились в архиве В.В. Марочкина.

Прежде всего, «хроноскоп» позволяет диагностировать личный поведенческий *«профиль»*, т.е. «формат» интеракции, характерный для определенного конкретного индивида; отдельные «пилотные» эксперименты по определению такого «профиля» уже проводились⁶⁹, и они дали вполне удовлетворительные результаты, позволяющие рассматривать соответствующие конструкты как альтернативу так называемому «психологическому портрету» или, по крайней мере, как его эффективное дополнение. В частности, «хроноскоп» позволяет представить биографию индивида как осуществление некоей рациональной стратегии повседневного действия, инвариантной к самым разным проблемным ситуациям и определяющей долговременную «траекторию» поведения; как показали выполненные «пилотные» эксперименты, такой характерный биографический «паттерн», придающий понятию «идентичность» вполне конкретное, операциональное значение, сохраняется на протяжении всего периода социально активной жизни.

В более широком контексте предметом аналитики уместно сделать биографию Александра Вертинского: нетрудно заметить, что по знаку рождения он должен был бы стать лидером («главарем», как Маяковский), т.е. человеком, за которым следуют или которому подражают в трудную минуту. В то же время по своему социальному происхождению наш герой был разночинцем и безродным ничтожеством (как М.А. Булгаков), к тому же сиротой, приемышем (как В.Ф. Одоевский или Дж. Р. Р. Толкин), поэтому его судьба и карьера реально состоялись прежде всего как следствие инновационного «проекта», который был инициирован на рубеже 1912/13 годов, достиг своей кульмина-

⁶⁹ В сотрудничестве с В.В. Марочкиным такие «пилотные» исследования выполнены на биографиях нескольких известных рок-музыкантов и А.Н. Вертинского. Как предполагалось, эти исследования будут посвящены музыкантам, родившимся зимой, т.е. «химерам», по «знаку» рождения образующим так называемую «полную квадратуру», которая, в свою очередь, моделирует миф об Орфее, однако в полном объеме этот замысел реализовать не удалось; кроме того, соответствующие материалы опубликованы в непрофильных изданиях и лишь отчасти. См.: *Игнатьев А.А., Марочкин В.В.* Оззи. Р-Клуб, 2001, № 8, Лемми. – Р-Клуб, 2001, № 9, а также публикации на сайтах www.rucarta.ru, www.mobile.km.ru, www.specialradio.ru.

ции зимой 1916/17 года, отмечен такими событиями, как «первая мировая война» или «русская революция», и благополучно завершился к исходу 1920 года. В подобной ситуации можно было стать «певцом эпохи», как Маяковский, или «свидетелем тьмы», как другой его прославленный ровесник; Вертинский на пике популярности избрал странничество, вследствие чего и стал непревзойденным образцом поведения для каждого, кому не по пути с историей и ее творцами.

Мы знаем об этом времени по учебникам истории как о периоде подготовки, осуществления и «расхлебывания последствий» революции 1917 года, но оно является и периодом становления нашего героя как творческой личности – подающего надежды юного киевского литератора, позднее, в одной компании с Маяковским – участника московских артистических и поэтических «перформансов», наконец – заодно со многими героями М. Булгакова или раннего А. Толстого – беженца, профессионального эмигранта, представителя международной артистической богемы. Стоит еще раз напомнить, что бенефис А. Вертинского должен был состояться как раз в день октябрьского «переворота» и что на тот же самый период приходится и превращение И.В. Сталина в политического лидера.

Для нас здесь важно прежде всего то обстоятельство, что революции 1917 года в России, как и всякому другому инновационному «проекту», сопутствовала своя собственная «дилемма», или сугубо внутренний стратегический конфликт; его инициация приходится на пик радикального массового «запроса», т.е. самое начало 1919 года (момент времени, которым обозначена первая фраза булгаковской «Белой гвардии»), а кульминация – на рубеж 1922/23 годов, период истории, когда Ленин отходит от дел из-за болезни, во главе партии и государства реально становится Сталин, будущий автор «Мастера и Маргариты» переезжает в Москву, а наш герой – выслан из Румынии по подозрению в работе на советскую разведку и надолго оседает в Польше – на территории, которая еще совсем недавно была «своей», и где наш герой впервые (неудачно) даже пытается завести семью. Истощение этой «дилеммы» к рубежу 1926/27 годов, собствен-

но говоря, и приводит Сталина к свертыванию НЭПа, отстранению «пламенных революционеров» от власти и формированию принципиально нового, «советского» образа жизни, в границах которого представителям «богема», все равно – артистической, политической или эзотерической, уже не было места, а нашего героя, соответственно – к выезду во Францию, т.е. за исторические границы России, какой ее знали прежде.

Этот специфический pattern, т.е. сценарий, определяющий как развитие событий, составляющих биографию А. Вертинского, так и их размещение во времени, позднее неоднократно повторялся. Так, для Сталина рубеж 1934/35 годов, т.е. кульминация «дилеммы», сопряженной с осуществлением «проекта», который был инициирован в 1924/25 годах сразу после смерти Ленина, стал поворотным моментом его политической и личной биографии, а нашему герою на исходе 1933 года приходится покинуть Францию и после недолгого пребывания в США осесть в Китае. Здесь на том же самом рубеже 1934/35 годов Вертинский принимает два тесно связанных, успешно осуществленных и в равной степени судьбоносных решения – вернуться на Родину и (на это раз успешно) обзавестись семьей, той самой, которая стала его «убежищем» в последние годы жизни.

Тому инновационному «проекту», который был инициирован на рубеже 1936/37 годов и вскоре привел к развязыванию второй мировой войны, тоже сопутствовала своя «дилемма»; ее инициация состоялась на рубеже 1942/43 годов – момент, «поворотный» в самых разных отношениях (сразу после этого в армии вводятся погоны и офицерские звания, начинаются регулярные встречи так называемой «большой тройки», а наш герой получает разрешение вернуться на Родину), кульминация процессов, вызванных этими событиями, приходится на рубеж 1946/47 годов (момент начала «холодной войны» и вообще послевоенного исторического развития), а исчерпание их динамики и вовсе ознаменовано смертью Сталина, за которым вскоре, сразу по завершении очередного инновационного «проекта», последовал А. Вертинский: как уже говорилось, всему свое время, есть время жить и есть время умирать – или отправляться в новое странствие, как кому повезет.

Кроме того, тут вполне уместно попытаться структурировать биографию Майлса Дэвиса: это опять-таки прирожденный лидер по знаку рождения и «разночинец» по своему социальному происхождению: одаренный, честолюбивый и весьма энергичный представитель американского «среднего класса», выросший в обстановке провинциального «черного» гетто, т.е. человек⁷⁰, судьба и карьера которого реально состоялись прежде всего как следствие инновационного «проекта», который был инициирован на рубеже 1936/37 годов, достиг своей кульминации зимой 1940/41 года, отмечен таким событием, как «вторая мировая война», и благополучно завершился к исходу 1944 года – развитие событий, итоги которого подвела ялтинская конференция лидеров антигитлеровской коалиции, практически совпавшая во времени с появлением Майлса Дэвиса на профессиональной «сцене».

Речь в данном случае идет о биографии музыканта, что само по себе очень важно (у «черного» в послевоенной Америке было только две возможности получить социальное признание – джаз и бокс), а кроме того – позволяет идентифицировать эту «сцену» как историю джаза, точнее – совокупность инноваций, связанных прежде всего с именем Чарли Паркера, его появлением в ночных клубах Гарлема где-то на рубеже 1940/41 года и музыкой «be-bop», т.е. принципиально новым «форматом» интеракции между публикой, артистом и его партнерами по «сцене». Для Майлса Дэвиса период работы с Чарли Паркером был, безусловно, временем ученичества, однако новый человек на подмостках – это тоже инновация, «лидерство» Чарли Паркера в 1941–48 годах было достаточно эффективным, поэтому к началу 1945 года, т.е. в возрасте 18 лет, наш герой получает ангажемент, свидетельствующий о его высоком профессиональном статусе (по сути дела – о вхождении в актуальную джазовую «элиту»).

Как и положено, второй цикл карьеры Майлса Дэвиса как музыканта начинается на рубеже 1948/49 года, когда он записывает альбом «The Birth of the Cool», в свою очередь, обозначив-

⁷⁰ См.: Дэвис М. Автобиография. Екатеринбург: Ультра-Культура/М.: София, 2005; Carr I. Miles Davis. A Critical Biography. L.: Paladin Books, 1984.

ший инициацию совершенно нового «проекта»; в истории джаза кульминация этого «проекта» на рубеже 1952/53 годов ознаменована не только фактическим уходом Чарли Паркера с профессиональной «сцены», но и притязаниями на «лидерство» целого ряда «черных» и «белых» музыкантов, в ряду которых (наряду с Дэйвом Брубеком, Чарли Мингусом и Телониусом Монком) оказался и 27-летний Майлс Дэвис. При всех трудностях не слишком эффектного (по сравнению с конкурентами) старта, уже к исходу 1956 года Майлс Дэвис в качестве лидера «культовой» группы музыкантов, известной как «первый квинтет», заключает долгосрочный контракт с фирмой «Columbia», что реально обеспечивает ему очень высокий и прочный социальный статус, причем не только в США, но и в Европе (в бывшей «метрополии», что для американцев по-прежнему очень важно), т.е. признание в кругах «продвинутой» космополитической богемы (вообще говоря, единственное достижение, реально позволяющее избавиться от социальной и расовой стигмы).

Третий цикл карьеры Майлса Дэвиса как музыканта начинается на рубеже 1960/61 года⁷¹, когда он окончательно закрепляется на престижных концертных подмостках (позиция, которая, собственно говоря, и конституирует «элиту»), после чего иницирует постепенные, но целенаправленные сдвиги, на рубеже 1964/65 годов сделавшие его лидером не только еще одной «культовой» группы музыкантов, известной как «второй квинтет», но и достаточно широкой оппозиции движению, которое в ту пору обозначали термином «free jazz», связывая с именами Орнетта Коулмена, Джона Колтрейна, Альберта Айлера и Сесила Тэйлора. Надо заметить, что «схизму» 1958–59 годов, хорошо заметную при сопоставлении, скажем, альбома «Sketches of Spain» самого Майлса Дэвиса и двух первых альбомов Орнетта Коулмена на «Contemporary», наш герой пережил как очень серьезную драму, тем более чувствительную, что отмеченная

⁷¹ К этому периоду, помимо гастролей в Европе, относятся концерты в престижном ночном клубе «Blackhawk» и в прославленном Карнеги-холле; значение этого «рубежа» в биографии Майлса Дэвиса подчеркивает название одной из компиляций, выпущенных фирмой «Newsound 2000».

«схизма» затрагивала и его расовую идентичность, и личные «повязки»; следы подобных переживаний нетрудно обнаружить даже в его «Автобиографии», написанной много позже. Новое «лидерство» поначалу опять-таки не было особо эффектным (в сравнении с конкурентами), однако его кульминацию обозначила не только парадигма актуального музыкального дискурса, которая получила свое воплощение в таких «бестселлерах», как альбомы «In a Silent Way» или «Bitches Brew», но и поколение музыкантов, к исходу 60-х определившее состав очередной джазовой «элиты»; для этого поколения Майлс Дэвис был уже бесспорным «отправным пунктом» идентификации даже в тех случаях, когда музыканты (такие, например, как Лестер Боуи) отнюдь не разделяли его специфической эстетики или морали.

Еще один, уже четвертый цикл карьеры Майлса Дэвиса был инициирован на рубеже 1972/73 годов выпуском альбома «Get Up with It», название которого оказалось пророческим, а эстетика представляет собой явное и очень точное предвосхищение той специфической парадигмы, которая стала популярной в музыке следующего поколения: в начале 1975 года, т.е. как раз на кульминацию «схизмы», Майлс Дэвис после успешных гастролей в Японии надолго покидает не только концертные подмостки, но и публичную «сцену» вообще. Тем не менее, у него остается настолько хорошая ориентация в специфической динамике и «ритмах» социального признания, что в 1981 году, на кульминацию своего очередного, на этот раз – опосредствованного «лидерства» он выпускает альбом «Directions», составленный из так называемых «outtakes» и вполне адекватно репрезентирующий его специфическое «место» в истории джаза; позднее Майлс Дэвис записывает несколько новых альбомов, не слишком удачных (разумеется, на фоне прежних достижений), однако позволяющих ему оставаться в составе «элиты».

На рубеже 1984/85 года Майлс Дэвис инициирует свой последний, пятый «проект», специфическими достижениями которого являются уже не столько новые альбомы или даже новая парадигма дискурса (пресловутый «электрофанк»), сколько те конкретные музыканты, которые сделали карьеру благодаря учас-

тию в их записи; имя Маркуса Миллера тут вполне репрезентативно. Этот «проект», уже скорее педагогический, нежели чисто творческий, развивался как «римейк» или артефакт былого успешного «лидерства» и нашел свое завершение в мемориальных альбомах (среди них «Bye Bye Blackbird» Кейта Джаррета), выпущенных бывшими партнерами Майлса Дэвиса после его смерти в 1991 году, как раз на кульминацию очередного массового «запроса». Судя по всему, для Майлса Дэвиса призванием было «лидерство», т.е. пресловутая «работа с людьми», тогда как «схизма», всякого рода «партийность» и, в особенности, столкновение с массовым «запросом» оставались источником тягостного, даже травмирующего опыта, вследствие чего инновационные «проекты» рассматривались как повинность, от исполнения которой нельзя уклониться.

В заключение уместно сопоставить биографии Майлса Дэвиса и Джона Колтрейна: они ровесники, их социальный background также примерно одинаков, поэтому и карьера у них должна была бы строиться по одному и тому же шаблону, что непременно сказалось бы и на их музыке, по крайней мере – на эстетике и морали, которыми они руководствовались. В принципе, один из них должен был бы стать избыточным повторением другого, как Ромул и Рем, и перспектива такого развития событий была вполне реальной; между тем, Майлс Дэвис попадает на «большую сцену» в 1944 году, 18-летним юношей и в составе процедуральной «команды», тогда как Колтрейн – 12 лет спустя, взрослым человеком и в составе автократической «иерархии». Кроме того, в США специфика массового «запроса» обычно соотнесена с позицией расовых сообществ: субъектами консервативного «запроса» обычно являются «белые», тогда как радикальный «запрос», напротив, артикулирует позицию «черных»; разумеется, речь тут идет о так называемых «референтных группах», а не о расовых признаках «большинства». С этой точки зрения, в пользу которой есть немало прямых свидетельств, «be-bop» и «free jazz» являются попыткой «черных» музыкантов установить стандарты и «правила игры», неисполнимые для «белых», а «cool» и «fusion», напротив – попыткой тех же «черных» адаптировать традицию, сформированную «белыми» и даже ев-

ропейскими музыкантами⁷². Между тем, Джон Колтрейн инициирует свой собственный «проект» не в 1949 году, как Майлс Дэвис, т.е. в контексте, где доминировали образованные «белые» музыканты, а в начале 60-х, в контексте, сформированном «черными» радикалами от политики – различие биографий, которое также сказалось на их музыке и карьере самым существенным образом. В сегодняшней Европе та же самая оппозиция радикального и консервативного «запроса» соотнесена с иммигрантами и «аборигенами», вследствие чего основным потребителем и наиболее заинтересованной «движущей силой» инноваций становится мусульманская диаспора – обстоятельство, которое особенно хорошо заметно опять-таки в шоу-бизнесе.

Еще одним «казусом», который также заслуживает аналитики с использованием «хроноскопа», по-видимому, является *развитие событий*, получившее известность как «перестройка» и связанное с осуществлением нескольких политических «проектов», судя по всему, инициированных еще на рубеже 1972/73 годов (момент времени, значимый для каждого, кого интересует новейшая история). В нашей стране такой «проект», скорее всего, был инициирован в окружении Ю.В. Андропова, на кульминацию этого «проекта» в 1977 году приходится очень важная реформа политического устройства СССР, в результате которой глава правящей партии становится одновременно главой государства (как в Европе и Китае), а к моменту его исчерпания, т.е. на рубеже 1980/81 годов, Ю.В. Андропов, судя по всему, обладавший недюжинной личной «харизмой», становится одним из самых влиятельных и перспективных (на тот момент) политиков «федерального уровня»; во всяком случае, будущая политическая «элита» России сформировалась именно в его окружении.

Об этом «проекте», который предшествовал «перестройке» и даже послужил ее предпосылкой, приходится судить на осно-

⁷² На рубеже 60-х и 70-х годов 20 века аналитика подобного рода феноменов была «передним краем» социологии, психологии и антропологии. См.: *Барн Ф.* Этнические группы и социальные границы. М.: Новое изд-во, 2006; *Shibutani T., Kwan K.M.* Ethnic Stratification. N.Y.: Macmillan, 1965.

вании косвенных и не слишком достоверных свидетельств, однако известно, что именно Ю.В. Андропов вывел на «сцену» большой политики М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина и некоторых других «героев 1991-го», тогда как на периферии «лидерства», которое было им сформировано, можно обнаружить молодого В.В. Путина. Как это часто бывает, биографию Ю.В. Андропова завершает «лидерство», имевшее скорее педагогическое, нежели конкретно практическое значение; тем не менее, «проект», выдвинутый на рубеже 1984/85 года и получивший определение «перестройка», на первых порах сохранял все признаки классической авторитарной модернизации, перспектива которой была намечена опять-таки в окружении Ю.В. Андропова. Только постепенно, сначала в результате «схизмы», которую на исходе 1982 года инициировала смерть Л.И. Брежнева, а позднее в ответ на давление радикального массового «запроса», который к началу 1987 года сформировался на географической и социальной периферии советского общества, «перестройка» спровоцировала политическое движение, которое привело к отстранению КПСС от власти, а затем и к демонтажу государства, «инфраструктурой» которого эта партия оставалась на протяжении двух полных циклов «лидерства». В таком контексте смерть И.В. Сталина, которая обозначила инициацию одного из этих циклов и завершение другого, предвосхищает «катастрофу», случившуюся в 1989 году, и является кульминацией советской политической истории в целом.

В самом деле, это событие⁷³, о котором его свидетели почему-то не устают вспоминать как об одном из важнейших, даже критических моментов своей жизни (например, Е.А. Евтушенко), делит историю России в 20 веке точно пополам: четыре инновационных «проекта», связанные с политической карьерой И.В. Сталина, на протяжении которых складывалось и получало

⁷³ Более того, незадолго до смерти И.В. Сталина на исходе 1952 года умирает Эвита Перон и рождается В.В. Путин, тогда как в 1953 году на свет появляется Б. Гребенщиков, Билл Хэйли выступает со своим первым рок-н-роллом, а «Sun Records» выпускает самую первую запись Элвиса Пресли. Что же это за необычное время такое – рубеж 1952/53 годов?

институциональное оформление его уникальное «лидерство», наблюдаемое по сей день как «советское общество», и четыре «проекта», связанные с политической карьерой его преемников⁷⁴, каждый из которых по-своему пытался приспособить этот социальный и психологический «формат» интеракции для решения каких-то иных, нежели «мировая революция», задач (все равно – национальных или сугубо личных), поневоле рассматривая И.В. Сталина как «отправной пункт» идентификации даже в тех случаях, когда отдельные конкретные политики отнюдь не разделяли его специфической эсхатологии, эстетики или морали. По сути дела, для одаренного, энергичного и амбициозного человека из «местных», нравится нам это или не нравится, Сталин по-прежнему «вождь», «учитель» и «свет в конце туннеля», тогда как «чужие» здесь долго не живут, по крайней мере – не делают карьеры; Элиас Канетти рассматривал подобного рода диспозиции как обыкновенный психоз⁷⁵, однако в данном случае уместна и другая, альтернативная гипотеза: специфическое «лидерство», созданное И.В. Сталиным для осуществления «мировой революции» и определяющее «родовые», конститутивные признаки «советского общества», представляет собой классический образец того специфического перформативного контекста, который социологи или политические аналитики обозначают терминами «церковь», «умма» или «культовое сообщество», рассматривая как психологическую и социальную

⁷⁴ В самом первом приближении эти «проекты» таковы: 1913–20 годы, «революция», завершившаяся ликвидацией монархии; 1925–32 годы, «модернизация», завершившаяся установлением режима личной власти И.В. Сталина; 1937–44 годы, «экспансия», завершившаяся установлением контроля над странами Восточной Европы; 1949–56 годы, «революция», завершившаяся устранением И.В. Сталина с политической «сцены»; 1961–68 годы, «модернизация», завершением которой явились так называемые «косыгинские реформы»; 1973–80 годы, «экспансия», завершившаяся войной в Афганистане; 1985–92 годы, «перестройка», завершившаяся отстранением КПСС от власти и ликвидацией СССР; 1997–2004 годы, «стабилизация», реальные последствия и непредвзятая оценка которой еще впереди: если «хроноскоп» не врет, то в 2009–16 годах нас ожидает какая-то очередная «экспансия», предвосхищением которой, возможно, являются сегодняшние «нефтегазовые» конфликты. См.: Федоров А. Стратегия глобального проникновения. – Независимая газета, 31 октября 2007 года.

⁷⁵ См.: Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997.

предпосылку мифа «вечной жизни», вследствие чего любой из политических лидеров России пост-сталинского периода вынужден был либо подражать И.В. Сталину хотя бы во внешнем облике (как Л.И. Брежнев), либо вступать с ним в открытый конфликт – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Иными словами, развитие событий, обозначенное здесь как «перестройка», приходится рассматривать как некое отдаленное последствие «катастрофы», случившейся на рубеже 1952/53 года, т.е. инновационного «проекта», который был инициирован где-то в окружении И.В. Сталина зимой 1948/49 года и достиг своей кульминации как раз к моменту его ухода с политической «сцены»; именно этот «проект», отнюдь не предполагавший каких-то заметных персональных изменений⁷⁶, к моменту своего исчерпания на рубеже 1956/57 года способствовал возникновению крайне двусмысленной политической ситуации, которая спровоцировала заметную дестабилизацию обстановки в Европе, тем самым, в свою очередь, способствуя появлению Ю.В. Андропова на «сцене» большой восточноевропейской политики. Для советского общества (как, впрочем, и того специфического общества, о котором рассказывают Фанон, Карпентьер или Маркес) мифологема «заложного покойника» всегда остается внятной и весьма эффективной метафорой реальной политической ситуации, вследствие чего пресловутое «двоеверие», т.е. сохранение вменяемости и дееспособности в ситуациях «двойной повязки», специфический навык или дарование, без которого невозможны диаспора, церковь, театр и спецслужбы, становится условием *сine qua* поп любой сколько-нибудь успешной карьеры. Более того, именно эта двусмысленная ситуация, т.е. специфический перформативный контекст «лидерства», сформированного И.В. Сталиным «под себя» и на протяжении длительного периода, однако уже не обеспеченного ни его уникальной компетенцией, личным авторитетом или хотя бы наглядным физическим присутствием,

⁷⁶ Во всяком случае, этот «проект» отнюдь не предполагал какого-то другого «лидера», нежели сам И.В. Сталин. См.: *Lifton R.J. Revolutionary Immortality. Mao Tse-tung and the Chinese Cultural Revolution*. N.Y.: Vintage Books, 1968.

ни адекватным «гражданским культом», в дальнейшем предопределила расщепление советской политической системы на конкурирующие иерархии, а затем и ее крушение при первой же попытке реформ – вообще говоря, необходимых и давно назревших, однако заведомо исключающих пресловутое «кому можно – не нужно, а кому нужно – не можно», т.е. дифференциацию структур «лидерства» и «господства», которая с неизбежностью возникает после и в результате ухода авторитарного лидера.

По сути дела, именно такую ситуацию психиатры и семейные психотерапевты определяют термином «двойная повязка», рассматривая как одну из важнейших предпосылок шизоидных психозов; на практике она означает перманентный «кризис власти», заложником которого становится каждый, кто появляется на политической «сцене», однако позволяет сохранять и даже успешно транслировать иллюзию, будто в сложившемся перформативном контексте можно сделать карьеру, не посягая на отношения господства, являющиеся ее основанием (по сути дела – не осуществляя прямого насилия). Во всяком случае, идеология «пражской весны» и «социализма с человеческим лицом», так называемого «еврокоммунизма» или других исторических прототипов «перестройки» имела своей предпосылкой именно это допущение, которое вполне можно рассматривать как проявление то ли «стокгольмского синдрома», то ли обыкновенного лицемерия (не случайно пост-сталинский период советской истории отмечен избытком качественных политических анекдотов). На ранних этапах «перестройки» эту общую двусмысленность актуальной проблемной ситуации можно было как-то маскировать различного рода парадоксами и оксюморонами, однако по мере развития радикального массового «запроса» несоизмеримость этнической, гендерной или возрастной идентичности «актеров», претендующих на успешную карьеру, и того специфического «формата» интеракции, в том числе связанной с осуществлением «лидерства», который реально ее обеспечивал, стала настолько очевидной, что на рубеже 1990/91 года сколько-нибудь реалистический компромисс между «архаистами» и «новаторами» оказался уже невозможен. В итоге привилегия «лидерств-

ва» перешла к Б.Н. Ельцину⁷⁷, и это обстоятельство предопределило реальный исход «проекта», о котором здесь идет речь: исчерпание «перестройки» как партикулярного инновационного «проекта», направленного на реформирование сложившейся политической системы, стало очевидным как раз на рубеже 1992/93 года, свидетельством чему явилось увольнение Е.Т. Гайдара с поста руководителя правительства.

А *propos*, «хроноскоп» открывает и некоторые перспективы в аналитике различного рода процессов, затрагивающих сферу финансов: в конце концов, деньги или ценные бумаги – только символы, знаки, тексты, составленные из таких знаков, у них нет никакой собственной динамики – реально существует только динамика финансовых карьер (конкретных интеракций, инновационных «проектов», «лидерств» и «элит»), тогда как различного рода кризисы в данной области являются эпифеноменами, или побочными эффектами, этой чисто социальной динамики – процессов и сдвигов в сообществах финансистов (промышленных инвесторов, биржевых спекулянтов и различного рода посредников). Иными словами, уместно предположить, что в сфере финансов любой инновационный «проект», т.е. совокупность персональных или групповых акций, направленных на изменение «правил игры», которые действуют на соответствующей корпоративной «сцене», возникает и развивается по тому же самому сценарию, что и «проекты» в политической, социальной или какой-нибудь другой сфере: начинается в год Быка, достигает кульминации в год Змеи (хорошо известное время катастроф, революций или несчастных случаев, в том

⁷⁷ Скорее всего, переход «лидерства» к другому представителю той же самой автократической «элиты», сложившейся в окружении Ю.В. Андропова, обусловила прежде всего готовность Б.Н. Ельцина признать реальность «обрыва традиции», т.е. ухода И.В. Сталина с политической «сцены» и перспективы массового уличного насилия (как в Польше или Венгрии 1956 года), на что М.С. Горбачев оказался неспособен. Кроме того, нужно иметь в виду, что рубеж 1990/91 года – это вообще период наиболее глубокой обскурации «элит», сложившихся в первой половине 80-х на самых разных уровнях советского общества, а следовательно – безусловного доминирования «публики», какой бы она не была: например, к этому моменту рок-группы, составлявшие «элиту» движения, уже распались, оставив сцену пресловутому «Ласковому Маю».

числе обвалов на фондовой бирже) и заканчивается в год Обезьяны. После этого наступает обскурация «проекта» и, соответственно, стабилизация финансовой системы (консолидация «повязок» внутри соответствующего «лидерства»), которая отнюдь не исключает различного рода событий, обусловленных развитием «дилеммы», «схизмы» и массового «запроса», а также локальных происшествий в политике, экономике и личной жизни с теми, кого номинируют «жертвой»; такие «локальные происшествия» обычно случаются в год Петуха, ближе к его завершению (восстание декабристов в 1825 году, вооруженный конфликт между президентом и оппозицией в 1993). В рамках каждого такого «проекта» индивиды и сообщества действуют либо как «новаторы», добивающиеся продолжения сдвигов и рассчитывающие на них, либо как «архаисты», рассчитывающие на прекращение сдвигов; в начале цикла, скорее всего, выигрывают те, кто ставит на «реформы», ближе к обскурации «проекта», очевидно – те, кто ставит на их прекращение. Далее, можно предположить, что в сфере финансов социальная динамика осуществляется как чередование спекулятивных финансовых «элит», действующих преимущественно на фондовой бирже (демократические сообщества независимых субъектов «рынка», практикующие на досуге в основном футбол, преферанс или другие командные виды спорта), и промышленных «элит», действующих главным образом в сфере производства услуг или потребительских товаров, в их числе, разумеется, оружия (автократические «корпорации», практикующие главным образом сольные виды спорта, прежде всего – различного рода единоборства). Конечно, сообщества, которые реально складываются в сфере финансов, полностью или в значительной степени закрыты для наблюдения (тем более, включенного), тогда как Россия, расположенная на периферии «глобальной системы», к тому же общество на редкость инертное, «тормозное», реагирует на сдвиги в «правилах игры», конституирующих финансовую систему, с запозданием и «вслепую»; это очень сильно искажает и усложняет общую картину, но отнюдь ее не меняет, поэтому события, которые мы сейчас в просторечии распознаем как «де-

фолт», т.е. непредвиденное изменение «правил игры», действующих в сфере финансов, вполне могут рассматриваться как побочный эффект «проекта», локализованный в окрестностях его критических областей.

Если бы, например, «перестройка» в сфере финансов (ликвидация границ между коммерческим и бытовым обращением рубля, а также между национальным и международным рынками валюты) была проведена в 1985 году (а еще лучше – в 1983, в правление Ю.В. Андропова, в самом начале «схизмы»), то ее результаты, скорее всего, были бы совершенно иными – издержки гораздо менее заметными (например, их удалось бы замаскировать экономическими репрессиями типа конфискационной денежной реформы, запоздалым отголоском которой, по-видимому, является «павловский» обмен денег), а позитивные эффекты – более долговременными и устойчивыми. Во всяком случае, безусловно, от участия в проводимых реформах был бы в значительной степени отсечен «теневой капитал». Кроме того, реформы 1985–92 годов, по-видимому, строились на предположении (скорее всего – неявном), что растущую рублевую массу можно будет без помех «закачивать» в тезаврацию валюты (т.е. формирование личных состояний), а также в скупку ваучеров – с последующей приватизацией госдобра и, соответственно, нейтрализацией рублевой массы посредством ее возвращения обратно в подвалы Госбанка. Как только предложение валюты и госдобра стабилизировалось, дальнейшее расширение рублевой массы оказалось необеспеченным, вследствие чего и понадобились различного рода затеи типа «МММ», ГКО, «чеченских авизо» или пресловутого «черного вторника»; именно тогда, по-видимому, и были задуманы деноминация рубля или «дефолт», случившийся в 1998 году и почти наверное рукотворный.

Кроме того, по соображениям, которые подробно изложены в других публикациях автора⁷⁸, можно предположить, что в нача-

⁷⁸ См.: *Игнатъев А.А.* Ценности науки и традиционное общество (социокультурные предпосылки радикального политического дискурса). – *Вопросы философии*, 1990, №1, с. 108–135; *Сумеречная зона*. – *Атака*, 1999, вып. 51–29, с. 15–23.

ле инновационного цикла выигрывают те, кто ставит на обострение отношений между «исламским миром» и США, а в конце – сторонники «евроазиатского» конформизма, т.е. ориентации на процессы, протекающие в Европе и Юго-Восточной Азии. По этой причине в России период финансовой стабилизации всегда сопряжен с привязкой рубля к евровалюте при относительной дистанцированности от доллара, а также относительном доминировании «питерских» над «московскими», которое, кстати, уже наблюдалось в 1981–84 годах: в России «функциональный диморфизм» столиц – это социальная реальность, конститутивный «формат» интеракции, а не чисто юридический артефакт, радикальные политические инициативы здесь, как правило, исходят из Москвы, а консервативные – из Питера⁷⁹. Если, соответственно, очередной «проект» периода 2009–16 года будет сопряжен с достаточно радикальными инновациями в сфере финансов – скажем, инсталляцией малайзийского динара или какой-нибудь другой «исламской» денежной единицы в качестве третьей мировой валюты-посредника, то и внешнеполитическая ориентация России где-то к рубежу 2008/09 года соответствующим образом изменится – придется выбирать.

Например, к власти снова придут «старомосковские» представители ВПК, которые примутся энергично дружить с Ираном и арабами, используя свое (предполагаемое) влияние на «исламский мир» для давления на США, «реформа» тем более своевременная

⁷⁹ Во всяком случае, для «советского общества» Москва является «сценой», где доминируют мужчины, а Питер, соответственно – женщины, как это и представлено в фильме Э. Рязанова «Ирония судьбы», фабула которого воспроизводит множество очень похожих реальных историй: не случайно в годы войны Москву опознавали по голосу Ю. Левитана, читающего сводки Совинформбюро, а Питер – по голосу О. Берггольц, читающей собственные стихи. Сам по себе тезис о функциональном диморфизме структур, способных к развитию (как биологических, так и социальных) сегодня достаточно хорошо обоснован и вполне может рассматриваться как «общее место» концепций системной динамики, тогда как для социолога, психолога или антрополога соответствующая оппозиция дополнительно указывает на диалектику отношений между «туземными» сообществами и различного рода «колониальными» субкультурами, в том числе криминальными. См.: *Михайлин В.Ю.* Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные коды в индоевропейской традиции. М.: НЛЮ, 2005; *Wolfgang M.E., Savitz L., Johnston N.* (eds.). *The Sociology of Crime and Delinquency.* N.Y.–L.: Wiley, 1962.

и удобная, что будет протекать в конце правления В.В. Путина или вообще без него. В такой перспективе и с учетом долговременного американского присутствия в Ираке (или вообще на Ближнем Востоке) российский экспорт нефти, очевидно, перестает быть внешнеполитическим фактором, вследствие чего доходы от него становятся важнейшим и даже эксклюзивным источником статусной ренты, т.е. превращается в корпоративное достояние «лидерства». Более того, экспорт энергоресурсов может вообще перейти в так называемое «доверительное управление» каким-нибудь транснациональным компаниям (скажем, германским как наиболее надежным), тогда как наиболее актуальным способом сделать карьеру становится «венчурный» экспорт оружия (в особенности современных высокотехнологических его видов) в страны, пограничные между «исламским миром» и Юго-Восточной Азией.

Или наоборот: к власти придут «младомосковские» представители ТЭК, правление которых позволит, наконец, образовать «большую» евроамериканскую коалицию (с вероятным участием некоторых стран Азии, не принадлежащих ни к «исламскому миру», ни к сфере влияния Китая). В такой перспективе (немыслимой помимо долговременного и достаточно серьезного обострения конфликтов на Ближнем Востоке) российские нефть, газ и другое сырье, соответственно, становятся эксклюзивными ресурсами так называемого «западного мира», тогда как производство оружия и его экспорт в страны «исламского мира» снова оказываются предметом интенсивного международного торга и политического шантажа, подобно тому, как это уже не раз случалось в прошлом.

Впрочем, жизненный опыт и «хроноскоп» в полном согласии друг с другом подсказывают, что к началу очередного инновационного цикла в России, как всегда, сложится «патовая» ситуация, «власть» будет по уши погружена в преодоление «схизмы» или даже сугубо личные «разборки», как это уже не раз бывало в прошлом, а «рядовые граждане», соответственно, займутся решением сугубо частных проблем (карьерных, семейных, личных), вследствие чего «новый мировой порядок» сформируют и будут эксплуатировать совсем другие народы.

Такого же рода аналитика с использованием «хроноскопа», по-видимому, уместна и в том случае, когда ее предметом становится формирование некоторых субкультур, связанных с иммиграцией мусульман в Европу. В самом деле, всякая массовая иммиграция – это социальный процесс⁸⁰, который затрагивает «принимающее» общество как целое и продуцирует внутри него множество самых разных инициатив, конфликтов или расхождений; развитие событий и, в частности, формирование различного рода субкультур, которое является следствием массовой иммиграции мусульман в Европу, вполне может рассматриваться как инновация – одновременно конфессиональная, политическая и социальная. Как и всякая другая инновация, массовая иммиграция мусульман в Европу может рассматриваться как циклический процесс изменений, сопряженных с артикуляцией «проектов», осуществлением «лидерств» и формированием «элит», а также достаточно жесткой конкуренцией между сообществами, которые при этом возникают; по-видимому, отдельные субкультуры иммигрантов являются такими «суб-инновациями», наряду и в конкуренции с какими-то другими.

Те модели системной динамики, «пакет» которых в данном случае обозначен термином «хроноскоп», позволяет рассматривать иммиграцию мусульман в Европу как осуществление нескольких последовательных инновационных «проектов»:

1949–1956 годы – первый (латентный) период иммиграции мусульман в Европу, к исходу которого, по-видимому, формируются соответствующие этноконфессиональные гетто и, что особенно важно, специализированные социальные ниши – формы занятости и парадигмы карьеры; разумно предположить, что первые *ghetto riots* в Европе относятся к рубежу 1958/59 годов, т.е. соответствующая «схизма» оказалась спрятана «за ширмой» антиколониальной борьбы;

⁸⁰ Appadurai A. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. – Public Culture, 1990, vol. 2, N 2, p. 1–24.

1961–1968 годы – второй период иммиграции, формирование локальных этноконфессиональных сообществ («диаспор») со своими специфическими «элитами», структурами «лидерства», практиками социального признания и парадигмами дискурса (включая специфическое аргю), появление первых академических попыток определить «место» мусульман в европейском контексте, включая знаменитый комментарий Ж.-П. Сартра к текстам Ф. Фанона, а также, что особенно важно, хорошо различимых признаков реального влияния мусульман на развитие культуры – например, «ориентальных» мотивов в дизайне и популярной музыке;

1973–1980 годы – третий период иммиграции, выдвижение *claims for recognition* этих специфических «элит» и «лидерств», т.е. их притязаний на интеграцию в соответствующие национальные или даже региональные структуры («элиты» и «лидерства»); формирование и широкое распространение парадигмы социального признания мусульман в Европе, предполагающей трактовку соответствующих проблем как чисто юридических и экономических (предоставление гражданства, борьба за права, меры социальной защиты), первые попытки критики указанной парадигмы как со стороны иммигрантов-мусульман⁸¹, так и европейских «аборигенов» в лице так называемых «новых правых»;

1985–1992 годы – четвертый период иммиграции; судя по всему, именно в этот период на европейской интеллектуальной «сцене» появляются первые авторитетные интеллектуальные «лидеры», артикулирующие притязания исламских «элит» в Европе (те же Э. Саид, Б. Тибби или другие), оформляются и даже получают академическую легитимацию парадигмы рациональной публичной рефлексии о «месте» мусульман в европейском контексте (в частности, второе издание книги Э. Саида «Ориентализм» становится популярным интеллектуальным чтением), наконец – появляются альтернативные конкурентные стратегии

⁸¹ См.: Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский Миръ, 2006.

борьбы за признание этого специфического «места», одной из которых, наряду с «радикальным исламом» и какими-то другими направлениями, становится и так называемый «евроислам», представленный прежде всего публикациями Т.Рамадана;

1997–2005 годы – пятый период иммиграции, оформление «радикального ислама» и «евроислама» как альтернативных (конкурирующих) стратегий самоопределения мусульман в европейских политических, экономических и социальных структурах⁸², а также появление различного рода «контр-инноваций», направленных на вытеснение мусульман из европейского контекста, как идеологических, так и чисто политических.

Судя по всему, как «евроислам», так и его радикальную альтернативу (субкультуры, движения или артефакты дискурса) следует, по-видимому, рассматривать как чисто идеологическую, т.е. возникающую в результате групповой стратегической рефлексии, «надстройку» над реальным социальным и политическим процессом иммиграции мусульман в Европу – следствие и свидетельство провала (недостаточности) той стратегической установки на ассимиляцию в соответствующие «местные» сообщества, которая определяла позицию лидеров европейской уммы в 70-е и отчасти в 80-е годы.

Кроме того, отдельные такие социальные и дискурсивные артефакты представляют собой, очевидно, политическую субкультуру: «политическую», поскольку мусульмане в Европе все еще *de facto* являются «чужаками», притязания которых на статус, признание, «лидерство» или принадлежность к «элитам» предполагают достаточно существенную трансформацию контекстов повседневного действия и потому наталкиваются на сопротивление со стороны других (конкурирующих или антагонистических) заинтересованных групп; «субкультуру»,

⁸² Автор не является специалистом в данной области и не претендует на компетентный анализ процессов, связанных с иммиграцией мусульман в Европу: предлагаемая периодизация этих процессов призвана лишь продемонстрировать возможности «хроноскопа» как аналитической парадигмы. См.: Красильникова М.Н. «Евроислам» как политическая субкультура: история, сообщество, актуальный дискурс. Дипломная работа. М.: УНЦИР РГГУ, 2007.

поскольку эта борьба направлена прежде всего на преодоление «кризиса идентичности», по необходимости сопутствующего иммиграции – формирование когерентного социального «мы», адекватного соответствующим «claims for recognition». Иными словами, «евроислам» как субкультура иммигрантов-мусульман в Европе по своей социальной функции в значительной степени совпадает с так называемым «радикальным исламом» как политической субкультурой или «этнической мафией» как субкультурой криминальной.

Далее, и «евроислам», и «радикальный ислам», и отдельные этнические «мафии» вполне можно рассматривать как отображение политической «дилеммы», с неизбежностью возникающей и даже приобретающей универсальный характер вследствие вынужденного или произвольного отказа иммигрантов от установки на ассимиляцию: рассматривать ли мусульман в Европе как интервентов, продолжающих завоевательные войны мавров и турок-османов, или как автохтонов, вслед за восточными славянами и угрофиннами добивающихся признания своих законных национальных интересов.

Конечно, любая такая субкультура мусульман в Европе представляет собой феномен того же времени, что и попытки вступления Турции в ЕС или албанская и боснийская экспансия на Балканах: за конкуренцией «евроислама» и альтернативных ему субкультур, возможно, скрывается более фундаментальное противоречие между мусульманами-иммигрантами, практикующими альтернативные стратегии борьбы за признание – их разными поколениями («новичками» и «старожилами»), статусными группами («успешными» и «неудачниками») или даже разными этническими сообществами – например, семитами-арабами и тюрками или индоевропейскими этническими группами; здесь особенно симптоматичны апелляция курдов к индоевропейскому единству, албанцев и босняков к балканским, а турок дополнительно – к волжским и прикавказским традициям ислама, т.е. притязания на автохтонность ислама в Европе (нечто очень похожее было и в истории европейского христианства).

Наконец, динамика субкультур, о которых здесь идет речь, представляет собой очевидное повторение тех альтернатив социальной динамики⁸³, которые несколькими столетиями ранее возникли в Европе сначала перед славянами-язычниками, а затем и перед выходцами из иудейских гетто; в таком контексте становится очевидным, что конкуренция, скажем, «евроислама», субкультур ассимиляции и их радикальной альтернативы отнюдь не является локальным европейским феноменом, она охватывает весь «западный мир» и должна рассматриваться в более широком, нежели «старая Европа», контексте, включающем ее социальную и географическую периферию.

⁸³ См.: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: НЛО, 2003; Кац Я. Исход из гетто. Социальный контекст эмансипации евреев 1770–1870. Иерусалим: Гешарим, 5767 / Москва: Мосты культуры, 2007.

4. Контекст признания, «театральная метафора» и проблема легитимации

КАЖДЫЙ РАЗ, когда мы пытаемся размышлять о музыке, травмированной идентичности или терапевтических функциях театра (все равно – политического или домашнего), мы наталкиваемся на феномены и проблемы, которые остаются инвариантными к обстоятельствам биографии, специфике исторического периода или понятиям, нормам и ценностям культуры, вследствие чего заслуживают каких-то общих замечаний. Как можно заметить, все эти «инвариантные обстоятельства» с очевидностью указывают на некий специфический «формат» повседневного действия, который в дальнейшем я обозначу метафорой «синдром вертепа», имея в виду, что вертеп – это прежде всего интерактивное пространство, которое находится где-нибудь на социальной и географической «периферии», в заброшенном доме или пещере, место, где происходит инициация героя и, соответственно, всякий реальный «переход» достигает своей кульминации.

Как правило, подобного рода опыт имеет недобровольный характер, поэтому тот же самый термин указывает на театр марионеток (механический или с ручным приводом), эксклюзивным «спектаклем» которого является рождественская встреча между младенцем Иисусом и волхвами или пастухами, т.е. публичное, принародное «опознание» будущего Спасителя. Наконец, предполагается, что этот «спектакль» моделирует некий универсальный прототип всякой конкретной проблемной ситуации социального признания, поэтому со словом «вертеп»

соотносится сама реальная пещера, в которой младенец Иисус появился на свет и получил первое «удостоверение» своей идентичности – золото, ладан и священный елей (символы трех «стихий» и трех «ветвей» власти); полагаю, что у Платона говорится именно об этой пещере.

Этот «автоматизм» ситуаций, предполагающих встречу со Спасителем, т.е. принудительная и безусловная рациональность «вертепа», сопоставимая с античной мифологемой «судьбы» или с конструкцией какого-нибудь современного механизма, в текстах Нового Завета демонстрируется неоднократно, очень настойчиво и по самым разным поводам: см., например, притчу о неплодной смоковнице (Мф 21, 18–21) или развитие событий, ассоциированное с повелением бодрствовать, «ибо неведом час...». Тут, конечно, есть очень серьезная проблема различий между христианскими представлениями о «Суде Божиим», античной мифологемой «судьбы», понятиями «кармы» у буддистов и «структуры» или «механизма» в современной науке, однако ее обсуждение далеко выходит за рамки данного исследования – достаточно констатировать очевидное и бесспорное сходство между соответствующими перформативными контекстами. По сути дела, в любом из предполагаемых здесь контекстов дееспособность и вменяемость ограничены⁸⁴, т.е. человек, как говорится, «себе не принадлежит» и вполне может рассматриваться как марионетка некоего трансцендентного «демиурга»; разновидностями «вертепа», очевидно, являются любые артефакты, ставящие человека в зависимость от какого-нибудь механизма, в частности – конвейерное производство, как оно представлено в фильме Чаплина «Новые времена», или пространства интеракции, складывающиеся вокруг компьютерной техники.

⁸⁴ См.: *Леви-Стросс К.* Структурная антропология. М.: Наука, 1983; *Мамфорд Л.* Миф машины. Техника и развитие человечества. М.: Логос, 2001. В новозаветном рассказе о посещении младенца Иисуса волхвами такой перформативный контекст, очевидно, соотнесен с положением светил на небесном своде, т.е. соответствующая «модель успеха» вполне может быть редуцирована к зодиаку или его производным (что, собственно, и делается в любом руководстве по астрологии).

Мысль, которую я здесь пытаюсь если не пояснить или, тем более, обосновать, то, по крайней мере, развернуть в протяженный текст (когда-то именно такое действие и называлось «теория»), состоит в том, что «синдром вертепа» является следствием неполной социализации и, соответственно, недостаточного социального признания, в свою очередь, обусловленного так называемым «эдиповым комплексом», т.е. аффектами, оформляющими первичный биологический симбиоз между матерью и ребенком⁸⁵. По сути дела, «синдром вертепа», безусловно, является патологией маргиналов, «безотцовщины», однако не стоит забывать, что мы все когда-то появились на свет из маминого живота, кормились выделениями ее тела и в «критической» ситуации действовали по ее «наводке», не без оснований полагая ее советы воплощением здравого смысла.

Как понятно из сказанного ранее, дефицит легитимности, а вместе с ним и долговременный массовый запрос на практики социального признания возникает в достаточно специфических проблемных ситуациях – при вторжении «инородцев», именном специалистами миграцией, в условиях затяжных и крупномасштабных изменений, реформ или катастроф, обычно называемых «революция», как следствие долговременного «чрезвычайного положения», вызванного, скажем, военной агрессией, природными катаклизмами или расколом внутри политической элиты, наконец, на социальной периферии или в различного рода контекстах, определяемых термином «кризис» и включающих, разумеется, устойчивые внутренние или бытовые конфликты (супружеские, например).

Во всех таких ситуациях обыденные автоматизмы «успеха» сразу или постепенно оказываются блокированы, разрушены или недоступны, вследствие чего продуктивные инвестиции ресурсов (либидо, времени, капитала) обеспечиваются различно-

⁸⁵ См.: Рейнгольд Д.С. Мать, тревога и смерть. Комплекс трагической смерти. М.: PerSe, 2004; Чодороу Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология гендера. М.: РОССПЭН, 2006; Эльячефф К., Эйниш Н. Дочки-матери: отношения троих. М.: ОГИ, 2006.

го рода «субститутами»: стратегиями действия и стереотипами рефлексии, предполагающими прежде всего одобрение и поддержку «окружающих», т.е. определенные публичные гарантии и свидетельства консенсуса – того специфического «положения вещей», которое «в норме» создается повседневными автоматизмами «успеха» и отнюдь не нуждается в целенаправленной поддержке, а «в патологии» становится несбыточной мечтой и целью отчаянных усилий «мигранта», пытающегося обеспечить себе благополучную политическую или служебную карьеру, супруга, измученного придирками «лучшей половины», наконец, политика, терпящего поражение на выборах или даже в предвыборном кастинге; «в норме» свидетельства и гарантии консенсуса оглашаются задним числом, в порядке пост-аварийного «разбора полетов», тогда как «в патологии» они постепенно или сразу становятся необходимыми исходными предпосылками «успеха» или даже его особыми событиями, т.е. специфическими предметами желания, в свою очередь, предполагающими какие-то свои повседневные стратегии и стереотипы «успеха», инвестиции в его достижение или даже превращение «легитимации» в особую индустрию – от элементарной массовой подделки документов, реквизитов и «брэндов» до практик PR и рекламы. Такое развитие событий, очевидно, не только сопряжено с огромными побочными инвестициями ресурсов (способными обесценить какую угодно мотивацию) или со специфическими деформациями личности (превращающими «истерию» или «нарциссический синдром» в массовые эпидемические заболевания), но и непрерывно воспроизводят дефицит легитимности, вследствие чего перспектива конфликта («обострения отношений») или возникновения какой-нибудь другой проблемной ситуации, определяемой термином «кризис», становится все более актуальной, более того – появляется вполне реальная возможность ее повседневной массовой эксплуатации (того же «стукачества», например, или стратегии шантажа, в просторечии известной как «охота на ведьм»).

Кроме того, превращение свидетельств и реквизитов социального признания в специфический «товар», предмет достаточ-

но сильных желаний, широкого спроса и обмена, повлекло за собой и некоторые другие эффекты, не столь заметные, как очередное вынужденное появление человека на «ярмарке тщеславия», однако гораздо более важные, по крайней мере в длительной перспективе: имеется в виду прежде всего формирование очевидной и существенной зависимости событий «успеха» от их демонстрации на какой-то «сцене», т.е. в таких местах, где отдельные конкретные действия доступны надзору («прозрачны», как теперь говорят), вследствие чего вообще могут быть замечены публикой, коллегами по профессии или какими-то другими сообществами, обладающими привилегией экспертизы⁸⁶. В принципе, такая тенденция отмечается уже на протяжении полутора столетий, однако сегодня она приобретает характер своеобразной революции во взаимоотношениях между широкой публикой и специалистами – революции, конечно, вялотекущей, однако предполагающей, как и положено, широкомасштабное принудительное отчуждение экспертизы в пользу различного рода сообществ, которые реально контролируют «медиабизнес», и тем постепенно превращающей экспертизу в демонстрацию частного, как правило – не слишком просвещенного мнения⁸⁷, единственное пре-

⁸⁶ Слово «признание» экспонирует оба эти специфических значения: одобрение и поддержка со стороны окружающих предполагает (в качестве исходного условия) опознание индивида как «своего», т.е. потенциального партнера (в английском *recognition* оба значения присутствуют явно и наравне, у русского «признание» второе из этих значений сохранилось как основное только в некоторых периферийных говорах). Очень похожую практику, хотя и наблюдаемую в совершенно ином контексте, А. Кемпински обозначил термином «селекция на рампе», не без оснований полагая, наверное, что остаться в живых и на свободе – важнейшая из привилегий, которыми вообще может тешился человек. См.: Кемпински А. Экзистенциальная психиатрия. СПб.: Университетская книга, 1998.

⁸⁷ См.: Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005; Curran J., Seaton J. *Power without Responsibility: The Press and Broadcasting in Britain*. L.: Routledge, 2003. Власть и вправду развращает, однако «четвертая власть» развращает абсолютно: никакое другое занятие до такой степени не способствует разрастанию «нарциссического синдрома» и всей той малопривлекательной симптоматики, которая обычно ему сопутствует, как длительная успешная работа на телевидении, радио или в каком-нибудь популярном издании – этакая, если хотите, «каинова печать» ремесла, предполагающего чистосердечное презрение к «фраерам» и стойкое, хорошо тренированное или даже приращенное ощущение собственной непогрешимости *ex cathedra*.

имущество которого состоит в том, что оно принадлежит какой-нибудь «раскрученной» персоне (тенденция, которая лишней раз удостоверяет, что экспертиза – всегда и повсюду функция статуса, т.е. корпоративная привилегия элиты, кто бы ею не был). Более того – экспертиза может осуществляться «в рабочем порядке», силами линейного персонала, вследствие чего, например, при обсуждении вопросов архитектуры и дизайна или организации публичных политических акций эпистемология, этика и обыкновенный здравый смысл все заметнее уступают место эстетике, и притом чисто визуальной, определяемой главным образом сугубо техническими императивами «показа» на телеэкране или страницах иллюстрированных изданий (соображениями типа «смотрится – не смотрится»); отмеченное развитие событий, естественное для обществ «колониального» типа, в сущности, уничтожает экспертизу, одновременно превращая журналистов в новейшую разновидность «опричнины», т.е. особую корпорацию, обладающую привилегией творить «суд и расправу» по собственному произволу – недаром же «медиабизнес» не только постепенно вытесняет на социальную периферию собственно экспертизу, но и монополизировать гораздо более существенные функции, которые традиционно выполняет «правлящая элита». Все это, впрочем, еще на исходе позапрошлого века отмечает Ги де Мопассан в своем романе «Милый друг», заглавие которого вполне может рассматриваться как эпитома связей между разрастанием «публичной сферы» и специфическими патологиями общества, пережившего катастрофу, прежде всего – послевоенной гегемонией женщин (перформативный контекст, в котором не только разворачивается действие романов А. Дюма или комедий Аристофана, но и реально складывается их публика).

С этой точки зрения «Мы» Евгения Замятина, «1984» Джорджа Оруэлла, итоговые произведения Стругацких или фантазмагории В. Пелевина вовсе не являются «fantasy» в буквальном смысле этого слова, тем более – сатирой на коммунистический, националистический, клерикальный или другой «классический» тоталитарный режим, напротив – это достаточно адекватная реконструкция общества, о котором мечтают журналисты: так называемая «privacy»

здесь ликвидирована вообще, тогда как «публичная сфера» с ее специфическими корпоративными «заморочками» становится эксклюзивным политическим институтом. В таком обществе, полагаю, будут конституированы – по аналогии с незаконными захватами – недействительные захваты заложников: таковыми, судя по всему, будут признаны любые захваты заложников, которые не предусматривают надзора *on line* со стороны аккредитованных журналистов и не согласованы с правозащитниками, в свою очередь, обладающими специальной лицензией (такая перспектива вполне могла бы быть сочтена обычным полемическим *reductio ad absurdum*, если бы не назначение женщины-журналиста министром обороны Японии). Впрочем, «классические» тоталитарные режимы с их перманентным социальным конструированием альтернативной реальности («промывкой мозгов») также едва ли бы состоялись помимо эффективных и хорошо контролируемых *mass media*⁸⁸, тем более что в условиях сложившегося тоталитарного режима полицейские репрессии на самом деле выполняют сугубо вспомогательные функции и по большей части остаются виртуальными, т.е. достаточно часто редуцированы к самодостаточным «реалити-шоу», сенсациям и новостям. Кроме того, есть немало свидетельств, согласно которым в условиях «классического» тоталитарного режима «работники идеологического фронта» обладают более высоким корпоративным статусом, нежели сотрудники спецслужб или разнообразные деятели культуры и шоу-бизнеса: в частности, один из наиболее важных, «установочных» видеонарративов советского времени, который специально полемически цитируется в «культовом» фильме В. Меньшова «Москва слезам не верит», назывался именно «Журналист», и свою политическую карьеру Сталин, Гитлер или Муссолини, по сути дела, начинали как журналисты.

О сих, яко о предрежащих, далее не буду, хотя, конечно, трудно не заметить, как часто и охотно «господские детки» ста-

⁸⁸ Есть даже такая точка зрения: «... в 1917 году к власти в России пришли журналисты». См.: *Трудолюбов М., Аптекарь П.* Пароход наоборот. – Вестник, 28 сентября 2007 г.

новятся журналистами, тогда как сама профессия очень быстро превращается в наследственную, т.е. прирожденную гарантию статусной ренты – источник доходов, составляющий важнейшую отличительную особенность элиты (тенденция тем более примечательная, что журналистика сегодня, как и судопроизводство – занятие по преимуществу женское). Тем не менее, превращение императива «бывать», «присутствовать» или «показываться на сцене», т.е. посещать «завтраки», конференц-залы, телестудии и другие подобные места, в универсальную предпосылку «успеха» вызывает (у особо «продвинутой» публики) и прямо противоположный эффект обесценения подобного рода стратегий: необходимость добиваться поддержки и одобрения со стороны «окружающих» не без оснований рассматривается как признак низкого социального статуса – такого же, как у «мигрантов» или подростков⁸⁹, вследствие чего дефицит легитимности или различного рода артефакты и эффекты, которые обеспечивают его демонстрацию (одежда, прическа, аксессуары, манера поведения и речи, круг общения – например, короткое знакомство с бандитами – и предпочтительные формы досуга), постепенно становятся знаком принадлежности к сильным мира сего.

Наконец, существует еще один фактор «успеха», о котором здесь также необходимо сказать: всякий, кто когда-либо садился за карты (домино, лото, шахматы, нарды, го), по собственному опыту знает, что в условиях, когда автоматизмы культуры блокированы, отсутствуют или неуместны (как на поле боя или за ломберным столом), достижение «успеха» так или иначе сопряжено со специфическим феноменом, который в просторечии обозна-

⁸⁹ Именно по этой причине члены знаменитого «клуба рыбаков» носят зеленые фракки: «чтобы не быть принятыми за лакеев». См.: *Честертон Г. К.* Рассказы. М., ХудЛит, 1975. По той же причине женщины из так называемого «высшего общества» избегают одежды, косметики и аксессуаров, которые акцентируют их сексуальную привлекательность, а также расходуют очень много времени, сил и денег на непосредственное участие в публичных благотворительных акциях – чтобы не быть принятыми за «морышку», пусть даже «продвинутой» и очень дорогую; покойная принцесса Диана понимала это лучше, чем кто бы то ни было, а если кто в ее правоте сомневается – перечитайте книжку Ирины Хакамады о сексе в политике, воспоминания Оксаны Робски или материалы обсуждения этих публикаций в интернете.

чают термином «удача». Такого рода феномены в специальных публикациях рассматривают как следствие того, что события «успеха» или неудачи обусловлены не только инвестициями в отдельное конкретное действие, но и динамикой или параметрами контекста, в котором оно совершается⁹⁰, вследствие чего «аутсайдеры», как правило, терпят неудачу даже независимо от их личной одаренности, информированности или владения техникой и «заветной колодой»; кто в этом сомневается, пусть поразмыслит над историей, рассказанной Пушкиным в повести «Пиковая дама», потому что какие-либо рациональные аргументы в пользу (или против) указанной точки зрения заведомо невозможны – повседневная стратегическая рефлексия об «удаче» тем и отличается от аналитики других факторов «успеха», что предполагает «веру на слово», т.е. следование образцам и стратегиям дискурса, принятым скорее на митинге или в церкви, нежели в лабораториях, офисах и в зале суда. Тем не менее, какие-то инвестиции или рациональные стратегии возможны и в данном случае, потому что по своим долговременным последствиям опыт «удачи» очень похож на обыкновенную наркотическую зависимость – вкушивши как следует (в неволе, на поле боя или за ломберным столом) этого «волшебного снадобья», человек приобретает весьма специфические желания, исполнение которых постепенно трансформирует всю совокупность повседневных предпосылок «успеха», включая и взгляд на социальную реальность.

Как видим, человек действительно обозначает термином «успех» какие-то эффекты или артефакты, если они составляют то самое «это», которое хотелось и мнилось получить в качестве результата предпринятых действий; подобная точка зрения отнюдь не претендует на то, чтобы поразить читателя глубиной и оригинальностью мысли или, хуже того, поставить под вопрос «высокие истины» философии, педагогики и классической литературы, однако она позволяет вполне корректно и достаточно подробно рассмотреть различные исходные предпосылки

⁹⁰ См.: *Jervis R. System Effects. Complexity in Political and Social Life.* Princeton, N. J.: Princeton Univ. Press, 1997.

повседневного действия, притом по возможности в той самой стратегической перспективе, в которой их видит реальный (как правило – очень занятой и отнюдь не читавший Деррида или Бодрийяра) субъект рефлексии – человек, осуществляющий собственную свободу⁹¹. Такой специфический (весьма предварительный и уязвимый) взгляд на феномен, о котором здесь идет речь, отнюдь не вынуждая усомниться в справедливости обыденного представления об «успехе» как о свидетельстве чьей-то исключительной мотивации, личной одаренности или мастерства (к чему очень часто склоняет чтение специальной литературы по экономике, социологии и психологии или какого-нибудь популярного катехизиса), в то же время позволяет выделить целый ряд дополнительных факторов «успеха», особенно важных в ситуации «кризиса» и скандала или на социальной периферии, когда повседневные автоматизмы культуры блокированы, разрушены или недоступны, а возникающий вследствие этого дефицит мотивации и рациональности (т.е. ресурсов, которые могут быть инвестированы в исполнение желаний) переживается (и вполне справедливо) как явная и непосредственная угроза благополучию, жизни или спасению души; «в норме» подобного рода факторы и зависимости остаются на периферии сознания или вообще игнорируются, а «в патологии», т.е. в неволе и на чужбине, в условиях затяжного бытового конфликта или в очередную «эпоху перемен», становятся исключительно важной (по крайней мере – для самого действующего субъекта) структурной предпосылкой «успеха». В свою очередь, рассмотрение этих экстраординарных факторов «успеха» позволило составить достаточно развернутое и вполне уме-

⁹¹ Как хорошо показал Б.Ф. Скиннер, термин «свобода» реально указывает не столько на экономический или политический конструкт («идеал»), сколько на универсальный этологический императив, т.е. неодолимое желание («влечение»), направленное на сохранение перспективы «успеха» и свойственное всякому живому существу – таракану или котенку ровно в той же степени, что и так называемому «серьезному человеку»; с этой точки зрения фразеологизмы «осуществлять свою свободу» и «вести деятельную жизнь» являются синонимами (или, точнее, прагматическими субститутами). См.: *Skinner B.F. Beyond freedom and dignity*. N.Y. etc.: Bantam/Vintage, 1971.

стное (в контексте данной книги) представление о том, что это, собственно, такое – повседневное социальное признание, в какой исторической или биографической ситуации оно становится массовой проблемой, возникающей практически перед каждым взрослым и деятельным человеком, и каким конкретно образом его свидетельства и реквизиты (даже сугубо символические) приобретают характер важных дополнительных инвестиций в повседневное действие, не только страхующих своего субъекта от различных *quid pro quo*, но и порождающих совершенно специфическое социальное пространство, в границах которого внимание и одобрение публики становятся особым событием «успеха», имеющим собственные предпосылки и самостоятельную оперативную ценность.

Тут стоит повнимательнее присмотреться к фигуре городского нищего – человека, для которого социальное признание и, соответственно, его материальные свидетельства являются, пожалуй, наиболее существенной предпосылкой к реальному достижению «успеха». Прежде всего, формирование и сколько-нибудь длительное воспроизводство этого социального «амплуа» невозможно помимо достаточно развитой «публичной сферы», т.е. институтов и практик, предполагающих образование так называемой «массовой» публики: для хорошо интегрированного сообщества (семьи или трудового коллектива) нищий – это всегда «чужак», т.е. нежданное и сугубо деструктивное вторжение в повседневную жизнь⁹². Более того, для профессионального нищего всякое возможное событие «успеха» сопряжено с публикацией сообщения, которое более или менее убедительно имитирует все сколько-нибудь существенные предпосылки к обеспечению легитимности в условиях долго-

⁹² Кто не знает или забыл – в социологии эпитет «массовый» обычно указывает на скопления индивидов, действующих безотносительно к нормам и ожиданиям семьи, круга друзей, трудового и воинского коллектива или какого-нибудь другого партикулярного сообщества; на практике это теоретическое понятие обычно соотносят с различного рода общедоступными «public places», включая обыкновенную базарную площадь, и такими специфическими феноменами, как аудитория mass media («...не могу перевести я это слово...»), пресловутый «электорат» или воскресная уличная толпа. См.: *Shramm W. (ed.). Mass Communication. Urbana, Ill.: Ill. Univ. Press, 1960.*

временного социетального кризиса: инвалид, престарелый человек или женщина с ребенком (достаточно часто виртуальным или субституированным домашними животными) обращаются к уличной толпе, скоплению пассажиров в общественном транспорте или к аудитории какого-нибудь популярного телеканала (печатного издания, интернет-сайта), репрезентируя себя самих в дискурсе как субъектов бесспорной и актуальной «пограничной» ситуации, т.е. наделяя себя интерактивным статусом, который исключает дееспособность и вменяемость, вследствие чего становится безупречным алиби для посягательства на чужой кошелек; оратор на политическом митинге, журналист, работающий в области public relations, или составитель заявки на финансирование какого-то «проекта» отличается от профессионального нищего исключительно тем, что наделяет ущербным интерактивным статусом не себя, а своих партнеров (ту же публику, например). По этой причине, в частности, женщины относятся к нищим не в пример более благосклонно, нежели мужчины, и нередко им покровительствуют (полагая, наверное, этот специфический контингент «социально близким»), тогда как численность нищих тем больше, чем выше уровень так называемой «аномии», т.е. каких угодно расстройств «социального порядка». Иными словами, в анамнезе городского нищего отнюдь не обязательно присутствует реальная деградация экономики: в бедных, но устойчивых сообществах такого рода контингенты отсутствуют, их появление или быстрое и заметное увеличение – верный признак того, что начались перемены.

Как мы могли убедиться, у невроза, затяжного конфликта или ситуаций, возникающих на социальной периферии (где-нибудь, скажем, за «чертой» оседлости), есть свои специфические автоматизмы: в «пограничной» ситуации (даже независимо от того, по каким причинам она возникает) мотивация и рациональность наших действий изменяются – появляются трудности в достижении «успеха», вслед за ними дефицит легитимности⁹³

⁹³ Таковую коллизию очень хорошо представил Д. Хармс в одной из своих миниатюр: «Я писатель! – говорит писатель. – А по-моему, ты говно! – говорит рабочий. Писа-

(«чувство вины»), стремление к социальному признанию, наконец, надежда на «удачу» или потребность в овладении магическими практиками и в «слиянии с природой», т.е. наклонность к стратегиям, которые для социолога или антрополога являются проявлениями особой «культуры кризиса». Такая «культура», изначально возникающая у «мигрантов», меньшинств или в других зависимых социальных группах, обозначаемых термином *subalterns*, и перенимаемая кем угодно в «пограничных» ситуациях (скандал, как известно, заразен и способен распространяться в режиме эпидемии), собственно говоря, и превращает поговорку «мир – театр» в источник метафор или основание для аналогий, определяющих топографию социального признания – номенклатуру функций («амплуа»), обеспечивающих достижение «успеха», структуру, границы и диспозиции сообществ, которые их исполняют, динамику этих сообществ во времени и распределение в пространстве или, наконец, зависимость между «координатами» действия и его перспективой.

Исходя из подобного рода уподоблений или аналогий, обозначаемых общим термином «театральная метафора» и, как принято считать, вполне справедливых для любого рода практик, предполагающих апелляцию к публике, будь то действительно театральный спектакль или защита диссертации, заседание парламента, церковная служба и дебаты в зале суда, рассмотрим (для начала) такую вполне обыденную и весьма примитивную ситуацию социального признания, как «проверка документов». Как все мы хорошо знаем из собственного опыта, «проверка документов» предполагает по меньшей мере два «амплуа»: роль «актера», выдвигающего притязания (*claims* в англоязычной литературе по социологии), скажем, на статус гражданина, осуществляющего свои законные права, и роль

тель падает, его уносят со сцены»; тут налицо и социологически очень точное представление о социальном признании как о результате появления на какой-то «сцене», и саркастический парафраз одного из наиболее важных постулатов официальной советской идеологии (рабочие как «элита» общества), и весьма скептическая оценка собственной перспективы при любой серьезной «проверке документов», т.е. в обстановке, которую Ю. Хабермас определяет как *legitimation crisis*. См.: Calhoun C. (ed.). *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge, Mass. – L.: MIT Press, 1992.

«зрителя», вознаграждающего эти притязания (в случае их верификации как справедливых и уместных) какими-то свидетельствами или реквизитами социального признания (скажем, воздержанием от пресловутого «не верю» или возвращением паспорта и разрешением следовать дальше).

Кроме того, «проверка документов» предполагает, что между исполнителями этих «амплуа» поддерживается весьма специфическая интеракция: для «актера» его действия, безусловно, являются личной повинностью, налагаемой местными традициями, повседневными привычками, реальным соотношением сил «на поле боя», а иногда или отчасти и нормативными актами государства, для «зрителя» же – должностной привилегией, которой вполне можно пренебречь или, наоборот, воспользоваться в корыстных целях; иными словами, между участниками «спектакля» предполагаются сугубо асимметричные отношения, которые вполне заслуживают термина «зависимость» или даже «гегемония»; на территории национального государства такие отношения поддерживаются как бы по взаимному согласию («договору»), однако в условиях колониального режима или оккупации они приобретают свою исходную форму.

Более того, предполагается, что и «зритель», и «актер» получают привилегию или повинность своих специфических «амплуа» вовсе не вследствие каких-то личных достоинств или пороков (обыватель, ставший жертвой «проверки документов», вполне может оказаться гордостью нации, а конкретные «менты», которые ее устроили – подлинными и редкими гадами, по которым тюрьма плачет), а как представители сообщества, занимающие определенное «место» в социальной иерархии; иными словами, между участниками «спектакля» предполагаются отношения, в которых, строго говоря, нет ничего личного – недаром же существует присловье «Ты мент или человек?».

Наконец, «проверка документов» действительно является «спектаклем», т.е. умышленным, вполне обозримым и, главное, рациональным действием, которое в обязательном порядке разыгрывается «на людях» и заведомо доступно для наблюдения (в пустынном и темном переулке такими глупостями, как «провер-

ка документов», никто себя не обременяет, во всяком случае – без особой производственной необходимости), предусматривает свою демонстрацию публике (пусть даже группе зевак) и предполагает какой-то предсказуемый, хорошо воспроизводимый сценарий, понятный и наизусть знакомый как «актеру», так и «зрителю». Такие перформативные роли («амплуа») вкуче с асимметричными отношениями их исполнителей сохраняются и при любых других коллизиях, предполагающих дефицит легитимности, вследствие чего образуется своеобразная иерархия «мест», определяющих право на социальное признание: в сообществе появляется «элита», заведомо избавленная от необходимости что бы то ни было предъявлять (паспорт, талант, мастерство, право на собственность или на достойную жизнь), и «масса», которая всегда остается под подозрением.

Само это разделение людей на «элиту» и «массу» в значительной степени условно, т.е. определяется критериями социального признания, которые приняты по произволу и, в принципе, могли бы быть другими, однако оно отнюдь не является бытовой иллюзией или аналитической фикцией, над которыми можно посмеяться. Конечно, поначалу «элита» и «масса» возникают как некие вербальные ярлыки, эффект «выборочного правосудия», неизбежного в условиях катастрофы, войны или затяжного гражданского конфликта⁹⁴, однако постепенно они приобретают характер наследуемых признаков (у крупных кошачьих почти с такой же неизбежностью, что и у обезьян вида *homo sapiens*), вследствие чего трансформируются в реальные социальные группы со своей специфической культурой – вплоть до радикального взаимного размежевания по языку, ди-

⁹⁴ О том, что «проверка документов» обусловлена прежде всего неизбежной оперативной недостаточностью подобных критериев или конвенций и, следовательно, проводится главным образом для предупреждения аффектов, связанных с дефицитом легитимности (как говаривали прежде, «всеобщего умиротворения ради»), свидетельствуют хорошо заметные различия в поведении «ментов», действующих, скажем, в порядке исполнения приказа, связанного с какой-нибудь их «операцией», и в составе обычного уличного патруля; по той же (примерно) причине «проверка документов» выглядит совершенно по-разному для иностранца, местного жителя, приезжего из «глубинки» и настоящего немытого «аутсайдера».

ете, бытовым обычаям и привычкам, маркерам этноса и конфессии (как, бывало, говаривал один из отечественных монархов, «я не русский – я из немец») с последующим поиском какой-нибудь «национальной идеи», которая бы всех помирила.

Тем не менее, такая необратимая дифференциация «элиты» и «массы» наблюдается достаточно редко (главным образом, в канун революций), в обыденной социальной реальности оба эти термина остаются категориями групповой или персональной стратегической рефлексии, т.е. «переменными», которые характеризуют, скажем, вероятность социального признания для данного конкретного «актера» или (в терминах теории размытых множеств) степень его принадлежности к тем избранным, кто избавлен от необходимости выходить к рампе и добиваться поддержки окружающих – в достаточной степени условным обозначением некоего очень сложного механизма, обеспечивающего зависимость «успеха» от инвестиций в его достижение, направленных на восполнение дефицита легитимности. Иными словами, при всей произвольности критериев принадлежности к «элите» или «массе», действующих в конкретном сообществе, различия между людьми, на которые они указывают, вполне существенны и отражают реальное неравенство в способности добиться «успеха», мобилизуя ресурсы социального признания.

Как можно предположить, реальная (относительная, текучая и сугубо функциональная) дифференциация сообществ на «элиты» и «массы» возникает далеко не повсюду и только при достаточно специфических условиях – при наличии принудительных и массовых практик, которые здесь обозначены метафорой «проверка документов», т.е. различных форм зависимости между достижением «успеха», социальным признанием и какими-то эксклюзивными ограничениями на доступ к участию в «спектакле», в просторечии именуемыми «цензура». Такие условия, очевидно, заведомо отсутствуют, невозможны и даже немыслимы в «благополучных и устойчивых сообществах», в границах которых повседневное исполнение желаний обеспечивают автоматизмы культуры, сложившаяся социальная организация пространства (как правило, устойчивая к любым изменениям в перспективе

или содержании действия), телесная конституция человека и ее императивы (более-менее одинаковые) или даже обыкновенные бытовые привычки («нажми на кнопку – получишь результат»), инвестиции либидо, времени и капитала в достаточной степени согласованы посредством корпоративных, семейных или других локальных традиций и направлены «конкретно» на создание артефакта или достижение эффекта⁹⁵, являющегося непосредственным эмпирическим референтом «успеха», т.е. не предполагают их растраты на выполнение чисто политических функций (собрание публики и формирование консенсуса), а дефицит легитимности и необходимость в его восполнении вообще не возникают, поскольку вокруг исключительно «свои», хорошо и лично известные люди; именно поэтому в подобных сообществах демонстративная и непосредственная апелляция к соседям или деловым партнерам остается исключительным явлением («праздник»), в долг дают под честное слово, а какие-либо практики, ограничивающие доступ к ценностям или в жилище, вообще неизвестны: все заняты, все «при деле», все сыты и счастливы по мере собственного в это вклада – истинный «социализм» любого хорошо налаженного и перспективного домашнего хозяйства, действительно являющегося «частным делом» тех, кто его ведет.

Точно так же указанные *human conditions* отсутствуют, недостижимы и заведомо немыслимы в сообществах людей, взятых в заложники или проживающих на территории, оккупированной вражескими войсками: в подобных сообществах повседневное исполнение желаний (в чем бы они ни состояли) осуществляется исключительно по воле командира боевой группы, реально контролирующей «ареал обитания», или в соответствии с заранее разработанным планом «операции», инвестиции времени, либидо и

⁹⁵ Я давно знаю, что привычка звонить или появляться некстати отличает (помимо откровенно чужих людей) прежде всего тех моих знакомых, кто вообще не смотрит телевизор. Как можно заметить, основная социальная функция *mass media* как раз и состоит в этом согласовании персональных «бюджетов времени», т.е. в установлении «ритма» повседневной жизни, единого для всего сообщества – утренняя газета, вечерний телеэкран, последние известия с «поля боя». Прежде эту же функцию выполняли куранты на ратушной башне или заводской гудок. См.: *Zerubavel E. The Seven Day Circle: The History and Meaning of the Week.* Chcgo-L.: Univ. Chcgo Press, 1989.

капитала согласованы посредством обыкновенного вооруженного насилия (в лучшем случае – его непосредственной и явной угрозы) и направлены главным образом на удовлетворение первичных потребностей человека в пище, воде или посещении сортира, демонстративное появление «на людях», т.е. непосредственная апелляция к публике, как правило, карается задержанием или даже расстрелом на месте (т.е. по-прежнему остается «праздником»), под честное слово (за невозможностью восполнить дефицит легитимности) осуществляется любой возможный обмен, какие-либо практики, ограничивающие доступ к ценностям или в границы персонального пространства (например, к собственному телу), заведомо невозможны, а единственное исключение из этого «порядка вещей» составляет обычай (далеко не всегда исполняемый на практике) удерживать в неволе по преимуществу взрослых и здоровых мужчин – феминистки назвали бы это дискриминацией по признаку пола; опять-таки истинный «социализм», в построении которого на территории отдельно взятого зрительного зала вполне способны объединиться правозащитники, спецслужбы и чеченские боевики. Как видим, в «исторически реальных» сообществах условия, исключаящие их дифференциацию на «элиту» и «массу», возможны лишь как локальный, относительно недолговечный эксцесс (на сборном пункте или «этапе», в период путешествия или работ, связанных с ликвидацией стихийных бедствий, наконец, «на пиру», т.е. в различного рода ситуационных сообществах, связанных с демонстрацией событий частной жизни), вследствие чего какое-то социальное неравенство (а вместе с ним и «цензура» или «проверка документов») сохраняется, по крайней мере, как неизбежная тенденция.

Тем не менее, такая тенденция остается достаточно продуктивной, порождая множество артефактов, так или иначе демонстрирующих неравенство в доступе на «сцену» и в шансах на достижение «успеха», от положения в «глобальной системе» с ее специфической топографией или структурами созависимости, связывающими отдельные сообщества, нации и цивилизации, до обучения в обыкновенной российской спецшколе с углубленным изучением традиций и блюд эскимосской кухни. Как

правило, подобные артефакты возникают в результате достаточно длительного исторического процесса, охватывающего многие поколения и постепенно превращающего «элиту» в совокупность действительно «лучших игроков на поляне», однако первоначальным основанием для ее дифференциации, безусловно, является какая-нибудь очередная «проверка документов», т.е. историческая ситуация, в которой дефицит легитимности и его восполнение становятся «головной болью» всякого одаренного и деятельного человека (скажем, серьезная катастрофа, война или затяжной гражданский конфликт); изначально формирование «элиты» обусловлено фобиями или реальными страхами «зрителя», осуществляющего надзор, и предполагает отсутствие факторов, которые побуждали бы обратить внимание на данных конкретных индивидов, однако регулярная повседневная дискриминация любого, чья внешность вызывает беспокойство, преобразует подобные вербальные ярлыки в устойчивые, хорошо различимые и, значит, наследуемые признаки индивида или сообщества, обладающего преимуществами в доступе к ресурсам повседневного социального признания.

Иными словами, изначально понятие «элиты» как социально-го конструкта выполняет сугубо охранительные функции и не предполагает каких-либо позитивных критериев селекции, в отличие от того, как это имеет место при выведении новых пород скота: как известно, беспокойство вызывает всякий, чья внешность не совпадает с бессознательными ожиданиями «зрителя», тем аудио – , видео – и кинестетическим паттерном, который рассматривается как опознавательный признак «своего», т.е. человека, заведомо не являющегося источником угрозы и потому не заслуживающего внимания или надзора (в отличие от того же Эдипа); вследствие этого основанием для дискриминации (т.е. для опознания «массы» чужих) могут оказаться практически любые признаки⁹⁶, хорошо различимые на уровне повседневного

⁹⁶ Не случайно одним из наиболее влиятельных политических мифов XX века становится именно «человек-невидимка», индивид, не обладающий специфическими расовыми, гендерными, возрастными или хабитуальными признаками, на основании которых в данном конкретном обществе выполняется распознавание, а затем и де-

действия – раса, пол, возраст, особенности речи и манера общения, сексуальная ориентация и характер выдвигаемых притязаний, этническая принадлежность, особенности расселения и даже диета (скажем, склонность к жеванию «смолки» или ее отсутствие) становятся факторами, определяющими перспективу доступа на «сцену» и социального признания, которая, очевидно, оказывается разной для иммигранта и «местного», мужчины и женщины, «пьющего» и абстинента, столичного жителя и провинциала, «белого, англосакса, протестанта» и всех прочих.

Как видим, признаком, свидетельствующим о дефиците легитимности, может оказаться практически любое отклонение от наличного стереотипа «элиты», вследствие чего естественным и неизбежным следствием всякой возможной дискриминации «чужих», по каким бы основаниям и как именно она бы не осуществлялась, становится превращение доступа на «сцену» и, следовательно, перспективы «успеха» в наследственную привилегию, «элиты» – в семью или родственный клан, а сообщество, с которым все это происходит – в классическую «зону», территорию, в границах которой любая серьезная инвестиция либидо, времени или капитала с неизбежностью направлена на подготовку побега, «трансгрессии», как сказал бы Ж. Батай: самоубийства, эмиграции или еще какого-то исхода в «мир иной», частными случаями которого, очевидно, является религия (в том числе сопряженная с обращением к суррогатным формам благодати – наркотикам или алкоголю) и сугубо политическая карьера, превращающая индивида в одного из «своих», т.е. человека, заведомо

приваивая или даже реальное физическое устранение «чужака»; красноречивой метафорой подобного сорта практик «селекции на рампе» является конкурс красоты при нацистах, как он показан у М. Ромма в фильме «Обыкновенный фашизм». Такие артефакты реальной или виртуальной «зачистки» социального пространства, как «элиты», «избранный народ», «истинный ариец», пресловутые «90-60-90» или так называемые «проскрипции», очевидно, являются только специальными частными версиями этого мифа, по умолчанию предполагающими разные, однако достаточно конкретные и хорошо распознаваемые признаки «чужака», которые, разумеется, время от времени пересматриваются – в зависимости от изменений в репертуаре актуальных притязаний на статус. См.: Гудков Л. (ред.). Образ врага. М.: ОГИ, 2005; Goffman E. Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates. N.Y.: Anchor Books, 1961; Jenkins R. Social Identity. L.–N.Y.: Routledge, 1996.

избавленного от дискриминации, повседневного надзора и сколько-нибудь обременительного внимания к своей персоне (подобно Робинзону Крузо, которого любят разыгрывать люди, действительно добившиеся исполнения всех своих желаний). При сколько-нибудь длительном сохранении дефицита легитимности (скажем, в условиях колонизации или камуфлированной и вялотекущей гражданской войны) подобные факторы и тенденции накапливаются, фантазии и фобии «зрителя» постепенно превращаются в реальные страхи («чужие» на самом деле оказываются источником непосредственной и явной угрозы), регулярная повседневная «проверка документов» становится одним из привычных автоматизмов культуры (местной традицией или воплощением здравого смысла), а диетические, сексуальные, анатомические и другие подобные различия постепенно сказываются на качестве ресурсов (времени, либидо, капитала), инвестируемых в достижение «успеха», готовности и способности его добиваться, мотивации и рациональности действий, направленных на повседневное исполнение желаний, вследствие чего формируется «элита» в обыденном, житейском понимании этого феномена, которая уже вполне намеренно возводит в норму поведения любые свои сколько-нибудь заметные признаки, включая антропологический тип и особенности расселения. Термин «неравенство» в данном случае отнюдь не является следствием привычек, усвоенных еще в эпоху повсеместного изучения марксизма, и рассматривается исключительно как обозначение в дискурсе реальной структурной неоднородности социального пространства, его организации как множества «сцен», обеспечивающих разную перспективу «успеха», т.е. перформативного контекста, о котором отлично осведомлен каждый, кто перебирается в «метрополию» с рабочей окраины небольшого провинциального городка.

В данном случае очевидно, что практики социального признания отнюдь не являются инструментами социального контроля и выполняют совсем другие функции: в казарме, «на зоне», в предбаннике, в ночной очереди за водкой или в обстановке «обвальной приватизации» какого-нибудь общего добра (что для социолога, в общем, одно и то же) механизмы

социального контроля (право, в том числе обычное, и мораль, которых никто не отменял) всех объединяют и уравнивают, в то время как механизмы социального признания, наоборот, дифференцируют на «элиту» избранных и «массу» всех прочих сообразно составу контингента; одновременное действие двух взаимоисключающих «моделей успеха», в свою очередь, создает заведомо двусмысленную ситуацию (по сути дела – дилемму, известную семейным психотерапевтам как *doublebind*), которая обеспечивает определенные ситуационные преимущества «старожилам», т.е. наиболее опытным, вменяемым и хорошо владеющим навыками стратегической рефлексии представителям данного контингента – его, так сказать, «интеллигенции» в том исконном значении этого термина, которое еще сохранилось в названии некоторых спецслужб⁹⁷. Вообще говоря, неблагоприятное развитие событий, которыми всегда чревата любая «селекция на рампе», включая обыденную уличную проверку документов, можно блокировать, используя механизмы коррупции или владея специальными техническими навыками, однако подобного рода ресурсы, как правило, являются неотчуждаемым эксклюзивным достоянием самой «элиты».

Здесь самое место поставить вопрос о границах применимости термина «благополучное и устойчивое сообщество», т.е. о концепции повседневного действия, согласно которой всякий возможный «успех» является функцией культуры, ее автоматизмов и норм: следует ли рассматривать такое «сообщество» как чисто идеологический (даже религиозный) артефакт, понятную, простительную и абсолютно праздную фантазию

⁹⁷ Как принято считать, характерным «разведпризнаком» подобного рода процессов являются «негауссовы» статистические распределения. См.: *Арапов М.В., Ефимова Е.Н., Шрейдер Ю.А.* О смысле ранговых распределений. – НТИ, сер. 2, 1975, N 1, с. 9–14; Ранговые распределения в тексте и языке. – НТИ, сер. 2, 1975, N 2, с. 3–8; *Игнатьев А.А., Яблонский А.И.* Аналитические структуры научной коммуникации. – Системные исследования. Ежегодник 1975. М.: Наука, 1976, с. 64–81; *Price D. de Solla.* A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes. J. Amer. Soc. Inform. Sci., Baltimore, 1976, vol. 27, N 5, p. 292–306; *Burt R.S., Doreian P.* Testing a Structural Model of Perception: Conformity and Deviance with Respect to Journal Norms in Elite Sociological Methodology. – Quality and Quantity, 1982, vol. 16, N 1, p. 109–150.

человека, основательно уставшего от жизни, или «модель успеха», вполне правдоподобную и уместную в каком-то специфическом, однако реально существующем социальном контексте? На этот вопрос опять-таки можно отвечать по разному, в зависимости от принятой эпистемологической доктрины⁹⁸, однако в данной книге термин «благополучное и устойчивое сообщество» прежде всего указывает на функциональные инварианты «успеха», т.е. на совокупность условий, которые вообще необходимы для исполнения желаний и при нарушении которых повседневная жизнь человека становится заведомо невозможной: в той степени, в какой индивиды остаются в живых и на свободе, избавлены от недугов или неразрешимых проблем и справляются с уборкой мусора, они остаются в границах применимости упомянутого конструкта – действуют в социальном пространстве, сформированном автоматизмами и нормами культуры.

На самом деле это вовсе не шутка: избавление от мусора, т.е. всего ненужного или обременительного, всего того, что мешает, что некуда девать и на содержание чего нет (или жалко) денег – ключевая проблема любого возможного сообщества по той простой причине, что «мусор», по определению – это все то, что не может быть утилизировано в границах той культуры, где возникает, наличие «мусора» или его отсутствие – идеальный показатель того, в какой степени данная конкретная культура (включая парадигму рефлексии) способна обеспечить

⁹⁸ Увы! – за пределами «райского сада» с его идеальным климатом, неиссякаемыми источниками ресурсов и особыми привилегиями населения Кант всегда прав, разум поневоле практичен, «эпистемологический риск» неизбежен, а на вопросы типа «...существует ли все, что горит в небесах, или это лишь только картины?» приходится отвечать: «...разумеется, деточка, только называется не обязательно так, как мы это себе представляем сегодня»; иными словами, безусловно достоверное и заведомо неоспоримое «знание» дано исключительно в опыте Святого Духа, тогда как в «профанической» реальности мы оперируем различного рода «моделями», принятыми по соглашению, верными лишь приблизительно и всегда поневоле отображающими наши сугубо личные или корпоративные «комплексы», предрассудки и корыстные интересы. См.: Мангейм К. Идеология и утопия. Очерки по социологии знания. М.: ИНИОН АН СССР, 1977; Ранк О. Травма рождения. М.: Аграф, 2004; Keller E.F. Reflections on Gender and Science. New Haven – L.: Yale Univ. Press, 1985.

«успех» или неудачу в собственном смысле слова, граница рациональности, реально достигнутая культурой (и сообществом, которое та конституирует) проходит именно там, где скапливается мусор, обитают бомжи и обычно расположены свалки, и еще совсем недавно (тому назад каких-то полвека) подобной проблемы практически не существовало: «мусора» было немного, а его ликвидация не требовала ни особой техники, ни специальных затрат, ни, тем более, общественного внимания – достаточно было естественных процессов и повседневной социальной рутины; более того, граница рациональности, реально достигнутая культурой (и теми стратегиями «успеха» или рефлексии, которые она предполагает) проходит именно там, где вообще возникают проблемы и формируется запрос на их разрешение, поэтому нарастание остроты проблем и количества мусора всегда (и вполне справедливо, в особенности на переговорах) рассматривается как свидетельство недостаточности «порядка», конституирующего данное конкретное сообщество.

Как видим, термин «благополучное и устойчивое сообщество» указывает на эффекты или артефакты, которые составляют содержание любого возможного притязания на «успех», некий инвариантный предмет желания, «общее благо» в самом буквальном смысле слова: в той степени, в какой индивиды добиваются исполнения своих партикулярных желаний, они обеспечивают себе (и другим) вполне определенную перспективу «успеха», конкретную и достаточно характерную совокупность его предпосылок, т.е. создают социальное пространство, опять-таки совпадающее с конструктором, который нас интересует – локальные нормы и автоматизмы культуры, избавляющие от «мусора», проблем, апелляций к публике (или к тому, кого называют «лидер») и даже самой необходимости обо всем этом думать. Иными словами, термин «благополучное и устойчивое сообщество», при всех его очевидных эмоциональных, идеологических и религиозных коннотациях, вполне может рассматриваться как обозначение «модели успеха», действующей в ограниченном, однако очень важном социальном контексте – в

границах специфической «сцены», которую психоаналитики обозначают словом «теменос» и определяют как некое «место» во времени и пространстве, где «успех» терапии гарантирован, а социологи обычно называют *privacy*, связывают с наличием так называемого «*sacred сапору*» и рассматривают как территорию, на которой индивид осуществляет свою свободу (или, если угодно, личный суверенитет).

На практике любая «элита» остается в достаточной степени «открытым» и динамичным сообществом, похожим скорее на «тусовку», заполняющую модный бутик, нежели на футбольную команду: как правило, каждое такое сообщество представляет собой совокупность вполне конкретных индивидов, чьи имена всегда могут быть указаны в каком-нибудь *mailing list* и по большей части известны как другим представителям «элиты», так и «широкой» публике (примерно для этого и существуют различного рода справочники или персональные базы данных, появление которых – верный признак того, что консолидация «элиты» уже произошла или завершается). Далее, эти индивиды связаны между собой характерными асимметричными структурами созависимости («иерархиями»), вследствие чего у каждого такого сообщества есть «жесткое ядро», состоящее из относительно небольшого числа наиболее влиятельных представителей «элиты», и достаточно обширная «периферия», непосредственно соприкасающаяся с «массой»; представители «элиты», составляющие ее «жесткое ядро», как правило, лично знакомы друг с другом, «повязаны» дружескими, соседскими, родственными и партнерскими отношениями, а также членством в различного рода «общественных» организациях с высоким вступительным цензом (творческих союзах и закрытых деловых клубах, одним из которых, по сути дела, является любая национальная академия наук, масонских лож, правлений фондов, парламентских комитетах) и достаточно часто встречаются в престижных ресторанах и кафе, вечерних и загородных клубах, на спортивных площадках, модных курортах, на вернисажах и театральных разъездах (Веблен полагал, что они только этим и заняты). Как правило, персональный состав

«элиты» меняется во времени с разной скоростью и в разном ритме – ее «жесткое ядро» сохраняется неизменным на протяжении многих лет, меняется главным образом благодаря естественной смене поколений и заметно обновляется только в ситуациях открытого конфликта, тогда как «периферия» обновляется непрерывно и достаточно быстро, кооптируя наиболее энергичных, одаренных и честолюбивых представителей «массы»; кроме того, в политической аналитике принято различать региональные и корпоративные «элиты», формирующиеся, соответственно, по территориальному и функциональному признакам. Как можно было убедиться, непосредственная или косвенная причастность к «элите» является фактором, достаточно заметно влияющим на перспективу социального признания и «успеха»; в данном случае предполагается, что такое влияние остается практически одинаковым для всех членов сообщества (т.е. функция, связывающая достижение «успеха» с причастностью к «элите», является линейной) и меняется во времени сообразно зодиакальным «циклам успеха», которые, собственно говоря, и рассматриваются на материале «творческой биографии» отдельного конкретного артиста или политика (при желании можно сказать, что «элиту» образует пульсирующая иерархия «актеров», мерами расширяющаяся до границ сообщества и мерами свертывающаяся к своему «жесткому ядру», однако это уже чисто технические детали).

Наконец, все мы хорошо знаем из собственного опыта, что бытовая, судебная или политическая «проверка документов» предполагает не только специфические «амплуа» ее участников или синтактику отношений между ними, но и определенный социальный контекст, в границах которого «актер» по крайней мере иногда на самом деле является источником непосредственной и явной угрозы для публики – именно это обстоятельство придает действиям «зрителя» мотивацию и рациональность. С этой точки зрения, «проверка документов» прежде всего представляет собой «спектакль», эффективно и наглядно напоминаящий публике о реальности «супостата», т.е. индивида или сообщества, безусловно являющегося опасным и в следст-

вие этого обязательно подлежащего экстерминации⁹⁹, необратимому удалению со «сцены»; собственно говоря, «супостатом» может оказаться любой прохожий, существует даже вполне правдоподобная точка зрения¹⁰⁰, согласно которой перепуганное скопище индивидов (например, уличная толпа) превращается в сообщество именно (если не исключительно) в результате изобличения и казни «актера», уличенного в дефиците легитимности – подобно тому, как в свое время «пособницей дьявола» могла оказаться любая из салемских домохозяек, а «евреем» любой из немцев. Иными словами, различные социальные ритуалы, обозначаемые здесь метафорой «проверка документов», призваны показать, что подозрения в адрес какого-нибудь конкретного индивида (например, в наклонности к sexual harassment) всегда могут оказаться оправданными: «супостат» хитер и коварен, способен и склонен маскироваться, притворяться мирным обывателем или даже представителем «элиты». В подобных ситуациях, достаточно часто и по самым разным поводам возникающим в обстановке затяжного гражданского конфликта, действительная и эффективная идентификация угрозы предполагает способность отличать «явь» от «нави», террориста – от случайного прохожего, а невротическую проекцию – от непосредственной и реальной угрозы, т.е. достаточно серьезную техническую компетенцию, которой «кто попало» отнюдь не обладает, вследствие чего локальный дефицит легитимности (т.е. отсутствие эффективной элиты или ее затяжной кризис) с легкостью провоцирует массовое бытовое насилие, само по себе составляющее серьезную угрозу сообществу.

⁹⁹ Слово *hybris*, хорошо известное из работ по истории театра, указывает именно на это обстоятельство: по существу, *message* античной трагедии состоит прежде всего в том, что человек, отмеченный *hybris*, каковы бы ни были мотивация или рациональность его действий, опасен для публики и потому должен быть обезврежен – изобличен, пленен и убит (только после этого такой человек получает право именоваться «героем», если, разумеется, того достоин); в современных детективах такой же исходный сценарий «охоты на человека» реализуется как поединок, в результате которого преследователь должен опознать свою жертву.

¹⁰⁰ См.: Жирар Р. Насилие и священное. М.: НЛО, 2000.

Кроме того, «проверка документов» предполагает, что повинность быть «актером» или привилегия быть «зрителем» являются следствием какого-то реального торжества справедливости, уже состоявшегося в прошлом или неизбежного в будущем: по существу, «актеры» являются заложниками ситуации, возникающей вследствие затруднений с распознаванием «супостата», ее актуальными или потенциальными жертвами, тогда как «зритель», напротив, остается единственной гарантией от подобного развития событий – именно поэтому действия, обеспечивающие безопасность сообщества (в прежние времена – казнь преступника, сегодня – его задержание и осуждение), обязательно совершаются на хорошо обозримой «сцене» и рассматриваются в качестве урока, преподаваемого наивной, забывчивой или недоверчивой публике теми немногими, кто действительно являются «зрителями» в собственном смысле слова, т.е. обладают привилегией смотреть и способностью видеть.

Более того, «проверка документов» с очевидностью предполагает, что между собственно «зрителем» и случайными прохожими, окружающими «сцену» или вообще остающимися за стенами и «кулисами» зрительного зала (публикой в собственном смысле слова), поддерживается достаточно сложная и опять-таки асимметричная интеракция: повинность (если угодно – неодолимое желание) окружить «сцену» и уставиться на происходящий там «спектакль» составляет непосредственное или отдаленное следствие безусловной (хотя не обязательно актуальной и физической) зависимости от «супостата», реального и сильного страха, вызываемого в сообществе самой перспективой его появления на «сцене». Напротив, единственной гарантией от ошибочной идентификации «актера» остается опять-таки «зритель», именно поэтому действия, направленные на предупреждение подобного развития событий, зачастую организованы как поединок двух «зрителей»: обвинителя и защитника, впоследствии и в ретроспективе судебного поединка – правого и заблуждавшегося. Как видим, «амплуа», которое мы ранее обозначили термином «зритель», в некотором смысле дублирует эту «широкую» публику, репрезентирует ее желания и

воплощает ее специфические корпоративные интересы, реально или символически совершает те самые действия по отношению к «актору», отмеченному дефицитом легитимности, которыми сообщество только вожделеет потешиться: замочить «супостата» в сортире или освистать и забросать тухлыми яйцами его изображение, совершить донос на всякого, кто вызывает подозрения, или наоборот – увенчать героя лаврами и оставить в покое.

Как мы знаем, историки античного театра обозначили бы эту специфическую функцию «зрителя» по отношению к публике термином «корифей», а специалисты в области наук о поведении (психологи или социологи) назвали бы такого человека «лидером», на обыкновенном русском языке «вожаком»; собственно говоря, «корифей» и является предводителем «хора», т.е. совокупности «актеров», представляющих на сцене сообщество как таковое. Иными словами, в специфическом социальном контексте «проверки документов», т.е. долговременного «кризиса идентичности», сопутствующего войнам, революциям, природным и техногенным катастрофам или другим патологиям «социального порядка», включая массовые неврозы и психозы, безопасность сообщества и, следовательно, перспектива эффективного повседневного «исполнения желаний» обеспечена прежде всего специфической компетенцией «лидера», его прирожденной или достигнутой способностью распознавать «актеров», являющихся потенциальным источником угрозы¹⁰¹, обращать на них внимание публики и формировать консенсус относительно способа их устранения со «сцены», какое бы пространство и время мы так не обозначали.

¹⁰¹ С этой точки зрения истинный прототип драматургии, первоисточник всякого возможного катарсиса – эпоптика убитого или плененного «супостата», аффекты, которые вызывает потенциально опасный человек за решеткой, в оковах или в гробу, мертвое тело врага, показанное на телеэкране, выставленное на площадь для всеобщего обозрения или проплывающее мимо по реке времени, короче – экстерминация «чужака», т.е. необратимое публичное превращение «угрозы» в «жертву», а вовсе не религии преображения и раскаяния, как утверждал Аристотель, или наказания, как полагал Н. Евреинов. См.: *Евреинов Н.Н. Театр и эшафот. К вопросу о происхождении театра как публичного института.* – Мнемозина. Документы и факты из истории русского театра XX века. Вып. 1. М.: ГИТИС, 1996, с. 14–44.

С этой точки зрения архетип «лидера» наиболее адекватно репрезентирован в одном из апокрифов о Винни-Пухе – заглавном герое книги, которая тоже, кстати, выросла из опыта первой мировой войны¹⁰². Там история примерно такая: «Пойдем, – говорит Винни-Пух Пятачку, – я покажу тебе место, где растет много грибов»; Пятачок соглашается и какое-то время следует за Винни-Пухом (т.е. идентифицирует того как «лидера»), после чего вдруг получает, как говорится, «в пятак». «За что?!» – обиженно восклицает Пятачок, на что получает от Винни-Пуха ответ: «Ты вон уже сколько времени идешь молча – наверное, мне не доверишься».

Как можно заметить, в апокрифе о Винни-Пухе и Пятачке, который здесь пересказан, налицо все существенные признаки «лидерства» как интерактивного «формата», в частности: «место», достижение которого обеспечивает исполнение желаний или является их предметом, «народ», т.е. совокупность «актеров», которые находятся в «пограничной» ситуации («хотят, но не могут»), наконец, привилегированный «актер», техническая компетенция и статус которого достаточны для осуществления «перехода», однако не поддаются верификации впрямую, а *prigru*, «на берегу», вследствие чего «народу» приходится время от времени (скажем, раз в четыре года на выборах) подтверждать свою готовность следовать за «лидером».

Конечно, Винни-Пух должен знать или догадаться, чего на самом деле «хочет, но не может» Пятачок, а кроме того – обла-

¹⁰² Этот апокриф (или, если угодно, анекдот) был чрезвычайно популярен на исходе «перестройки», говорят, даже где-то опубликован и вполне наглядно объясняет, почему трансформация жертвоприношений из чисто политической в культурную практику неким существенным образом связана с теми специфическими аффектами, которые сопутствуют похоронам «безвременно ушедшего» лидера: как известно, такие аффекты обычно способствуют формированию мифа о «потерянном рае» и очень похожи на обыкновенный абстинентный синдром или переживание «травмы рождения», на этот раз повторной, тогда как эпитет «безвременно ушедший» недвусмысленно указывает на незавершенность «трансгрессивных» функций лидера (терапевтических, инициатических, инновационных), т.е. на важнейшую контекстуальную предпосылку к формированию мифа о «спасителе», который восстановит изначальную *harmonia mundi*, в данном случае – насытит грибами.

дать ресурсами, необходимыми для исполнения желаний своего партнера (знать, где именно «растет много грибов» и быть в состоянии добраться до соответствующего «места»), однако на практике важнейшим исходным условием «перехода» становится доверие «лидеру», для Пятачка это «вера на слово» всему тому, что Винни-Пух ему говорит. Это, в свою очередь, предполагает, что у Винни-Пуха есть какая-то «харизма», однако и достаточно жесткие санкции в отношении всех тех, кто этого доверия к «лидеру» не испытывает или, тем более, его подрывает, в данном случае неизбежны.

Как видим, в ситуации «перехода» именно такое «слепое», априорное доверие «лидеру» становится фактором социального признания, дифференцирующим участников интеракции на «своих» и «чужих»; это обстоятельство обычно рассматривается как повод для сентенций типа «публика – дура» или, скажем, алиби для вмешательства в электоральный процесс, однако оно же позволяет предположить, что действительно эффективный «лидер» только воспроизводит в своем дискурсе какую-то прирожденную, фундаментальную «матрицу» повседневного действия. В случае с Винни-Пухом и Пятачком это, очевидно, «матрица» отношений между матерью и ребенком, т.е. важнейшая из структур идентичности, первичный и универсальный «формат» всякого возможного социального опыта: именно в этом случае «актером» является существо, пребывающее в «пограничной» ситуации («хочет, но не может»), статус и техническая компетенция «лидера» заведомо достаточны для исполнения любых желаний (благо их немного и они просты), тогда как эффективная интеракция проблематична только в том случае, когда ребенок действительно чужой. По сути дела, эффективный лидер только экстраполирует этот первичный и универсальный «формат» повседневного действия за пределы интеракции между матерью и ребенком, разыгрывая ситуацию «перехода» на экране телевизора, трибуне политического митинга или какой-нибудь другой публичной «сцене», а не в приватном диалоге, как Винни-Пух; речь по-прежнему идет о том, чтобы добраться до «места», гарантирующего исполнение же-

ланий¹⁰³, однако «слепое», априорное доверие «лидеру» в данном случае обеспечивает уже не биологический симбиоз, а различного рода социальные ритуалы и практики, по своему сценарию совпадающие с проявлениями материнской заботы. Более того, этот специфический сценарий повседневного действия сохраняется и в том случае, когда «пограничная» ситуация разыгрывается на внутренних «сценах» сознания – в актах стратегической рефлексии, которая всегда строится как диалог между реальным «актером» и неким виртуальным субъектом, претендующим на функции «лидера»; судя по всему, наиболее архаичной формой такой рефлексии является как раз диалог между субъектом «перехода» и его мертвой (или «безвестно отсутствующей») матерью.

¹⁰³ См.: Walzer M. Exodus and Revolution. N.Y.: Basic Books, 1985. Ту же диалектику «материнства» и «лидерства» вкупе со специфической темой «места, где исполняются желания» нетрудно обнаружить и в фильмах А. Тарковского; это вообще один из лейтмотивов его творчества.

5. Заключительные замечания

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ позволю себе некоторые фрагментарные соображения о структурах диалога, возникающего на внутренних «сценах» сознания в актах стратегической рефлексии; именно эти специфические структуры – по соображениям, которые, надеюсь, ясны из предшествующей аналитики – я и обозначил метафорой «синдром вертепа».

Есть такая точка зрения (которую я всегда разделял), что аутентичная конверсия (обращение к религии) является альтернативой психозу, на ранних этапах развития одна практически неотличима от другого и, следовательно, уместно поставить вопрос о том, какие именно психозы – шизоидные или параноидальные – являются этой альтернативой; быть может, речь должна идти и об альтернативных моделях конверсии. Сам я всегда считал, что состояние конверсии развивается по сценариям параноидального типа (как «одержимость»), однако, скажем, библейская история Авраама вполне успешно диагностируется и как разновидность шизоидного нарратива: действия, совершаемые героем, продиктованы неким «голосом», источник которого с очевидностью расположен за границами актуального перформативного контекста.

Можно, следовательно, сформулировать несколько альтернативных гипотез:

– исходная точка зрения неправомерна, и сходство конверсии с психозом – моя собственная, чисто личная иллюзия, пусть даже весьма распространенная (вполне допускаю, что так оно и есть);

– исходная точка зрения правомерна, однако предполагаемое выше сходство между «моделями успеха», определяющими идентичность верующего человека, и параноидальным дискурсом является чисто внешним, т.е. указывает скорее на специфические обстоятельства всякой возможной конверсии, нежели на ее сродство психозу – проблемная ситуация, полагаемая «явью» в одном случае, считается «навью» в другом;

– исходная точка зрения правомерна, но недостаточна: библейская история Авраама (как, впрочем, и трагедия Гамлета) на самом деле конструируется как диалог между двумя персонажами, «амплуа» которых могут быть идентифицированы, соответственно, как образцы или, быть может, даже прототипы шизоидного и параноидального нарратива (Авраам или Гамлет и их трансцендентные партнеры); в конце концов, каждый, кто имел дело с аутсайдерами, прекрасно понимает, что способность к порождению реальности из партикулярного и спонтанного дискурса или даже непосредственно из внутренней рефлексии – естественная и закономерная перспектива развития всякого возможного девиантного синдрома (по себе знаю).

С этой точки зрения речь с самого начала должна идти о «схизмогенезе» ветвящегося типа: изначальный недифференцированный «трансгрессивный» дискурс («инсайт» или «откровение») в процессе его социализации сначала расщепляется, скажем, на психотический и конвертивный, а затем – на шизоидный и параноидальный (в случае психоза) или – в случае обращения к религии – на дискурс «верного», который взывает о спасении, и «лидера», который это спасение обеспечивает действием или советом: альтернативные «форматы» дискурса взаимно восполняют друг друга¹⁰⁴, порождая (в аналитическом диалоге) какую-то эффективную стратегию интеракции.

¹⁰⁴ Я, разумеется, не хочу сказать, что всякий, кто претендует на статус «лидера» или «терапевта», страдает параноидальным психозом, однако известная степень «одержимости» в данном случае функциональна, неизбежна и достаточно хорошо заметна: без этого нельзя. См.: Хоффер Э. Истинноверующий. Личность, власть и массовые общественные движения. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004; Lasswell Н. Psychopathology and Politics. N.Y.: The Viking Press, 1962.

Можно, кроме того, констатировать некий интегральный тип психотического дискурса, когда параноидальный синдром инкорпорирован в чисто шизоидные нарративы и обнаруживает себя как одна из сторон внутреннего диалога – авторитетный «голос», направляющий повседневную рефлексия и, в конечном итоге, определяющий ее результаты; на ранних стадиях развития и при ремиссиях подобного сорта «метапсихоз» обнаруживает себя главным образом как обыкновенные пост-травматические оговорки «по Фрейду», однако при обострениях или в тяжелой форме это уже классическая «одержимость», заведомо исключающая какой-либо диалог вообще.

Наконец, нельзя не заметить очевидного сходства (быть может, даже сродства) между указанными бифокальными моделями (структурами) дискурса и повседневной интеракцией в сообществах, связанных отношениями непосредственной межличностной зависимости – например, в традиционных («гиноцентрических») семьях, культовых общинах, кланах мафии, в кругу собутыльников и (потенциальных) сексуальных партнеров или в других социальных контекстах, структурированных матрицами «примордиального» типа.

Коротко говоря, каковы бы ни были предпосылки, локальный контекст или актуальное аффективное наполнение подобного рода интеракции, она по необходимости вынуждена сохранять (или успешно имитировать) долговременные «трансгрессивные» функции, т.е. оставаться «вкладом» в осуществление какой-нибудь перманентной «борьбы за...» что-нибудь очень важное: благополучие детей, осуществление революции или избавление от страданий.

Если же такие функции размыты или утрачены (например, вследствие чисто возрастных изменений в компетенции и стереотипах интеракции, характерологических деформаций, обусловленных «эдиповым комплексом», или, наконец, разрастания харитативных функций государства), непосредственная межличностная зависимость с неизбежностью (и достаточно быстро) приобретает психотический характер, т.е. осуществляется как манифестация параноидального синдрома

для одного из участников интеракции и шизоидного – для другого.

У Гоголя есть одна (по крайней мере) сквозная тема: «заколдованное место», территория (участок земли, учреждение, город, страна), в границах которой повседневное достижение успеха заведомо невозможно – не то, чтобы усилия «актера» вообще не дают никакого результата, однако и добиться желаемого посредством заранее продуманных, целенаправленных действий, как правило, (почти) невозможно.

Как можно заметить, упомянутая тема получает разработку не только применительно к пространству, но и ко времени: «заколдованным местом», в границах которого повседневное достижение успеха посредством заранее продуманных и целенаправленных действий невозможно или до крайности затруднено, оказывается сначала ночь перед Рождеством, а затем и (по мере, так сказать, «созревания» темы) биография отдельного человека или даже национальная история целиком.

Такого рода взгляд на пространство и время инкорпорирован практически во все известные нам сегодня мифологии и определяет рациональность литургического календаря самых разных религий – в каждом из них предусмотрена дифференциация «мест» на обыденные («профанические») и сакральные, которая обеспечивается главным образом посредством достаточно существенного обусловливания (у христиан – на период поста и в условиях клаузуры) или даже полного запрета (у ортодоксальных иудеев на шаббат) целенаправленных повседневных действий.

Более того, судя по историческим хроникам или старинным географическим картам, очень похожая структурация времени и пространства вплоть до сравнительно недавнего времени сохранялась и за пределами литургического календаря, определяя не только содержание религиозных ограничений или запретов, но и рациональность повседневного (политического, экономического, приватного) действия: с известными оговорками так называемую «модернизацию» общества вполне можно представить как ограничение сферы «заколдованного», ее идентифика-

цию как предмета мысли, пребывающего за границами актуального дискурса (не важно даже, почему).

По сути дела, различие между атеистом и верующим человеком отчетливее всего проявляется именно в трактовке этого специфического предмета мысли: для одних «заколдованное место» является иллюзией, возникающей вследствие обыкновенного недостатка знаний и навыков или на почве заболевания и потому заведомо устранимой (не случайно в современной повседневной речи «лечить» и «воспитывать» или «просвещать» стали синонимами), тогда как для других – реальность *suī generis*, простейшая и наиболее очевидная манифестация «сил», ограничивающих перспективу успешного действия.

С этой точки зрения характерным примером «модернизации» является формирование представлений о бессознательном как предмете мысли, *ex definitionis* пребывающем за границами актуального дискурса: первоначально Фрейд обнаруживает классическое «заколдованное место», т.е. проблемную ситуацию оговорок, беспокоящих сновидений, влечений или предчувствий, различного рода *quid pro quo* и других «психопатологий обыденной жизни», затем (по мере «созревания» темы) начинает рассматривать подобного сорта феномены как проявление «сил», исходящих из трансцендентного, т.е. неведомого и неконтролируемого, источника, однако очень похожих на те, которые изучаются естественными науками (отсюда склонность к «магнетическим» метафорам или физиотерапевтическим процедурам), и только позднее этот гипотетический источник различного сорта помех, препятствующих повседневному исполнению желаний или заметно его осложняющих, начинает рассматриваться как совокупность автоматизмов, конституирующих некую специфическую модальность самой психики – идентичность, которая обнаруживает себя исключительно в дискурсе отказов, изъятий или замещений, т.е. как некий скрытый в глубинах (на периферии) конкретного сознания вредитель, оппонент или цензор; иными словами, формирование представлений о бессознательном с самого начала предполагает, что бинарная структура дискурса, ранее названная «метапсихо-

зом», отнюдь не является патологическим новообразованием и лишь обнаруживает себя в невротической или психотической симптоматике.

Иными словами, Фрейд с самого начала предполагает, что «психопатологии обыденной жизни» сопряжены со своеобразным раздвоением личности на собственно «я», субъект заранее продуманных целенаправленных действий, и некую комплементарную ему идентичность неопределенной природы, «онтологический статус» которой – является ли она специфическим «актером», автономным по отношению к личности пациента («*dyton*» древних греков и христиан, «тень» новоевропейских романтиков, «оно» перепуганных женщин), или же собственной модальностью психики («бессознательное» современных психоаналитиков), по сути дела, остается проблематичным: нам предлагается уверовать (достаточно часто и более или менее произвольно) либо в действительность какого-нибудь трансцендентного субъекта, либо во всемогущество инструментального разума (науки вообще и психиатрии в частности).

Сам Фрейд умудряется эту дилемму обойти: его изначальный «еврейский» агностицизм вкупе с общей для всех его современников склонностью к «дедуктивному методу» позволили, что называется, пройти по лезвию бритвы между взглядом на «бессознательное» как на трансцендентную реальность и как на совокупность иллюзий больного или невежественного субъекта, вследствие чего и первоначальный психоанализ оказался синкретической трансгрессивной практикой (не случайно современники связывали с его появлением несомненную эмансипативную перспективу), которую с равным основанием можно было рассматривать и как медицинскую или даже политическую технологию, и как специфическую религию, «опиум для образованной публики».

Здесь, пожалуй, самое время признаться, что непосредственным стимулом к размышлениям о взаимообусловленности религиозных и терапевтических практик послужили различного рода собственные «психопатологии», сопряженные с использованием современной бытовой электронной техники – как пра-

вило, достаточно дорогой, избыточно сложной, а главное – обремененной различными «трансгрессивными» смыслами. Как оказалось, повседневная проблемная ситуация, порождаемая компьютером или мобильным телефоном, является настоящим «заколдованным местом», в границах которого достижение любого сколько-нибудь осмысленного результата предполагает достаточно серьезную конфронтацию «пользователя» с устройствами, перманентно и весьма некстати проявляющими инициативу, т.е. действующими как специфический субъект, а не технический артефакт.

Далее, эта инициатива за редчайшими исключениями остается источником помех, блокирующих повседневное действие или существенно его затрудняющих: в условиях, когда компьютер или мобильник становятся «предложением, от которого нельзя отказаться», упомянутый виртуальный «актер», «*dumon*», сокрытый в глубинах сложной бытовой техники, обнаруживает себя в точности таким же образом, что и «бессознательное» у Фрейда – в дискурсе внезапных отказов, опасных изъятий и непрошенных замещений, т.е. как опытный «вертухай», так называемая «нарциссическая личность», пресловутая *femme fatale*, тот же юродивый или избалованный подросток – сначала переадресовывает всю интеракцию на себя (т.е. формирует зависимость), а затем грубо «подставляет» в самый неподходящий момент – развитие событий, ставшее типовым сценарным «паттерном» трагедии (как, впрочем, и фарса), хорошо распознаваемое каждым, кто пережил массовые репрессии, побывал в заложниках или подвергался травле, достаточно тягостное само по себе и попросту убийственное для человека, страдающего пост-травматическими расстройствами психики.

Более того, естественное в таких случаях обращение «пользователя» за помощью, т.е. вовлечение в конфронтацию с компьютером или мобильным телефоном, проявляющим очередную неуместную и непрошеную инициативу, какого-нибудь другого человека (ближнего, случайного знакомого или специально нанятого специалиста), только отодвигает грани-

цы пресловутого «заколдованного места», тем самым дополнительно усугубляя исходную проблемную ситуацию. Как видим, систематическое бытовое использование дорогой и сложной техники очень легко превращается в классический «схизмогенез», т.е. рациональную интеракцию между субъектом преднамеренных действий и какой-то альтернативной идентичностью неопределенной природы («бессознательное», «оно», «*dumon*»), пребывающей за границами инструментального дискурса и вследствие этого приобретающей статус трансцендентного партнера (виртуального или реального – это уже предмет веры).

По сути дела, к подобного сорта интеракции сводится любая процедура, идентифицируемая как «инициатическое испытание» или «ритуал перехода»: как мы хорошо понимаем сегодня, классический античный оракул представляет собой обыкновенный тренировочный снаряд – техническое устройство, позволяющее «пациенту» пережить (под опекой специалиста и в относительно безопасном режиме) конфронтацию с каким-то неведомым, неконтролируемым и заведомо недоступным для наблюдения партнером¹⁰⁵, благодаря чему расширить границы собственного дискурса и таким образом приобрести дополнительные оперативные ресурсы.

Такого же сорта устройством, по-видимому, является и пресловутая «кушетка психоаналитика»: Фрейд, по сути дела, практиковал не столько оригинальную технику воздействия на

¹⁰⁵ Такие мифологемы, как «трикстер», «лабиринт» или «одержимость», указывают как раз на этого привилегированного партнера по инициации, которого только обозначают разными именами и затем камуфлируют расхожими представлениями, будто бы всякая «бездвременная» смерть, даже обычная житейская неудача – следствие действий какого-нибудь «черного человека» или глобального долговременного заговора «темных сил». См.: Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М.: Смысл, 2000; Леруа М. Миф об иезуитах от Беранже до Мишле. М.: ЯСК, 2001; Радин П. Трикстер. Исследование мифологии американских индейцев. СПб.: Евразия, 1999; Шпенгер Я., Институт Г. Молот ведьм. М.: Интербук, 1990; Эриксен Т.Х. Тирания момента: Время в эпоху информации. М.: Весь мир, 2003; Kern H. Through the Labyrinth. Designs and Meanings over 5.000 Years. Munich – L. – N.Y.: Prestel, 2000; Mullaby P. Oedipus: Myth and Complex. A Review of Psychoanalytic Theory. N.Y.: Grove Press, 1955.

организм, альтернативную, скажем, традиционному медикаментозному лечению или обыкновенному массажу, сколько целенаправленную конфронтацию с каким-то трансцендентным субъектом, удивительно похожую на классические ритуалы экзорцизма: «аналитик», владеющий специальными коммуникативными навыками (отчасти известными каждому, кто сталкивался с криминальным миром), провоцирует «бессознательное» сначала к активности, а затем и к эффективному диалогу, в результате которого «дуплон», мучающий данного конкретного «пациента», приводится к покорности или изгоняется вообще.

Я бы не удивился, если бы прототипом этой специфической стратегии и первичным условием обращения к ней оказалась «история Золушки», т.е. ранний и долговременный опыт социальной реальности (семьи прежде всего) как «заколдованного места», источника негативных стимулов или помех, блокирующих рациональную интеракцию – контекст, в котором, собственно говоря, формируются и сами психопатологии обыденной жизни. Отсюда, в частности, экстремальные сценарии индивидуации (инцест, матеревбийство, на крайний случай – бегство прочь из родного дома, «подальше от этой земли», как поется в старой русской песне), укрытые глубоко в подтексте романов Достоевского, фильмов Андрея Тарковского или, собственно говоря, любого другого нарратива, обремененного «эпико-терапевтическими» функциями; во всяком случае, пригнопамятное убийство «старушки-процентщицы», несостоявшееся, к счастью, уничтожение «комнаты, где исполняются желания», специфические ритуальные практики «хлыстов» и «скопцов» или хорошо узнаваемые притязания на «кенозис» в дискурсе Джима Моррисона, Лу Рида и Патти Смит, по сути дела – попытка разрешить ту самую коллизию, которую А.Н. Островский артикулирует в драме «Гроза», практикующие аналитики и консультанты – в любом сколько-нибудь «продвинутом» руководстве по семейной психотерапии, а современное нам телевидение – едва ли не в каждом из выпусков криминальной хроники: эндемичность «гинократии» к расстройствам и патологиям интеракции, блокирующим повседневное исполне-

ние желаний¹⁰⁶. В той или иной степени опыт подобного сорта есть практически у каждого человека, он в достаточной степени травматичен, чтобы сформировать комплекс, легко актуализируется и с неизбежностью проецируется на текущую проблемную ситуацию, вследствие чего вполне может рассматриваться как первоисточник любых «трансгрессивных» практик – терапевтических, политических, религиозных или иных: как всегда – подобное лечится подобным.

Трагедия о Гамлете, принце Датском – по сути дела, такая же демонстрация человека, угодившего на «заколдованное место», как и повествования Кафки, Гоголя или Пелевина: обстоятельство, которое формирует драматургию любой такой истории, предопределяя, в частности, ее специфический исход (гибель «героя» в трагедии, публичное осмеяние в комедии или переход на следующий круг мытарств, как в классической драме – так, во всяком случае, меня когда-то учили), состоит вовсе не в том, что этот «герой» болен, порочен или безнадежно глуп, и даже не в дурных нравах какого-нибудь конкретного сообщества (датского двора, например), но прежде всего в том, что «заколдованное место» конституирует проблемную ситуацию, в границах которой целенаправленное повседневное действие всегда и заведомо терпит неудачу.

При работе со сложными техническими устройствами (компьютером, например), в контексте психоаналитического сеанса или в условиях контролируемого «перехода» подобная проблемная ситуация сохраняет односторонний характер, существует только для «пользователя» или «пациента» и разворачивается главным образом как обучение человека навыкам рационального действия; в истории Гамлета и его дяди Клавдия (как и в одном из рассказов Чехова) та же самая «инициативная» ситуация складывается и разворачивается принципиально иначе – одновременно для двух противостоящих друг другу

¹⁰⁶ Именно такой перформативный контекст античная мифология и современная прикладная математика определяют термином «хаос». См: *Игнатьев А.А.* Хаос: невидимая граница рациональности. – Синий Диван, вып. 2. М.: Три квадрата, 2002, с. 208–220.

партнеров по стратегическому конфликту и как перманентное взаимное усвоение чужих иллюзий (проективных или иных), т.е. как обучение человека навыкам психотического действия, вследствие чего конфронтация между «героями» усиливается, пространство рациональной интеракции сокращается (вплоть до губительной путаницы в финале трагедии), Эльсинор превращается в настоящее «заколдованное место», «вертеп», а трансцендентный «актер», будь то «бессознательное», «тень» или «дуплон», приобретает интерсубъективный характер, т.е. становится самостоятельным участником интриги – авторитетным «голосом», провоцирующим или диктующим реальное развитие событий.

Тут, конечно, возможны различные направления аналитики, однако начинать следует, по-видимому, с фигуры Клавдия – в конечном итоге, это его действия (обстоятельства восшествия на трон и женитьбы на вдове старого короля) становятся предметом расследования, которое предпринимает Гамлет, и таким образом инициируют специфическую проблемную ситуацию трагедии.

Есть традиционный, устоявшийся – как на театре, так и в аналитике – взгляд на эту фигуру: убийца брата, узурпатор престола, соблазнитель благородной и несчастной вдовы, короче – образцовый отрицательный герой сериала «мама вышла замуж», мерзавец, претендующий на чужое и претерпевающий заслуженную кару (естественно, от представителей следующего – амбициозного, «продвинутого», деятельного – поколения). Такой взгляд, однако, не слишком хорошо согласуется со свидетельствами самой трагедии – о преступлении Клавдия мы знаем исключительно с чужих слов, более того – источник информации в данном случае сомнителен даже для самого Гамлета: именно поэтому он воздерживается от немедленной мести, которой требовал призрак, и предпринимает собственную (достаточно трудоемкую и рискованную) попытку установить, как оно было на самом деле.

Уже здесь можно констатировать, что в своей оценке проблемной ситуации, сложившейся к его появлению при датском

дворе, Гамлет колеблется: на его месте какой-нибудь другой человек, менее подозрительный и осторожный, либо сразу же поверил бы призраку, убил Клавдия и занял бы трон (как Телемак в «Одиссее»), либо отверг бы инсинуации, исходящие из неведомого и достаточно сомнительного источника, принял бы замужество матери как должное и с комфортом устроился бы в предлагаемых ему обстоятельствах. Гамлет, напротив, не доверяет ни собственным подозрениям, ни заявлениям авторитетных оппонентов, ни вообще повседневной социальной «рутинe», о чем, собственно говоря, и размышляет в своем знаменитом монологе; отметим, кстати, что у Шекспира трагедия начинается с запрещения доверять кому бы то ни было («не говори никому и отомсти»), а заканчивается его инверсией: «не мсти и Расскажи всем».

Если теперь вернуться к расследованию, которое предпринимает Гамлет, но уже с поправкой на его собственную позицию в стратегическом конфликте, определяющем развитие исходной проблемной ситуации «заколдованного места», то становится очевидно, что Клавдий, конечно же, никого не убивал: у каждого человека есть свой характерный «хабитус», т.е. устойчивая повседневная манера «решать вопросы», есть она и у наших героев – как мы знаем, по ходу трагедии Клавдий дважды предпринимает попытку умышленного убийства, однако оба раза он планирует сделать это чужими руками и так, чтобы обеспечить себе бесспорное алиби (в том числе моральное), а подобная привычная стратегия целедостижения, безусловно, исключает собственноручное вливание яда в ухо жертвы, тем более в обстановке, когда существует нешуточный риск быть застигнутым врасплох или попасться на глаза какому-нибудь до сужему свидетелю.

В данном случае можно, конечно, предположить «убийство в состоянии аффекта», однако такое предположение оставляет открытыми два очень важных вопроса – о событии, которое вывело Клавдия из равновесия или вынудило к немедленным действиям (оно, безусловно, должно было быть крайне важным), и о соображениях, побудивших Шекспира о нем умолчать; по-

сколько же на оба эти вопроса трагедия ответа не дает, в дальнейшем приходится считать, что Клавдий не был непосредственным исполнителем преступления, которое ему вменяет Гамлет (а вслед за ним и традиция европейского театра).

Отсюда, конечно, не следует что Клавдий вовсе неповинен – он, судя по всему, злоумышлял на брата, вынашивал какие-то конкретные планы его отстранения от власти и даже, не исключено, обсуждал эти планы с доверенными лицами (тем же Полонием, например), однако официальная версия смерти старого короля, скорее всего, правдива: тот действительно умер от укуса змеи (клеща, комара, какой-нибудь другой вредной твари), случившегося в дворцовом саду во время послеобеденного отдыха – только в этом случае у Клавдия есть основания полагать, будто его грех («кровь брата») может быть прощен (разумеется, при условии отказа от «женщины и короны»). Тем не менее, безвременная (пусть и вполне естественная) смерть старого короля поставила Клавдия в положение, ничуть не менее тягостное, нежели то, в котором бы он оказался, если бы и в самом деле был убийцей своего брата: как понимает каждый, кто знаком с нравами придворного сообщества (или, по крайней мере, внимательно читал Сухово-Кобылина и Кафку), в подобной проблемной ситуации просто нет шансов «отмазаться» от подозрений в преступном захвате власти, злом умысле и «двойной игре», вследствие чего остается только дожидаться партнера по стратегическому конфликту – кого-нибудь, кто намерен или хотя бы способен претендовать на корону и трон.

Иными словами, у Клавдия просто не остается перспективы обеспечить легитимность собственному пребыванию у власти: подобного сорта подозрения (в «двойной игре» или злом умысле), как правило, являются следствием (и свидетельством) априорного личного недоверия человеку, а вовсе не сомнительности аргументов, которые тот приводит в свою защиту, поэтому и вопрос о том, виновен ли Клавдий в убийстве своего брата или оказался жертвой несчастного стечения обстоятельств (вообще говоря, текст Шекспира допускает обе эти версии), на самом деле принципиального значения не имеет – какой-нибудь «отмо-

розок», поддавшийся соблазну узурпировать трон и корону, найдется всегда, и другого способа отстоять политическое *status quo* помимо перманентного насильственного устранения соперников (пусть даже виртуальных) в подобной проблемной ситуации нет; как теперь говорят, «мужик попал».

Судя по всему, к подобному развитию событий Клавдий готов, однако для Гамлета он вынужден сделать исключение – это единственный (и, безусловно, обожаемый) сынок его царственной подруги, счастливый семейный союз со вдовой предшественника в данном случае, очевидно, является условием *sine qua non* благополучного пребывания у власти, поэтому Клавдию поневоле приходится «налаживать отношения» с Гамлетом, обращать его в своего союзника или, по крайней мере, в лояльного партнера: по сути дела, Клавдий является заложником той специфической проблемной ситуации, которая сложилась после и вследствие смерти старого короля, появление Гамлета при датском дворе ее только усугубляет, превращает ее в классический образец «двойной повязки» и тем вообще исключает (для Клавдия) перспективу удержания власти.

Как видим, в оценке исходной проблемной ситуации при датском дворе Клавдий колеблется ничуть не в меньшей степени, нежели Гамлет: какой-нибудь другой человек, более жесткий, решительный или безрассудный, нежели Клавдий, либо избавился бы от племянника при первом же подозрении в реальном притязании на власть и соперничестве (как, собственно, и рекомендует поступать Никколо М. в своем знаменитом руководстве для начинающего узурпатора власти), либо дезавуировал бы эти притязания как очевидное и заведомо неуместное проявление юношеского нарциссизма, устойчивого абстинентного синдрома, перверсивного сексуального влечения или какого-нибудь другого столь же сомнительного аффекта, однако Клавдий опять-таки не доверяет ни преданной супруге или (тем более) другим партнерам из «местных», ни вообще «глупой очевидности» собственного пребывания у власти, вследствие чего действует как человек, травмированный внутренним конфликтом – демонстрирует признаки фрустрации, беспрестанно

меняет намерения, медлит с принятием решений или допускает нелепые промахи.

Есть еще одно обстоятельство, вследствие которого конфликт между Гамлетом и Клавдием (каковы бы ни были его предмет или истинные мотивы) не может разрешиться ни решительными и жесткими действиями любой из сторон (превращающими трагедию в боевик или даже эпизод криминальной хроники), ни каким-нибудь долговременным соглашением – например, о перспективах престолонаследия или условиях текущего раздела власти: те политические культуры, носителями которых являются наши претенденты на трон и корону, предполагают совершенно разные, а главное – несоизмеримые друг с другом парадигмы наследования власти.

Как нетрудно заметить, Клавдий является носителем исконной скандинавской политической культуры, в границах которой власть всегда и повсюду принадлежит старшему в роду, т.е. после смерти (или отречения) старого короля трон и корона должны (в порядке очереди) перейти его младшему брату, а вовсе не сыну; на эту средневековую норму, хорошо известную из истории самых разных европейских наций и остававшуюся отчасти валидной вплоть до середины минувшего века, дополнительно накладывается еще более архаичный обычай, согласно которому власть и ее атрибуты переходят к новому мужу вдовы прежнего властителя (или ее фавориту, как при Елизавете I и Екатерине II); коротко говоря, историческая традиция – как, впрочем, и актуальные политические иллюзии времен Шекспира – позволяют Клавдию считать законным претендентом на трон и корону именно себя.

Гамлет, напротив, является студентом одного из наиболее престижных европейских университетов и, судя по всему, разделяет идеологию, согласно которой власть всегда и повсюду должна принадлежать тем, кто ее наиболее достоин – критерий, которому дядя Клавдий (в отличие от своего старшего брата) явно не соответствует; на эту меритократическую норму, хорошо известную из современных предвыборных агиток и когда-то сложившуюся как раз в кругу лично свободных образованных космополитов (таких, как сам Гамлет или его однокашник Гора-

цио), дополнительно накладывается вечноживой политический обычай аристократии, согласно которому титул и собственность наследуют дети их предыдущего обладателя, в первую очередь сыновья; как видим, в границах более «продвинутой», нежели исконная скандинавская, политической культуры пребывание Клавдия у власти является ее узурпацией.

Если теперь предположить, что каждый из наших героев, не будучи ни целеустремленным и жестким администратором, ни искусным дипломатом (т.е. не обладая достоинствами, позволяющими рассматривать конфликт как сугубо техническую проблему), осознает (или хотя бы чувствует) проблематичность собственной политической культуры (ее несвоевременность в одном случае и неуместность в другом), то становится понятным, почему проблемная ситуация, сложившаяся при датском дворе (каковы бы ни были причины ее возникновения), сравнительно быстро превращается в перманентное взаимное *quid pro quo* – классическое «заколдованное место», в границах которого любые достижения или «проколы» остаются случайными событиями.

Такое неуправляемое развитие событий, в перспективе чреватое смертельным исходом и весьма характерное для периодов исторического «транзита» культуры, а также ее топографической или социальной «периферии», т.е. специфической «зоны» в пространстве и времени, где, в частности, подвизаются Кармен и ее поклонники или происходит роковая встреча с призраком, нередко обозначают греческим словом «кризис» или его русским эквивалентом «судьба» и рассматривают как «отглагольную» проблемную ситуацию, аналогичную средневековым ордалиям: классическая античная драматургия изначально¹⁰⁷, собственно

¹⁰⁷ Павленко А. Теория и театр. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. Тут самое место напомнить, что некоторые диалоги «Гамлета» содержат отрывочный и лаконичный, однако вполне читаемый астрологический комментарий к событиям трагедии (например, к моменту времени, когда появляется Призрак); совместно с Н.Ю. Маркиной мы даже однажды не без успеха попытались рассматривать эти события как инсценировку гороскопа, предполагающего Венеру в Рыбах и Юпитер в изгнании («судьбу» какого-то конкретного «актера»), однако соответствующая публикация, к сожалению, так и не была подготовлена. Между тем, стоило бы исследовать и более общую гипотезу о трагедиях Шекспира как инсценировках астрологического прогноза («гороскопа»), построенного для вполне конкретных персон.

говоря, и представляла собой инсценировку разбирательства, предметом которого является какой-нибудь актуальный «казус», т.е. заведомо неразрешимый конфликт.

Как известно, обращение к институту ордалий («суда Божия») практиковалось в тех «казуистических» случаях, когда действующее право или парадигма его применения не позволяют рассудить какой-либо актуальный конфликт – в подобных ситуациях стороны конфликта подвергались испытанию¹⁰⁸, в равной степени чреватому смертельным исходом, и оставшийся в живых считался правым, а погибший – виноватым (примером здесь может служить разрешение конфликта по жребию, по сей день практикуемое в криминальной, спортивной или армейской среде); по существу, специфическая проблемная ситуация трагедии, прежде всего – характерное для этого литературного или сценического жанра непредсказуемое, неуправляемое и чреватое смертельным исходом развитие событий вполне может рассматриваться как разновидность пресловутой «русской рулетки» или классической дуэли.

С этой точки зрения судебный процесс отличается от собственно трагедии (или психотерапевтического сеанса) не столько предметом или сценарием разбирательства, сколько его функциями: в первом случае они состоят в том, чтобы уличить индивида, ответственного за конкретное и заранее известное преступное действие (конструкция, определяющая специфику классического детектива или полицейского романа), во втором – наоборот, распознать преступное (сомнительное, ошибочное) действие, совершенное каким-нибудь вымышленным персонажем или реальным лицом; соответственно, в первом случае эпоптика мертвого тела («куклы») предшествует разбирательству и определяет его завязку, позволяя зрителю (читателю) убедиться, что событие преступления действительно имело место, а во втором – завершает разбирательство в качестве его развяз-

¹⁰⁸ *Radding Ch.M.* Superstition to Science: Nature, Fortune, and the Passing of the Medieval Ordeal. – *The American Historical Review*, vol. 84, N 4 (October 1979), p. 945–969.

ки, предлагая «почтеннейшей публике» единственное свидетельство вины, которое невозможно оспорить.

Иными словами, трагедия вполне может рассматриваться в одном ряду с античным оракулом, кушеткой психоаналитика или обычной имитационной моделью – как техническое устройство, позволяющее зрителю (читателю) пережить (под опекой специалиста и в относительно безопасном режиме) настоящее инициатическое испытание – долговременное аффективное погружение в проблемную ситуацию абсурда, бессилия, преследования, пугающих встреч, оговорок, видений и голосов, словом – латентного и вялотекущего психоза, избавление от которого (пресловутые «катарсис» или «просветление») предполагает нешуточное расширение границ собственного дискурса – конверсию или овладение дополнительными навыками рефлексии.

В таком контексте, скажем, городского нищего вполне можно рассматривать как фигуру, комплементарную так называемому «простаку» и очень похожую на юродивого или инквизитора, точнее – на их отражение в каком-нибудь волшебном зеркале, позаимствованном у Дэвида Линча: в любой из интерактивных ситуаций, связанных с подобными социальными «амплуа», предполагается расщепление интеракции на собственно дискурс и данные наблюдений (в частности, непосредственный телесный опыт), однако «простак» становится жертвой своей неспособностью это расщепление обнаружить и осознать, нищий (подобно невротiku) стремится его камуфлировать, используя классический «трансгрессивный» дискурс и различного рода эвфемизмы, тогда как юродивый или инквизитор, напротив – обнаружить и продемонстрировать публике. Впрочем, развитие событий, типовое для инициатических практик, все эти перформативные «амплуа» или сценарии объединяет – основной персонаж (ритуальное воплощение трикстера) сначала появляется на «сцене» как нищий и в его облике, провоцируя своих партнеров по интеракции на действия, которые продиктованы неким опасным заблуждением, и таким образом подвергая испытанию их добродетель (коллизия, которую нетрудно встретить в средневековых «моралитэ», в романах А. Дюма «Граф Монте-Кристо» и

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», в заключительных песнях «Одиссеи» и даже в текстах Нового Завета, отсюда пресловутое «блаженны уверовавшие, невзирая на...»), а затем – подобно юродивому, инквизитору или опытному психотерапевту – наглядно демонстрирует, называет «своими именами» и примерно наказывает порок, следствием которого такое заблуждение является.

В свою очередь, история Эдипа, если ее рассматривать как предмет непредвзятой аналитики данных, а не повод для проекций и домыслов (примерно так, как это делает К. Леви-Стросс в своей хрестоматийной статье о структуре мифа), прежде всего поражает своей несообразностью в чисто правовом плане: Эдип не знал, кто он такой, и потому не мог знать, что убивает отца или сожительствует с матерью, а значит – виновен самое большее в том, что по неосторожности и юношеской горячности превысил пределы необходимой обороны (в советское время – от силы лет пять колонии общего режима); более того, это именно Лай со своей женой Иокастой сделали все возможное, чтобы их сын вырос, не зная родителей, это они инициировали развитие событий, которое в конечном итоге обернулось гибелью одного и позором другой, и, следовательно, Эдип в данном случае должен рассматриваться как жертва неблагоприятного стечения обстоятельств («судьбы»), т.е. герой «жесточкого романа», а вовсе не субъект преступления.

Судя по всему, древние греки именно так и считали: по их понятиям, Эдип не совершил никакого преступления в собственном смысле слова (так, во всяком случае, считает Р. Грейвз), в обществе, где доминирует «материнская» семья, поединок с обладателем короны и трона, а затем (в случае победы) женитьба на его вдове (как дядя Клавдий) или дочери (как Тезей) являются вполне законной или, по крайней мере – заведомо допустимой практикой борьбы за повседневное социальное признание («карьеру»), т.е. Эдип действовал именно так, как предписывала исконная местная традиция и обычай, тогда как легитимность его пребывания у власти оказалась поставлена под вопрос только в прагматическом контексте (чума, обращение к оракулу), напоминающем скорее «суд Божий», нежели какой-нибудь современный «импичмент»

или обычное уголовное расследование – обстоятельство, которое, собственно говоря, и конституирует историю Эдипа как мытарства человека, «попавшего в переплет», иными словами – трагедию, а не нравственное поучение или репортаж из зала суда.

Как видим, прагматическая функция разбирательства, принимаемого на театральных подмостках (каковым, по сути дела, является любая трагедия, будь то история Гамлета, Фауста или Эдипа) заключается вовсе не в том, чтобы продемонстрировать «почтеннейшей публике» какую-нибудь актуальную норму права или морали, убедительное и хорошо различимое свидетельство ее повседневной валидности, как это делают криминальная и «мещанская» драма или современная «медиаальная» хроника – предполагается, что читателю (зрителю, слушателю) эта норма хорошо известна заранее, вследствие чего очевидна и невозможность ее соблюдения в некоторых специфических ситуациях, т.е. существование (или принципиальная возможность) парадоксов, ограничивающих время, пространство и перспективу рациональной интеракции – достижение той самой цели, которую ставит перед собой Эдип, отправляясь в странствия, или Фауст, заключая свое роковое соглашение.

Иными словами, инцест и отцеубийство в данном случае, безусловно, являются непосредственными свидетельствами «судьбы», уготованной Эдипу, а вовсе не причиной его злоключений, т.е. следствиями перверсивного влечения (как считал Фрейд) или, тем более, преднамеренными действиями; и такая «судьба» уготована Эдипу вовсе не потому, что он глуп, немощен или уродлив, убил отца, сожительствует с матерью или имеет подозрительные контакты со Сфинкс: это все классические и наиболее внятные «несчастные случаи», т.е. симптоматика *hybris*, «одержимости», «скверны», глубокого аффективного погружения в перформативный контекст, сложившийся, судя по всему, задолго до появления Эдипа на свет – как известно, все началось с обращения Лая к оракулу, а такие действия «просто так» не предпринимаются, уже должен был существовать какой-то заведомо неразрешимый конфликт, почти навверное династический – скорее всего, отец Эдипа

и его мать Июкаста или какие-нибудь более отдаленные предки, вступая в брак, нарушили правила экзогамии.

В «Гамлете» таким же точно *quid pro quo*, трансформирующим Эльсинор в классическое «заколдованное место», «вертеп», а достаточно тривиальный политический или даже семейный конфликт – в поединок с «трансцендентным субъектом», очевидно, становятся опять-таки неуместные и неадекватные (в данном перформативном контексте) притязания заглавного героя на «успех», в данном случае – на интимную близость или даже брак с Офелией, судя по всему – его незаконнорожденной единокровной сестрой: именно с ее самоубийства начинаются «несчастья», т.е. неуправляемое и фатальное развитие событий (не случайно же мертвая Офелия так похожа на горгону Медузу).

* * *

Post-scriptum. Из текста книги, надеюсь, понятно, что мое отношение к «медиаобществу» продиктовано главным образом его очевидными (особенно в ситуациях предвыборного кастинга) и весьма настойчивыми притязаниями на эксклюзивную и самодостаточную компетенцию, т.е. «непогрешимость *ex cathedra*», то самое «заколдованное место», которое в менее «продвинутых» социальных контекстах занимает аристократия, пресловутая «номенклатура» или какие-нибудь другие суррогаты «избранного народа» с их фатальным «раз мы так считаем – значит, так и есть»; за это ли, читатель, мы сражались на баррикадах? Книгу, очевидно, можно было (даже стоило) бы дополнить, исследуя такие феномены, как эпоптика мертвого тела в «пост-кризисных» сообществах и ее институциональные дериваты (включая мифологемы «жертвоприношения», «завещания» и «мавзолея»), так называемая «теократия экзорцизма» с ее специфическими перформативными «амплуа» и перспективами («инквизитор», «юродивый», «трикстер»), наконец, 144-летний цикл социальной динамики, объемлющий все возможные комбинации «проектов», «лидерств» и «элит»; насколько можно судить, указанный цикл

сохраняет обычную трехчастную структуру, т.е. моделирует некую долговременную инновацию, «критические точки» которой разделены интервалами в 48 лет (модернизацию, коммунистическое движение или современное «большое» искусство нетрудно представить как «мегапроекты», инициация которых состоялась на рубеже 1864/65 года, обскурация наступает на рубеже 1960/61 года, а кульминация достигнута на рубеже 1912/13 года, тогда как формирование различных «постколониальных» идентичностей и практик сдвинуто во времени по отношению к этому «паттерну» на треть цикла, что проливает некоторый свет на интеракцию между «метрополиями» культуры и ее географической или социальной «периферией»). Тем, кто мои замечания о «гиноκραтии» прочтет как свидетельство личной неприязни или, того хуже, гендерной фобии, я бы предложил освежить в памяти всем нам хорошо известный новозаветный комментарий к подобного рода тенденциям (Откр 17 1–8, 15–17; 18; 19 2), внимательно изучить (можно даже по репродукции) картину Питера Брейгеля Старшего «Безумная Грета», на крайний случай – поразмыслить, как именно на практике выглядит ритуальная и бытовая иерофания «хозяйки мертвых», будь то темноликая Кали в окружении деток-душителей, лунное божество Артемиды – защитница животных и предводительница «дикой охоты» или недотрога-Офелия с ее бесконечными танцами и змеями вместо волос. Наконец, судя по предварительным отзывам, моё исследование интересно главным образом тем немногим (без различия пола, возраста, дохода и рода занятий), кто имеет привычку сначала подумать, а уже потом только действовать, т.е. ценит достоинство, которое в англоязычных культурах маркировано термином *intelligence*, более того – оно адресовано эфемерным и отчасти даже выдуманым сообществам, представители которых – подобно человеку, блуждающему в лабиринте или очнувшемуся после долгого беспомощства – озабочены прежде всего вопросом «где я?», т.е. идентификацией своего места в транзитивных социальных контекстах; прочим не стоило беспокоиться.

Приложения



А. Статус, продуктивность и профессиональная карьера

В СЕРИИ СТАТЕЙ, аналитика которых предлагается в данном обзоре¹, группа американских социологов, работающих в различных университетах США, излагает и анализирует результаты эмпирического исследования, посвященного взаимосвязи между продуктивностью и социальным статусом ученых – двумя

¹ В «Приложение А» вынесен аналитический обзор, в свое время подготовленный автором для ИНИОН АН СССР по материалам одной из дискуссий, посвященных влиянию различного рода факторов, объединяемых термином «социальное признание», на успех или неудачу академической карьеры. Под «продуктивностью» в данном случае понимаются различные (в том числе количественные) показатели «успеха», принятые в научном сообществе; нужно ли пояснять, что для специалиста «публикация» означает появление на публичной «сцене», без которого сделать успешную карьеру невозможно вообще, а «ссылка» является классическим «вознаграждением», т.е. свидетельством того, что социальное признание состоялось – таким же, как пресловутые «продажи», голоса «за» или аплодисменты? В данном случае речь идет об ученых, однако простые соображения показывают, что демонстрируемые здесь зависимости вполне могут экстраполированы на любые другие перформативные контексты или категории «акторов»: по-видимому, так называемый «закон Лотки» остается справедлив вообще для любого перформативного контекста, в границах которого событие «успеха» сопряжено с появлением «актора» на какой-то публичной «сцене», т.е. с превращением в объект идентификации и надзора. Для социолога эта дискуссия сохраняет главным образом исторический интерес, однако она очень хорошо демонстрирует справедливость постулата, составляющего основание «хроноскопа» как совокупности моделей системной динамики: событие «успеха» является прежде всего (если не исключительно) функцией актуального социального статуса, т.е. обусловлено позицией действующего субъекта («актора») в соответствующем перформативном контексте (астрологи только добавляют, что эта функция является циклической, а не линейной). См.: *Иванова Т.П., Игнатьев А.А.* (ред.). Проблемы эффективности труда ученых. М.: ИНИОН АН СССР, 1987; *Игнатьев А.А., Коротаев А.С., Урманчиев М.А.* (ред.). Роль коммуникаций в распространении научно-технических достижений. М.: ИНИОН АН СССР, 1988.

ключевыми переменными, определяющими их профессиональную карьеру. Цель исследования состояла в обосновании теоретической концепции, согласно которой продуктивность ученых определяется преимущественно степенью их социализации как представителей определенного профессионального сообщества, тогда как индивидуальные различия в способностях или мотивации проявляются уже внутри установленных таким образом ограничений.

В первой из реферируемых статей², подготовленной Дж. С. Лонгом, сотрудником университета штата Вашингтон, указанная взаимосвязь анализируется применительно к специалистам, занятым в академическом секторе, т.е. занимающим профессорские должности в университете. Исходную выборку составили две группы биохимиков – мужчин, получивших ученую степень (имеется в виду степень Ph.D., приблизительно соответствующая кандидату наук) в 1957–58 и 1962–63 годах, их профессиональное продвижение наблюдалось на протяжении 10 лет с момента присвоения им ученой степени и, соответственно, их вступления на рынок рабочей силы в качестве квалифицированных специалистов. Первая из обследованных подвыборок включала 134 специалиста, сохранивших место найма неизменным (одна и та же кафедра одного и того же факультета) на протяжении всего периода наблюдения, вторая – 47 специалистов, сменивших место найма не менее чем через 3 года после занятия должности и по крайней мере за 4 года до окончания наблюдения. Те специалисты, кто перешел на административную работу или в промышленность, из исходной выборки были исключены.

Данные о профессиональной карьере биохимиков, включенных в исходную выборку, были получены из справочника «American Men and Women in Science», для оценки текущего социального статуса отдельных специалистов использовался сложный индекс, определявшийся на основании данных о пре-

² Long J.S. Productivity and academic position in the scientific career. – Amer. Sociol. Rev., N.Y., 1978, vol. 43, N 6, p. 889–908.

стиже факультетов, где они работают, а также численности занятого здесь контингента преподавателей. Текущая продуктивность специалистов оценивалась по числу работ, опубликованных ими в предшествующие три года (для поиска публикаций использовался реферативный журнал «Chemical Abstracts» за 1955–73 годы), а также с помощью сложного индекса, учитывающего уровень цитируемости этих работ (способ определения значений индекса детально охарактеризован в специальном приложении к статье). В качестве показателей, характеризующих начальный социальный статус, рассматривались: престиж факультета, присвоившего ученую степень, статус руководителя его диссертационной работы (определялся по данным о цитировании соответствующих публикаций), наличие или отсутствие публикаций, подготовленных совместно с руководителем диссертационной работы в период ее выполнения, а также престиж учебного заведения, которое он закончил¹. На основании полученных таким образом первичных эмпирических данных были построены уравнения регрессии и при их посредстве исследованы зависимости между измерявшимися переменными.

Первая группа полученных Дж. С. Лонгом уравнений регрессии характеризует зависимость между рангом академической должности, полученной специалистом непосредственно при его вступлении на рынок рабочей силы, его продуктивностью и его начальным социальным статусом, достигнутым в период специальной подготовки (табл. 1, с. 892). Из этих уравнений видно, что в период непосредственно после получения начальной академической должности зависимость между показателями текущего социального статуса 134 биохимиков, сохранивших место найма неизменным, и их продуктивностью оказалась весьма слабой и статистически незначимой, тогда как зависимость тех же переменных от показателей начального социально-

¹ Престиж факультета или учебного заведения оценивался по указателям Роуза – Андерсена и Картера с ранжированием от 500 до 100. См.: *Roose K.D., Andersen Ch.J. A rating of graduate programs. Wash., D.C.: Amer. Council of Education, 1970; Carter A.M. An assessment of quality in graduate education. Wash., D.C.: Amer. Council of Education, 1966.*

го статуса – сильной, положительной и статистически значимой. Напротив, спустя 6 лет после получения академической должности зависимость между показателями текущего социального статуса и продуктивностью становится не только достаточно выраженной, но и статистически наиболее значимой.

Кроме того, зависимость между показателями текущего социального статуса и продуктивности сохраняет сходный характер и для тех 47 биохимиков, кто изменил место найма за период наблюдения (табл. 2, с. 896). Сразу же после перехода (в среднем через 7,6 лет после присуждения ученой степени) ранг новой должности умеренно зависел от ранга предыдущей и практически не коррелировал с продуктивностью. Это, по мнению Дж. С. Лонга, показывает, что «механизм, посредством которого осуществляется изменение места найма, отличается от того, который определяет начальное размещение ученых». Спустя 3 года после изменения места найма, соответственно, уровень продуктивности вновь оказывает значимое влияние на переменные, характеризующие профессиональное продвижение специалистов (эффект, который отмечен и в более ранних исследованиях других социологов).

Вторая группа уравнений регрессии, приводимых в реферируемой статье, характеризует продуктивность специалистов как функцию показателей их профессионального продвижения и начального социального статуса (табл. 3, с. 897). Для 134 биохимиков, не изменивших место найма, 3 года спустя после получения должности значимыми переменными оказались исключительно престиж руководителя диссертационной работы и наличие или отсутствие непосредственного сотрудничества с ним. Напротив, спустя 6 лет после вступления в должность влияние указанных переменных существенно ослабело, а влияние переменной, характеризующей престиж места найма, стало выраженным, положительным и статистически значимым (одновременно возросла зависимость от престижа факультета, присвоившего ученую степень). Более того, эта зависимость оказалась инвариантной к способу, каким оценивалась продуктивность специалистов (посредством подсчета публикаций или

оценки цитируемости) и сохранялась даже после учета влияния различий в количестве ранних (т.е. подготовленных в период выполнения диссертационной работы) публикаций.

Для 47 биохимиков, изменивших место найма, зависимость показателей, характеризующих профессиональное продвижение, от переменной, характеризующей престиж места найма, изменялась сходным образом (табл. 4, с. 898). В момент перехода престиж предыдущего места найма оказался единственной значимой переменной; тогда как зависимость между престижем нового места найма и продуктивностью оказалась пренебрежимо малой. Напротив, спустя 4 года после изменения места найма влияние его престижа на продуктивность специалистов возрастает до статистически значимой величины, тогда как влияние других переменных существенно уменьшается.

Анализ полученных эмпирических данных приводит Дж. С. Лонга к заключению, что неодинаковая текущая продуктивность специалистов отнюдь не является фактором, обуславливающим их неравенство в профессиональном продвижении, особенно на начальных стадиях карьеры. «Ни число работ, опубликованных биохимиком, ни число полученных им ссылок не оказывают значимого влияния на престиж его начальной академической должности». Напротив⁴, именно неравенство в начальном социальном статусе биохимиков, складывающееся еще в период специальной подготовки, обуславливает их неодинаковую текущую продуктивность, которая уже соответствующим образом сказывается на возможностях их профессионального продвижения.

Этот вывод, очевидно, противоречит широко распространенному убеждению, что профессиональное продвижение специалиста в основном определяется количеством и качеством полученных им результатов, однако хорошо согласуется с одной из теоретических концепций, развиваемых современной социологией науки. Ранее Дж. Р. Коул и С. Коул уже показали, что в профессиональных сообществах специалистов накопление со-

⁴ Long J.S. Op. cit., p. 896–897.

циального статуса сопровождается значительными и устойчивыми отклонениями от указанного принципа; принадлежность к более высокой статусной категории обычно сопряжена с заметно более успешной карьерой даже при заведомо равной профессиональной компетенции⁵. Такого рода эффекты, обозначаемые посредством рабочего термина *accumulative advantage* («накопленное преимущество»), принято объяснять различиями в степени социализации, т.е. овладения нормами и стратегиями действия, принятыми в соответствующем профессиональном сообществе: индивиды с более высоким уровнем социализации располагают заведомо более широкими возможностями для участия в производстве или утилизации знания, вследствие чего оказываются в более благоприятных условиях для достижения высокого социального статуса⁶. По существу, Дж. С. Лонг формулирует одно из следствий указанной теоретической концепции: профессиональное продвижение специалиста определяет не только достигнутый им социальный статус, но и «начальное решение о найме, основанное на сведениях о том, где и кого он учился».

Хотя такая более сильная формулировка тезиса о преимуществах в достижении профессионального признания, накапливаемых специалистами по мере повышения их социального статуса, хорошо согласуется с современными воззрениями на стратификацию в научных сообществах, она непосредственно не следует из приведенных до сих пор эмпирических данных. В самом деле, наличие существенной взаимосвязи между рангом руководителя диссертационной работы или престижем факультета, присвоившего специалисту ученую степень, и престижем его начального места найма далеко не обязательно свидетельствует о том, что именно различия в социальном статусе являются основанием для дифференциации кандидатов на должность. Не менее правдоподобным выглядит предположение, что ранг

⁵ См.: Cole J.R., Cole St. *Social Stratification in Science*. Chcgo: Univ. Chcgo Press, 1973.

⁶ См.: Reskin B.F. *Scientific Productivity and the Reward Structure of Science*. – Amer. Sociol. Rev., N.Y., 1977, vol. 42, N 3, p. 491–504.

руководителя диссертационной работы, равно как и престиж факультета, присвоившего ученую степень, являются показателями, которые характеризуют личную компетенцию специалиста, т.е. опосредствованным образом свидетельствуют о его индивидуальных творческих способностях, подготовке и мотивации. Между тем, приведенные до сих пор эмпирические данные не содержат сколько-нибудь бесспорных свидетельств в пользу какого-либо из указанных предположений, вследствие чего исходная гипотеза об определяющем влиянии различий в социальном статусе на продуктивность нуждается в более тщательном обосновании.

Эта задача поставлена и отчасти решается во второй из реферируемых статей⁷, подготовленной Дж. С. Лонгом совместно с американскими социологами П.Д. Эллисоном и Р. Макгиннисом, работающими в Корнельском университете. Прежде всего, авторы отмечают не только наличие достаточно сильной взаимосвязи между текущим социальным статусом и вероятностью будущего найма в престижном научном учреждении⁸, но и ее долговременный характер, т.е. способность сохраняться на протяжении длительных интервалов наблюдения (свыше 25 лет). Далее, ими приводятся убедительные свидетельства весьма существенной взаимосвязи между вероятностью найма в престижном научном учреждении и престижем начального места найма (к их числу относится заметно более низкая, чем в других группах наемного персонала, горизонтальная мобильность специалистов). Кроме того, авторы указывают на существенную взаимосвязь между престижем руководителя диссертационной работы или факультета, присвоившего ученую степень, и количеством или доступностью информации о начинающем специалисте, кото-

⁷ Long J.S., Allison P.D., McGinnis R. Entrance into the academic career. Amer. Sociol. Rev., 1979, vol. 44, N 5, p. 816-830.

⁸ Здесь и далее авторы реферируемой статьи ссылаются на результаты более ранних исследований. См.: Crane D. Scientists at major and minor universities: a study of productivity and recognition. — Amer. Sociol. Rev., N.Y., 1965, vol. 30, N 3, p. 699-714; Hargens L.L., Hagstrom W.O. Sponsored and contest mobility of academic scientists. — Sociology of Education, N.Y., 1967, vol. 40, N 1, p. 24-38.

рые достаточно очевидным образом сказываются на вероятности его найма в престижном академическом учреждении. Все это приводит Дж. С. Лонга и его соавторов к заключению, что начальное профессиональное продвижение специалистов определяется не столько их собственной компетенцией, сколько престижем инстанций и лиц, которые им покровительствуют.

Для обоснования этого вывода Дж. С. Лонг и его соавторы исследовали взаимосвязь между ранней продуктивностью специалистов (до присвоения ученой степени), престижем руководителя диссертационной работы, престижем факультета, присвоившего ученую степень, престижем учреждения, являющегося первым местом найма, и, наконец, текущей продуктивностью. Исходную выборку составили 237 мужчин-биохимиков, получивших ученую степень в 1957–58 и 1962–63 годах, а также получивших первую академическую должность на одном из факультетов, внесенных в указатель Роуза и Андерсена. Как и ранее, данные об их профессиональном продвижении были получены из справочника «American Men and Women of Science», престиж факультета, присвоившего ученую степень, определялся по указателю Картера с ранжированием от 500 до 100. Престиж руководителя диссертационной работы оценивался по числу ссылок на его(ее) публикации в выпуске Science Citation Index за 1961 год, а текущая продуктивность специалистов, включенных в исходную выборку – по значению сложного индекса, учитывающего как число работ, опубликованных в предшествующие 3 года, так и число ссылок, полученных этими работами в предшествующего года (т.е. тем же способом, что и в первой из реферируемых статей). Кроме того, учитывался и престиж учебного заведения, которое окончил специалист, с ранжированием соответствующих величин от 7 до 1. Как и ранее, измеряемые переменные были объединены уравнениями регрессии и по результатам исследования были вычислены коэффициенты, определяющие характер их взаимосвязи.

Первая группа полученных уравнений регрессии характеризует зависимость между социальным статусом, достигнутым в период специальной подготовки (включая учебу в аспиранту-

ре) и престижем начального места найма (табл. 1, с. 820). Как видно из полученных результатов, наиболее сильное влияние на престиж начального места найма оказывает престиж факультета, присвоившего специалисту ученую степень, за ним следует престиж руководителя его диссертационной работы и престиж учебного заведения, которое он окончил. Напротив, зависимость указанной переменной от показателей ранней продуктивности (числа и частоты цитирования работ, опубликованных до получения академической должности) оказывается слабой, несогласованной по знаку и статистически незначимой. На этом основании Дж. С. Лонг и соавторы заключают (с. 820), что «ни количество, ни качество чьих-либо ранних публикаций не оказывают значимого влияния на продвижение этого индивида в иерархии престижа», т.е. на социальный статус, достигаемый специалистами⁹. Для более тщательной проверки этого заключения были выполнены некоторые дополнительные аналитические операции, направленные на исключение возможных систематических погрешностей в значениях измеренных переменных, а также в показателях, характеризующих их взаимосвязь. Как оказалось, на престиж начального места найма специалистов существенное влияние оказывают размеры возрастной когорты, к которой они принадлежат, какие-то неустановленные параметры факультета, присвоившего ученую степень, престиж особой, докторской стипендии (postdoctoral fellowship), получаемой специалистами в период между присвоением ученой степени и первым академическим наймом¹⁰, а также ранг соответствующей должности. С учетом дополнительных переменных была построена вторая группа уравнений регрессии, предусматривающая более широкий набор показателей исходного социального статуса и дальнейшего профессио-

⁹ Long J.S., Allison P.D., McGinnis R. Op. cit., p. 820.

¹⁰ По данным Дж. С. Лонга и его соавторов (с. 822), такую стипендию или эквивалентные ей пособия получали 65% специалистов, включенных в исходную выборку; длительность периода между присвоением ученой степени и получением первой академической должности составила в среднем 2,5 года, причем у 46% обследованных мужчин-биохимиков он превысил 3 года.

нального продвижения специалистов, однако полученные результаты лишь подтвердили ранее выявленные зависимости или даже сделали их более существенными.

С этой точки зрения особенно информативными являются уравнения регрессии, связывающие престиж факультета, присвоившего ученую степень, престиж докторской стипендии, получаемой специалистом, и престиж места его начального найма (табл. 2, с. 824). Прежде всего, обнаруживается заметная (хотя и не слишком сильная) зависимость между престижем начального места найма и престижем докторской стипендии, которая была представлена специалисту. Далее, престиж докторской стипендии оказывается связан умеренной положительной корреляцией с престижем факультета, присвоившего ученую степень. Кроме того, влияние указанной переменной заметно ослабляет зависимость между вероятностью найма в престижном академическом учреждении и его исходным социальным статусом. Таким образом, престиж докторской степени оказывается типичной промежуточной переменной, введение которой не сказывается сколько-нибудь существенно на ранее выявленной зависимости между престижем начального места найма и социальным статусом, достигнутым к моменту занятия академической должности.

О сохранении указанной зависимости свидетельствует и суммарное уравнение регрессии, связывающее между собой все измеренные переменные (табл. 3, с. 825). Как видно из сопоставления его параметров, престиж факультета, присвоившего ученую степень, остается наиболее сильной детерминантой начального места найма даже с учетом различий в размерах возрастной когорты, к которой принадлежит специалист, в ранге его академической должности или в престиже докторской стипендии. Таким образом, единственным сколько-нибудь серьезным возражением против тезиса об определяющем влиянии статусных различий между специалистами на их профессиональное продвижение остается уже обсуждавшаяся ранее возможность рассматривать престиж факультета, присвоившего ученую степень, или другие аналогичные переменные как показатели персональной компетенции.

Для исследования такой возможной зависимости Дж. С. Лонг и его соавторы построили третью группу уравнений регрессии (табл. 4, с. 827), связывающую текущую продуктивность биохимиков спустя 6 лет после занятия первой академической должности с различиями в их начальном социальном статусе и в их ранней продуктивности (которая рассматривается как наиболее надежный показатель персональной компетенции). Эта группа уравнений регрессии была построена только для 134 мужчин-биохимиков в исходной выборке, сохранивших место найма неизменным на протяжении всего периода наблюдения (т.е. для подвыборки, параметры которой уже анализировались в первой из реферируемых статей). В качестве показателей текущей продуктивности специалиста спустя 6 лет после занятия им академической должности рассматривалось число работ, опубликованных в предшествующие 3 года, а также число ссылок на эти работы за последний год наблюдения.

Судя по полученным результатам, в ряду факторов, определяющих количество опубликованных работ, наиболее существенным оказалась ранняя продуктивность, тогда как влияние переменных, характеризующих исходный социальный статус (престиж факультета, присвоившего ученую степень, престиж руководителя диссертационной работы и докторской стипендии, а также престиж учебного заведения) можно считать слабым и статистически незначимым. Тот же фактор оказывал и весьма существенное влияние на частоту цитирования публикаций, однако здесь наиболее существенными оказались различия в престиже факультета, присвоившего ученую степень, и в размерах возрастной когорты, к которой принадлежит специалист. Кроме того, влияние исходного социального статуса биохимиков на их текущую продуктивность существенно ослабилось после учета различий в престиже академического учреждения, являющегося местом найма (зависимость, которая также детально исследована в первой из реферируемых статей). Наконец, вообще не обнаружилось сколько-нибудь существенной зависимости между текущей продуктивностью специалиста и престижем руководителя его диссертационной

работы, а также престижем учебного заведения, которой он окончил.

По мнению Дж. С. Лонга и его соавторов, полученные ими результаты недвусмысленно показывают, что в академическом секторе начальные решения о найме принимаются на основании критериев, характеризующих положение специалиста в дисциплинарной сети межличностных и межгрупповых отношений, а не его персональную компетенцию. Поскольку же последующая продуктивность специалистов в достаточно существенной (если не в определяющей) степени зависит от различий в социальном статусе, получаемом вследствие найма, представители разных статусных категорий с самого начала получают разные возможности для продуктивного участия в производстве и утилизации знания. Таким образом, существуют весьма серьезные основания полагать, что неодинаковая текущая продуктивность научных работников является не столько отражением различий в их персональной компетенции, сколько следствием неравенства в социальном статусе, проявляющегося уже в момент их появления на рынке рабочей силы.

Хотя этот вывод получен при исследовании ограниченной выборки, состоящей исключительно из мужчин-биохимиков, он, по-видимому, остается справедливым и для женщин, а также для специалистов в других областях. Как утверждают Дж. С. Лонг и его соавторы (основываясь на еще не опубликованных результатах), биохимия не является сколько-нибудь специфической сферой занятости, поэтому зависимости, действующие в сообществах данной дисциплины, вполне могут быть экстраполированы на академический сектор в целом. Поскольку же профессиональные функции специалистов остаются достаточно близкими в учреждениях любого профиля, указанные зависимости, по-видимому, могут быть экстраполированы и на сферу прикладных исследований.

Вопрос о справедливости такого предположения, т.е. об универсальном характере зависимостей, связывающих различия между специалистами в продуктивности с неравенством их социального статуса специально рассматривается в третьей из ре-

ферируемых статей, подготовленных Дж. С. Лонгом совместно с Р. Макгиннисом¹¹. В самом деле, известно, что академический и промышленный сектора найма специалистов существенно различаются как по характеру действующих здесь нормативных ожиданий, так и по перспективам продвижения (с соответствующими различиями в социальном статусе и престиже). Если в академическом секторе специалисты ориентированы преимущественно на профессиональное продвижение (и, соответственно, признание их достижений коллегами по профессии), то в промышленном секторе преобладающим поведенческим ориентиром становится продвижение в должностной иерархии и признание со стороны непосредственного нанимателя¹². Вообще говоря, указанные различия в ориентации специалистов самым существенным образом сказываются как на характере их достижений, так и на критериях, по которым последние оцениваются, поэтому в промышленном секторе взаимосвязь между продуктивностью и социальным статусом может оказаться иной, чем в академическом. Исходя из этих соображений, Дж. С. Лонг и Р. Макгиннис предпринимают попытку сравнительного анализа данных, характеризующих продуктивность и профессиональную карьеру специалистов в разных организационных контекстах их деятельности.

Как и ранее, исходную выборку составили мужчины-биохимики, получившие ученую степень в 1957–58 и 1962–63 годах (всего биографическую информацию удалось получить для 557 лиц, что составило 83% общего объема указанных возрастных когорт). В качестве переменных, характеризующих исходный социальный статус биохимиков, рассматривались престиж факультета, присвоившего ему ученую степень (с дополнительной дифференциацией на собственно биохимические и агрономические), престиж учреждения, являющегося местом его найма,

¹¹ Long J.S., McGinnis R. Organizational context and scientific productivity. – Amer. Sociol. Rev., N.Y., 1981, vol. 46, N 4, p. 422–442.

¹² См.: Kornhauser W. Scientists in Industry: conflict and accommodation. Berkely, Cal.: Univ. Cal. Press, 1962; Glaser B.G. Organizational Scientists: their professional careers. Indianapolis, Ind.: Bobbs-Merrill, 1964.

престиж руководителя его диссертационной работы, а также организационный контекст его деятельности. Различия в организационном контексте оценивались по номинальной шкале, характеризующей сектор найма (с дифференциацией академических, чисто учебных и промышленных учреждений) и должностные обязанности специалиста (с их дифференциацией на исследовательские, преподавательские и административные); особую позицию составило получение докторской стипендии, т.е. какая-либо форма стажировки в академическом учреждении. Для каждого организационного контекста была определена продуктивность специалистов спустя 1, 3, 6 и 9 лет после их найма на должность и в учреждение соответствующего профиля, при этом значения измерявшихся переменных были нормализованы с учетом увеличения общего числа ежегодно публикуемых научных работ. На основании полученных таким образом эмпирических данных было установлено распределение специалистов, включенных в исходную выборку, по организационным контекстам, а также построены уравнения регрессии, связывающие между собой выделенные авторами показатели социального статуса, продуктивности и профессионального продвижения.

Как видно из данных о распределении специалистов по организационным контекстам (табл. 1, с. 426), более чем в половине случаев профессиональное продвижение начинается с получения докторской стипендии, вследствие чего ее престиж оказывается важной промежуточной переменной, опосредствующей влияние различий в исходном социальном статусе на организационный контекст последующей деятельности специалиста. В то же время результаты специального исследования показывают¹³, что при распределении докторских стипендий «комбинация структурных и персональных эффектов» заметно преобладает над эффектами, обусловленными различиями в последующей продуктивности специалистов; в частности, докторские стипендии заметно

¹³ См.: Coile R.C. Lotka's frequency distribution of scientific productivity. – J. Amer. Soc. Inform. Sci., Baltimore, 1977, vol. 28, N 6, p. 366–370, 427.

чаще достаются молодым и неженатым выпускникам собственно биохимических (а не агрономических) факультетов, притом наиболее престижных». Таким образом, еще до начала самостоятельной деятельности более чем половина выпускников аспирантуры получает преимущество в возможностях профессионального продвижения, которое едва ли может рассматриваться как вознаграждение за продуктивность (продемонстрированную в прошлом или ожидаемую в будущем).

Сходную тенденцию позволяют обнаружить и уравнения регрессии, связывающие начальное размещение специалистов по организационным контекстам с переменными, характеризующими их исходный социальный статус (престижем факультета, присвоившего ученую степень, а также известностью и продуктивностью руководителя диссертационной работы) и их продуктивностью. Как видно из этих уравнений (табл. 2, с. 428), различия в престиже факультета, присвоившего ученую степень (или назначившего докторскую стипендию), означают и различия в шансах специалиста начать свое профессиональное продвижение с занятия исследовательской должности в академическом учреждении или ином организационном контексте, предусматривающем публикацию полученных результатов. Кроме того, на исходное размещение специалистов по организационным контекстам хорошо различимое (но не слишком сильное) влияние оказывает ранг руководителя диссертационной работы: его повышение означает и повышение шансов на получение исследовательской должности (правда, не обязательно в академическом учреждении). Напротив, различия в продуктивности (в особенности, если соответствующим показателем служила частота цитирования публикаций) не вносят в размещение специалистов по организационным контекстам какой-либо хорошо различимой и устойчивой тенденции. По мнению Дж. С. Лонга и Р. Макгинниса, подобные зависимости не только свидетельствуют об исходном неравенстве в возможностях дальнейшего профессионального продвижения, которыми реально располагают выпускники аспирантуры, но и попутно опровергают широко распространенное мнение, будто найм

в промышленности является уделом специалистов с относительно более низкой продуктивностью.

В свою очередь, преимущество в возможностях профессионального продвижения, приобретаемое вследствие найма на должности и в учреждения соответствующего профиля, непосредственно сказывается на дальнейшей продуктивности специалистов, вследствие чего оказывается накапливаемым. Как видно из уравнений регрессии, связывающих изменения в публикационной активности биохимиков с различиями в организационных контекстах их деятельности (табл. 3, с. 433), соответствующие переменные становятся значимыми уже к третьему году найма, причем наблюдаемый эффект дополнительно усиливается, если его оценивать по изменениям публикационной активности относительно начального уровня (т.е. контролировать исходные различия в продуктивности). К шестому и девятому годам найма влияние различий в организационном контексте на публикационную активность сохраняется и даже становится более выраженным, несмотря на то, что с течением времени часть специалистов покидает исследовательские должности ради административных (за период наблюдения соответствующая фракция исходной выборки возросла почти вдвое, преимущественно за счет персонала промышленных учреждений). Кроме того, наблюдаемый эффект усиливается (или, по крайней мере, сохраняется) и после многообразных попыток контролировать различия в исходном и достигнутом социальном статусе, персональной компетенции специалистов или действии других факторов, которые также могут влиять на их текущую продуктивность. Наконец, сходные зависимости обнаруживаются и при анализе уравнений регрессии, связывающих различия в организационном контексте деятельности биохимиков с частотой цитирования их публикаций (табл. 4, с. 436), хотя в других случаях разные показатели продуктивности обнаруживали заметно различную динамику (т.е. наблюдаемые взаимосвязи оказались инвариантными к способу получения исходных эмпирических данных). Все это позволило Дж. С. Лонгу и Р. Макгиннису еще раз выдвинуть положение, уже обсуждавшееся в самом начале

дискуссии, согласно которому неодинаковая продуктивность научных работников обусловлена именно различиями в организационном контексте их деятельности (прежде всего – социальном статусе, приобретаемом вследствие найма), а не в индивидуальных творческих способностях или мотивации.

Важные дополнительные аргументы в пользу подобного вывода дает изучение зависимостей между публикационной активностью и характеристиками организационного контекста для тех специалистов, кто изменил сектор найма (соответствующая подвыборка составила 69 мужчин-биохимиков, перешедших в учреждение или на должность другого профиля не ранее чем через 3 года после первоначального найма и сохранивших новое место найма не менее чем в течение 6 лет). Если судить по соответствующим уравнениям регрессии (табл. 5, с. 438), сразу после изменения сектора найма зависимость между продуктивностью мигрантов и переменными, характеризующими место их первоначального найма, была негативной, тогда как спустя 6 лет влияние указанной группы переменных стало позитивным и достаточно сильным (эффект, который также уже обсуждался ранее). В свою очередь, сразу после изменения сектора найма показатели продуктивности мигрантов в предыдущем организационном контексте положительно и достаточно сильно влияли на текущие показатели продуктивности, однако к шестому году найма указанная зависимость практически перестала быть наблюдаемой. Наконец, сходные эффекты обнаружились и при изучении уравнений регрессии, связывающих различия в организационном контексте деятельности мигрантов на разных стадиях их профессионального продвижения с частотой цитирования их публикаций (табл. 6, с. 440), т.е. при переходе к другому показателю текущей продуктивности. Так как при этом наблюдаемые зависимости остаются одинаковыми и для мигрантов, и для «оседлых», авторы приходят к выводу, что различия в продуктивности специалистов, занятых в разных секторах, едва ли могут быть интерпретированы как отражение различий в их творческих способностях или квалификации.

Заклячая обсуждение полученных ими результатов, Лонг и Макгиннис еще раз подчеркивают, что индивидуальные различия в творческих способностях или квалификации специалистов отнюдь не являются фактором, обуславливающим наблюдаемые различия в показателях их продуктивности. Как видно из зависимостей между измерявшимися переменными, различия в продуктивности специалистов прежде всего обусловлены различиями в организационном контексте их деятельности, которые, в свою очередь, объясняются отношениями преемственности между представителями разных поколений, складывающимися в период выполнения диссертационной работы. С этой точки зрения результаты некоторых социологических исследований, указывающих на существенно более высокую продуктивность специалистов, занятых в академическом секторе¹⁴, возможно, смешивают исходную причину найма на определенную должность и в определенном учреждении с его конечными эффектами.

По мнению Дж. С. Лонга и Р. Макгинниса, такой вывод позволяет пролить некоторый свет на природу хорошо известного разрыва в продуктивности разных квалификационных групп, характерных для научного сообщества и отсутствующего в других секторах занятости. По-видимому, это разрыв в основном обусловлен исходным неравенством в условиях социализации, которое затем закрепляется и усиливается благодаря накоплению социального статуса.

Хотя эти авторы привлекают весьма изощренную аргументацию, развитая ими концепция вызвала достаточно резкую критику со стороны группы американских социологов, работающих в Технологическом институте штата Джорджия. По мнению этих социологов, высказанном в специальном критическом комментарии к предыдущей публикации¹⁵, концепция Дж. С. Лонга и его соавторов обнаруживает чрезмерную зависимость от косвенных (unobtrusive) источников эмпирических

¹⁴ Cotgrove S., Box S. *Science, Industry and Society: studies in the sociology of science*. L.: Allen & Unwin, 1970.

¹⁵ Chubin D.E., Porter A.L., Boekmann M.E. Career patterns of scientists: a case for complementary data. – Amer. Sociol. Rev., N.Y., 1981, vol. 46, N 4, p. 489–496.

данных, таких, как биографические справочники, указатели цитирования или сводки показателей (ratings), характеризующих престиж вузов и аспирантуры. В противоположность этому авторы критического комментария основываются на эмпирических данных совершенно иной природы – прямых высказываниях специалистов о динамике их профессиональной карьеры в течение 10 лет после присуждения им ученой степени, полученных посредством специально разработанного опросного листа. Для получения указанных эмпирических данных была обследована выборка специалистов, представляющих 6 различных дисциплин (включая биохимию) и получивших ученую степень в 1969–70 году.

Как видно из результатов обследования (табл. 1, с. 490), в различных дисциплинах наблюдаются разные стандарты первичного размещения специалистов по секторам найма, при этом для биохимии (область, для которой справедливы наблюдения Дж. С. Лонга и его соавторов) характерна особенно высокая вероятность найма на исследовательские должности в противоположность преподавательским и административным. Кроме того, возрастные когорты (выпуск 1958–59 и 1962–63 года), которые были предметами наблюдения для Дж. С. Лонга и его соавторов, вступили на рынок рабочей силы в исключительно благоприятный период его энергичного расширения после шока, вызванного запуском первого советского спутника. Напротив, контингент 1969–70 годов, обследованный авторами критического комментария, оказался в совершенно иных условиях, что самым существенным образом повлияло на размещение специалистов по секторам найма.

В свою очередь, зависимости, которые обуславливают продуктивность специалистов спустя 10 лет после занятия должности, позволяют авторам критического комментария утверждать, что для большинства дисциплин наиболее значимым контекстуальным фактором является престиж учреждения, присвоившего ученую степень, причем в биохимии указанная зависимость оказывается наиболее выраженной (эффект, полностью противоречащий результатам Дж. С. Лонга и его соавторов).

Наконец, рассматривая в качестве показателя, характеризующего социальный статус, размеры заработной платы, авторы критического комментария исследовали зависимости, которые могут обуславливать первичное размещение научных работников по секторам найма. У Дж. С. Лонга и его соавторов соответствующие переменные связаны сильной зависимостью с различиями в престиже учреждений, присвоивших специалисту ученую степень или докторскую стипендию, умеренной зависимостью с рангом руководителя диссертационной работы и пренебрежимо слабой – с ранней продуктивностью нанимаемого (т.е. показателями его персональной компетенции). Напротив, согласно авторам критического комментария (табл. 3, с. 493), ранг руководителя диссертационной работы не оказывает значимого влияния на первичное размещение специалистов, что, возможно, объясняется различиями в мотивах выбора аспирантуры, характерных для различных возрастных когорт и дисциплин; влияние соответствующих показателей на первичное размещение специалистов связывается при этом с дефицитом рабочих мест, а не с характером профессиональных стандартов, поддерживаемых в соответствующем секторе найма. Понятно, что у авторов критического комментария наиболее значимым фактором первичного размещения специалистов оказывается их ранняя продуктивность в период, предшествующий получению ученой степени или непосредственно следующий за ним (зависимость, которая у Дж. С. Лонга и его соавторов имеет умеренный и не слишком устойчивый характер).

В заключение критического комментария его авторы не только предостерегают от экстраполяции результатов, полученных Дж. С. Лонгом и его соавторами при обследовании выборки биохимиков (по их оценке, весьма немобильной профессиональной группы), но и высказывают сомнения в справедливости той социологической концепции, которую те развивают в реферируемых статьях. По мнению Д. Чебина и его соавторов, профессиональные достижения специалистов позволяет уверенно предсказывать лишь их ранняя продуктивность, хотя и не однозначным образом, тогда как контекстуальные факторы дей-

ствуют по-разному в разных дисциплинах и секторах найма. Не отрицая в принципе зависимости между первичным размещением специалистов и различиями в ранге руководителя их диссертационной работы, авторы критического комментария связывают соответствующие эффекты не с какими-то личными отношениями между представителями разных поколений, а с действием сети неформальных контактов в качестве механизма, обеспечивающего распространение (и цензуру) сведений о профессиональном уровне нанимаемых.

Отвечая на критические замечания в адрес социологической концепции, которая изложена и обосновывается в реферируемых статьях, Дж. С. Лонг, Р. Макгиннис и П.Д. Эллисон указывают на ряд методических и теоретических изъянов в приводимой их оппонентами аргументации¹⁶, делающих указанные замечания недостаточно обоснованными. По мнению указанных авторов, имеющиеся эмпирические данные, как уже опубликованные, так и полученные ими дополнительно, вовсе не свидетельствуют об уникальности биохимии как сферы научной деятельности, а тем самым и о недопустимости экстраполяции наблюдаемых здесь зависимостей на другие дисциплины или сектора найма; точно так же ими не обнаружены существенные различия между возрастными когортами специалистов, вступившими на рынок рабочей силы до и после запуска первого советского спутника (хотя, возможно, они состоят в относительных размерах контингента поступающих в аспирантуру или нанимаемых в академические учреждения). Кроме того, Д. Чебин и его соавторы использовали методику наблюдения, существенно отличную от той, которую используют авторы критикуемых ими публикаций, вследствие чего приводимые теми и другими эмпирические данные нельзя рассматривать как сопоставимые; более того, авторы критического комментария существенно иным (и некорректным) образом операционализируют ряд важных независимых переменных, вследствие чего в полученные ими эмпирические данные внесе-

¹⁶ Long J.S., McGinnis R., Allison P.D. Reply to Chubin, Porter and Boekmann. Amer. Sociol. Rev., 1981, vol. 46, N 4, p. 496-498.

ны существенные систематические погрешности (отсюда, например, расхождения в оценке такого фактора, как ранг руководителя диссертационной работы). Наконец, авторы критического комментария вообще не предусматривают показателей, позволяющих дифференцировать организационные контексты безотносительно к различиям в достигнутом социальном статусе, тем самым исключая из анализа ключевое положение критикуемой ими концепции; вследствие этого в поле их зрения попали в основном зависимости, не отражающие специфики социальных механизмов, которые регулируют профессиональное продвижение специалистов, и потому второстепенные. На этом основании Дж. С. Лонг и его соавторы приходят к заключению, что развиваемая ими социологическая концепция сохраняет силу не только для биохимиков, занятых в академическом секторе, но и для других специалистов.

Своего рода «решающей проверкой» указанной концепции является попытка анализа всей совокупности полученных до сих пор эмпирических данных при посредстве математической модели¹⁷, предпринятая П.Д. Эллисоном и Дж. С. Лонгом в сотрудничестве с Т. Краузе. Как уже говорилось, ключевым элементом исследования, проведенного Дж. С. Лонгом и его соавторами, является гипотеза о преимуществе в возможностях продуктивной деятельности, накапливаемом специалистами по мере их социализации в качестве представителей определенного профессионального сообщества. До сих пор социализация в научное сообщество рассматривалась преимущественно как процесс адаптации к универсальным дисциплинарным нормам, происходящий в период получения специальной подготовки и завершающийся наймом на должность в учреждении определенного ранга (академическом или промышленном). Тем не менее, полученные до сих пор эмпирические данные недвусмысленно свидетельствуют, что социализация в научное сообщество (с соответствующими изменениями в продуктивности)

¹⁷ Allison P.D., Long J.S., Krauze T.K. Cumulative advantage and inequality in science. — Amer. Sociol. Rev., N.Y., 1982, vol. 47, N 5, p. 615–625.

продолжается и после найма на должность в академическом или промышленном учреждении как процесс адаптации к локальному организационному контексту. Ранее П.Д. Эллисон в специальной работе¹⁸, посвященной различным, в том числе методологическим проблемам количественной оценки неравенства, уже предпринимал попытку исследовать взаимосвязь между продуктивностью специалистов и степенью их социализации, оценивая последнюю не по достигнутому статусу, а по профессиональному стажу, однако она оказалась недостаточно убедительной из-за скудости имевшихся эмпирических данных; на этот раз П. Д. Эллисон в сотрудничестве с Дж. С. Лонгом и Т. Краузе повторяет исследование указанной взаимосвязи, опираясь при этом не только на существенно более широкие и надежные эмпирические данные, но и на результаты их аппроксимации специальной математической моделью.

При построении исходной выборки к ранее обследованным 557 американским биохимикам-мужчинам, получившим ученую степень в 1957–58 и 1962–63 годах, были добавлены 239 американских химиков обоего пола, получившие ученую степень в период между 1955 и 1961 годом, и для каждого из них было установлено число опубликованных работ и число ссылок, полученных этими работами. При оценке профессионального стажа специалистов последний был разбит на 3-летние интервалы (начиная с момента присуждения ученой степени), и для каждого из пяти таких интервалов (от 0 до 14 лет) было подсчитано среднее число μ опубликованных работ и полученных ссылок, стандартные отклонения указанных величин σ^2 , а также значения специального индекса, характеризующего неравенство в распределении показателей продуктивности:

$$C = \frac{\sigma^2 - \mu}{\mu}$$

¹⁸ Allison P. D. Inequality and scientific productivity. – Soc. Stud. Sci., L., 1980, vol. 10, N 2, p. 163–179.

Из полученных таким образом эмпирических данных видно, что для обследованной выборки специалистов среднее число опубликованных работ, дисперсия указанной переменной, а также неравенство в распределении ее значений заметно возрастает с увеличением профессионального стажа (табл. 1, с. 617), причем сходная картина наблюдается и в том случае, когда показатели продуктивности определены отдельно для специалистов, занятых в академических и неакадемических (правительственных и промышленных) учреждениях (табл. 2, с. 618). Напротив, неравенство в распределении ссылок на опубликованные работы остается практически постоянным (хотя и довольно значительным), несмотря на возрастание средних значений переменной и ее дисперсии (табл. 3, с. 619), что противоречит как более ранним наблюдениям, так и хорошо известной связи между соответствующими показателями продуктивности. Для устранения (или объяснения) расхождений в наблюдаемых статистических трендах авторы ввели поправку на так называемое «старение» публикаций, изменив методику подсчета ссылок; в качестве величины, характеризующей текущую (в определенный период времени) продуктивность специалистов, стало рассматриваться число ссылок, опубликованных в предшествующие три года, а не за весь период наблюдения (т.е. методика оценки продуктивности специалистов была приведена в соответствие с той, которая изложена в других публикациях реферируемого здесь цикла). После введения указанной поправки в методику оценки частоты цитирования научных работ в распределении значений указанной переменной также появился хорошо заметный рост неравенства (табл. 4, с. 619).

Резюмируя результаты выполненного ими анализа эмпирических данных, П.Д. Эллисон, Дж. С. Лонг и Т. Краузе приходят к выводу, что исходная гипотеза о возрастании неравенства в распределении показателей продуктивности по мере увеличения профессионального стажа нуждается в дополнительном исследовании. С этой целью они предпринимают попытку построить математическую модель соответствующего социального

процесса, предполагая¹⁹, что «появление публикации или ссылки на нее, по крайней мере отчасти, обусловлены случайными факторами, и что каждая публикация или цитирование повышают шансы научного работника на появление дальнейших публикаций или получение новых ссылок». На этом основании в качестве математической модели социального процесса, обеспечивающего накапливаемое преимущество в возможностях продуктивной деятельности, рассматривается так называемая «эпидемическая» модель Пуассона, традиционно используемая при анализе различий в продуктивности специалистов: $P(t) = \alpha + \beta X(t)$, где t – текущее значение профессионального стажа; $P(t)$ – текущие шансы на получение ссылки или публикацию статьи; $X(t)$ – общее число статей (ссылок), опубликованных (полученных) к моменту t ; α – начальные шансы специалиста на публикацию статьи или получение ссылки; β – прирост α , вызванный публикацией работы или получением ссылки, т.е. скорость накопления неравенства в распределении показателей продуктивности.

Анализ этой модели показывает, что по мере возрастания профессионального стажа среднее число работ (ссылок), опубликованных (полученных) в разные периоды времени, увеличивается экспоненциально, тогда как величина $c = \beta/\alpha$, т.е. неравенство в распределении значений указанных переменных, остается постоянной²⁰. Такой результат по крайней мере отчасти противоречит ранее выявленным статистическим трендам, поэтому исходная модель гипотетического социального процесса, обуславливающего неравенство в показателях продуктивности, была модифицирована в соответствии с предположением, что значения α различаются для отдельных специалистов и распределены случайным образом. Однако и в этом случае не только среднее число опубликованных работ (полученных ссылок) сохранило экспоненциальный рост по мере увеличения профессионального стажа, но и неравенство в распределении текущих значений переменной осталось постоянным.

¹⁹ Allison P.D., Long J.S., Krauze T.K. Op. cit., p. 619.

²⁰ Ibid., p. 620.

По мнению П.Д. Эллисона и его соавторов, возрастание неравенства в показателях продуктивности по мере увеличения профессионального стажа может быть обеспечено только в том случае, если параметр β в эпидемической модели Пуассона меняется в соответствии с каким-либо вероятностным распределением, т.е. различен для каждого отдельного специалиста. Это предположение проверялось при посредстве как формального доказательства (вынесенного в специальное приложение к реферируемой статье), так и имитационного моделирования на компьютере (табл. 5, с. 621); оказалось, что при постоянном $\alpha = 0, 20$ и переменном, равномерно распределенном между 0,10 и 0,50 β , средние значения, стандартные отклонения и неравенство в распределении текущих значений продуктивности со временем возрастали, тогда как при постоянном $\beta = 0,30$ уровень продуктивности становился постоянным.

Заключая свой анализ, П.Д. Эллисон, Дж. С. Лонг и Т. Краузе приходят к выводу, что при отсутствии конкурирующих гипотез эпидемическая модель Пуассона является вполне правдоподобным объяснением неравенства в распределении показателей продуктивности между отдельными специалистами. В то же время детальное исследование взаимосвязи между возможностями продуктивной деятельности, которыми реально располагают специалисты, и достигнутым ими социальным статусом демонстрирует как разнообразие ее внешних проявлений, так и исключительную сложность социальных процессов, которые ее обуславливают. Кроме того, такое исследование наводит на мысль об определенных аналогиях между социальными процессами, обуславливающими профессиональное продвижение специалистов, и накоплением богатства, известности или иного рода материальных благ и знаков признания.

Как известно, одной из наиболее примечательных особенностей, характеризующих различия в продуктивности между отдельными специалистами или их коллективами, является закономерный характер соответствующих распределений, возможность их аппроксимации универсальными и достаточно простыми математическими моделями. Впервые на это об-

стоятельство указал еще в 1926 году швейцарский (впоследствии американский) библиотеквед А. Лотка, установивший, что относительная частота появления публикаций, принадлежащих определенному автору, определяется выражением $n(x) = A/x^2$, где $n(x)$ – число авторов, опубликовавших x работ, A – константа (для массива научных публикаций по химии, который был исследован А. Лоткой, $A = 0,6$). Ниже излагается содержание двух публикаций, дающих достаточно развернутую и всестороннюю характеристику этой простой, но устойчивой закономерности, известной специалистам как «закон Лотки», т.е. названной именем своего первооткрывателя, а также анализирующих некоторые ее наиболее нетривиальные следствия.

В первой из этих статей сотрудник Чикагского университета Э. Букстейн обращается к закону Лотки для исследования связи между социальным контекстом научной деятельности и ее продуктивностью²¹. Как известно, после второй мировой войны в социальном контексте научной деятельности произошли огромные изменения: существенно возросло влияние политических и экономических институтов общества, заметно изменилась система ценностей, регулирующих производство и технологическую утилизацию знания, появились достаточно мощные административно-правовые механизмы, принуждающие специалистов к поддержанию высокой продуктивности (публикации статей и книг, а также получению ссылок или других знаков социального признания). Тем не менее, многочисленные социологические исследования показывают, что изменения в социальном контексте научной деятельности сравнительно слабо (если вообще) сказываются на значениях величин, характеризующих ее продуктивность: с теми или иными частными поправками закон Лотки оказывается справедливым для любых дисциплин и любого исторического периода, что позво-

²¹ Bookstein A. Patterns of scientific productivity and social change: a discussion of Lotka's law and bibliometric symmetry. – J. Amer. Soc. Inform. Sci., Baltimore, 1977, vol. 28, N 4, p. 206–210.

ляет ожидать сохранение соответствующего тренда в будущем. Отталкиваясь от этой «внешне парадоксальной ситуации», Э. Букстейн и предпринимает попытку объяснить закон Лотки посредством исследования математической модели процесса, опосредствующего влияние изменений в социальном контексте деятельности специалистов на их продуктивность.

При построении этой модели автор принимает в качестве показателя продуктивности число статей, подготовленных специалистом за определенный период времени. Пусть $g(n)$ – число представителей некоторой дисциплины, подготовивших n статей (здесь n – целое число), и пусть каждый из них обладает способностью к подготовке статей, или потенциалом λ , значения которого образуют континуум. На практике эта способность реализуется далеко не полностью и не в одинаковой степени, поэтому только $g(n/\lambda)$ специалистов, обладающих потенциалом λ , действительно подготовят n статей. В этом случае:

$$g(n) = \int g(n/\lambda) f(\lambda) d\lambda \quad (1)$$

По мнению Э. Букстейна²², «закон Лотки, выраженный в общих терминах, утверждает, что существует функция $h(n)$, инвариантная относительно достаточно широкого диапазона условий», такая что $g(n)$ является вложением в $h(n)$. Полагая $h(1) = 1$, можно получить обобщенную форму распределения, характеризующего различия в продуктивности специалистов: $g(n) = g(1)h(n)$. Если теперь допустить, что это выражение удовлетворяет требованию инвариантности относительно внешних условий, т.е. остается справедливым независимо от того, каким именно предполагается распределение способностей к подготовке публикаций $f(\lambda)$, то уравнение (1) приобретает вид:

$$g(n/\lambda) = h(n) g(\lambda) \quad (2)$$

где $g(\lambda) = g(1/\lambda)$. Иными словами, в самом общем случае продуктивность специалистов является функцией двух обобщенных переменных, одна из которых характеризует творческий по-

²² Bookstein A. Op. cit., p. 207.

тенциал индивида или коллектива, тогда как другая – возможности его реализации на практике.

Более того, эти две независимые переменные практически полностью исчерпывают набор факторов, действие которых опосредствует связь между социальным контекстом научной деятельности и ее продуктивностью. В самом деле, изменения в социальном контексте научной деятельности могут двояким образом влиять на ее продуктивность, изменяя: уровень способностей, обеспечивающих подготовку публикаций, а также степень, в которой эти способности вообще могут быть реализованы. Из уравнения (2) нетрудно сделать вывод, что в том и другом случае изменяется лишь абсолютный уровень научной продуктивности, но не распределение значений соответствующей переменной: последнее оказывается инвариантным относительно различий как в потенциале, так и в перспективах его реализации. Как видим, при некоторых достаточно естественных допущениях индивидуальные (или межгрупповые) различия в продуктивности научной деятельности вполне могут считаться инвариантными к ее социальному контексту.

С целью более тщательного обоснования этих допущений автор исследует ограничения, при которых уравнение (2) приобретает свойства симметрии, т.е. соответствующие эмпирические распределения продуктивности сохраняются на любых интервалах наблюдения. Пусть $Ab(n)$ – число специалистов, публикующих n статей в единицу времени, и пусть интервал наблюдения составляет r единиц времени. Если наблюдаемый контингент специалистов остается неизменным, то указанное требование может быть аналитически выражено как $A'h(rn) = A'h(n)$. При $n = 1$ и $h(1) = 1$ получаем $A' = A/h(r)$, так что условие симметрии приобретает вид:

$$h(rn) = h(n)h(r) \quad (3)$$

Можно показать, утверждает Э. Букстейн, что требованию, выраженному уравнением (3), удовлетворяет не только функ-

ция $b(n) = 1/n^2$ (т.е. закон Лотки в его оригинальной форме), но и хорошо известное более общее выражение:

$$b(x) = x^\alpha \quad (4)$$

где α – некоторая константа. Для публикаций по химии, массив которых исследовал А. Лотка, $\alpha = -2$; авторы, изучавшие другие массивы публикаций, приводят и другие значения указанной константы.

Вообще говоря, функция $b(x) = x^\alpha$ является единственной, удовлетворяющей уравнению (3) и при этом имеющей эмпирические референты, поэтому соответствующее распределение сохраняется и для изменчивого контингента специалистов. В самом деле, если исходный контингент специалистов численностью N_0 публикует статьи на протяжении периода T , число его представителей, подготовивших за этот период n статей, составит $A N_0 b(n)$. Если теперь за t единиц времени численность исходного контингента специалистов возрастет на величину $D(t)$, то в этой дополнительной фракции число специалистов, опубликовавших n статей за период наблюдения, составит $A D(t) b(n)$. Таким образом, общее число специалистов, опубликовавших n статей за период времени T , составит:

$$H(n) = A N_0 b(n) + A \sum D(t) b\left(\frac{T}{T-t} n\right) \quad (5)$$

т.е. при $b(n) = n^\alpha$ требование инвариантности по отношению к внешним условиям по-прежнему выполняется. Как видим, распределение продуктивности сохраняет свои основные свойства независимо от того, остается ли исходный контингент специалистов постоянным или же изменяется каким-либо образом (например, увеличивается экспоненциально или уменьшается с любой выбранной нами скоростью).

Более специальный класс математических моделей, эквивалентных закону Лотки, рассматривает в своей статье Н. К. Равичандра Рао, сотрудник одного из канадских университетов²³. По

²³ Ravichandra Rao I.K. The distribution of scientific productivity and social change. – J. Amer. Soc. Inform. Sci., Baltimore, 1980, vol. 31, N 2, p. 111–122.

мнению этого автора, закономерный характер индивидуальных или межгрупповых различий в научной продуктивности не вызывает сомнений, однако вопрос о конкретной аналитической форме соответствующего выражения остается открытым. Если А. Лотка рассматривал в этом качестве обратную квадратичную зависимость:

$$y = 6/\pi^2 r^{-2} \quad (1^*)$$

то Уиллис, изучавший массивы статей по биологии, более успешно аппроксимировал полученные данные геометрическим и лог-нормальным распределениями. У. Шокли, оценивавший научную продуктивность посредством обращения к экспертам (а не подсчета опубликованных статей) также предпочел оперировать лог-нормальным распределением. Нет единогласия и в том, является ли закон Лотки универсальным или же он справедлив только для некоторых дисциплин. Есть данные, согласно которым закон Лотки действует не только в естественных науках, где он впервые был обнаружен, но и в дисциплинах гуманитарного цикла, а также в информатике (т.е. в междисциплинарной области исследований). В то же время имеются данные, согласно которым по крайней мере в некоторых дисциплинах закон Лотки нарушается.

Одним из наиболее распространенных объяснений закономерности, выражаемой посредством закона Лотки или его модификаций, является принцип «успех порождает успех», который якобы действует в сообществах профессиональных ученых. Согласно этому принципу, автор большого числа публикаций с большей вероятностью получает возможность опубликовать новую научную работу, нежели автор малого числа публикаций, что математически выражается уравнением:

$$f(r) = (m + 1) B(r, m + 2) \quad (2^*)$$

где $r = 1, 2, 3, \dots$, $f(r)$ – относительная частота появления авторов, опубликовавших статей, B – бета-функция, m – константа. Как считает Д. де Солла Прайс²⁴, закон Лотки в его оригиналь-

²⁴ Price D. de Solla. A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes. J. Amer. Soc. Inform. Sci., Baltimore, 1976, vol. 27, N 5, p. 292–306.

ной форме (1*) может быть выведен из принципа «успех порождает успех» в предельном случае, когда $m = 0$. Тем не менее, Равичандра Рао показывает, что отношение частоты появления специалистов, опубликовавших 2 статьи, к частоте появления специалистов, опубликовавших 1 статью, соответствует уравнению (2*) только при $m = 1$. Это замечание не ставит под сомнение возможность вывода закона Лотки из принципа «успех порождает успех», однако указывает на неадекватность так называемой «модели урн» в качестве традиционного математического выражения данного принципа.

Как считает Равичандра Рао, наиболее адекватной аппроксимацией различий в научной продуктивности является отрицательное биномиальное распределение. Пусть $p(r, t)$ – вероятность того, что некий специалист опубликует r статей; допустим, что в интервале времени $(t, t + dt)$ специалист, уже опубликовавший r статей, опубликует еще одну статью с вероятностью $f(r, t) dt$. В данном случае математическим выражением принципа «успех порождает успех» будет уравнение (3*), согласно которому вероятность того, что специалист, уже опубликовавший r статей, опубликует еще одну статью в интервале $(t, t + dt)$, повышается с увеличением r :

$$f(r, t) = a + br, \text{ где } r = 0, 1, 2, 3, \dots, a, b > 0 \quad (3^*)$$

Как показано в специальном приложении к статье, в случае, когда выполняется уравнение (3*), т.е. $f(r, t)$ является линейной функцией r и независима от времени t , значения $p(r, t)$ хорошо согласуются со статистическими параметрами отрицательного биномиального распределения.

Наряду с уточнением и обоснованием закона Лотки, Равичандра Рао предпринимает попытку сопоставить наблюдаемые значения научной продуктивности с теми, которые ожидаются согласно стандартным вероятностным распределениям, традиционно используемым для аппроксимации соответствующих эмпирических зависимостей. Исходные данные, необходимые для подобных сопоставлений, представлены в пяти таблицах (с. 114–120), где указаны наблюдаемые значения продуктивнос-

ти, полученные разными исследователями, ожидаемые значения переменных, полученные с помощью 11 наиболее часто используемых вероятностных распределений, а также статистические показатели, характеризующие отклонение ожидаемых величин от наблюдаемых. Из сопоставления имеющихся (достаточно обширных и разнообразных) данных видно, что отрицательное биномиальное распределение не только позволяет аппроксимировать более широкий класс эмпирических данных, но и обеспечивает большее соответствие между эмпирическими данными и математической моделью.

В заключение своей статьи Равичандра Рао рассматривает вопрос о том, в какой степени распределение научной продуктивности зависит от внешних (прежде всего социальных) условий производства и технологической утилизации знания. Как полагает Э. Букстейн в уже цитированной работе, закон Лотки указывает на отсутствие подобной зависимости, однако это утверждение нуждается в дополнительном обосновании для тех случаев, когда закон Лотки не выполняется. В свою очередь, Равичандра Рао полагает, что влияние внешних условий на распределение научной продуктивности выражается в повышении или понижении вероятности того, что автор, уже опубликовавший g статей, опубликует еще одну статью в течение некоторого достаточно малого периода времени. Такой эффект, однако вполне может быть достигнут посредством изменения констант a и b в уравнении (3*), т.е. при сохранении исходной математической структуры. Таким образом, аппроксимация наблюдаемых значений научной продуктивности посредством отрицательного биномиального распределения позволяет поддержать вывод об инвариантности соответствующих индивидуальных или межгрупповых различий относительно весьма широкого диапазона внешних условий.

Р. S. 2007 года: в 60-е годы Р. К. Мертон определил феномен, о котором в данном случае идет речь, как «эффект Матфея», имея в виду известную евангельскую сентенцию (Матф. 13, 12); в 70-е годы многие социологи рассматривали этот феномен как проявление некоего универсального «паттерна» системной динамики («кто имеет, тому дано будет и приумножит-

ся, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет»), который сохраняется в любом сообществе, определяет реальную перспективу эффективного социального признания («успеха») и является одной из важнейших предпосылок к формированию «элиты», т.е. привилегированной категории «актеров».

Для автора данной книги показатели научной продуктивности и их зависимости от различного рода контекстуальных факторов, включая позицию национального научного сообщества в глобальном контексте («центр» или «периферия»), оставались «фокальной точкой» профессиональных и личных интересов на протяжении четверти века (где-то с начала 70-х вплоть до «перестройки» и связанной с этим перемены места найма); к сожалению, соответствующие издания, научные отчеты и рабочие материалы к настоящему времени не сохранились или доступны лишь отчасти.

В. Беседы о мифологии: феномен и проблема свободы

МЫ С ВАМИ ЗНАЕМ²⁵, что любое утверждение о реальности обладает так называемым «эпистемологическим статусом», т.е. может рассматриваться как истинное, ложное или непроверенное, и привыкли считать, что публикация непроверенных утверждений (все равно – в книге или эфире) категорически недопустима. Между тем, специалистам хорошо известно: сколько-нибудь безупречная верификация наших утверждений, т.е. установление их истинности или ложности – задача «по сути дела» неразрешимая и потому на практике обычно сводимая к ссылке на прецеденты, сложившуюся традицию или источники сведений, которые принято считать авторитетными – как это, собственно, и делается в суде; иными словами, «эпистемологический статус» утверждений определяет прежде всего «традиция» и «авторитет», а вовсе не различия в «сути дела». Вот почему склонность к скептицизму следует рассматривать как достаточно типичное проявление «аномии», т.е. расстройства нормативных систем личности или общества, утраты ими ориентиров и критериев, а вовсе не свидетельство какой-нибудь там «живости ума» или «свободы от стереотипов», как это нередко воображают студенты.

²⁵ В «Приложение В» вынесены конспекты дискуссий, состоявшихся в рамках программы «Беседы о мифологии» на христианском церковно-общественном радиоканале «София», сколько помню – зимой 1998/99 года.

Кроме того, существует категория утверждений, для которых верификация заведомо невозможна; таковы заявления типа «враг будет разбит», «победа будет за нами» или «я тебя по стенке размажу», которыми обмениваются «стороны» поединка перед его началом, сакраментальное «я писатель» в одной из миниатюр Даниила Хармса, которую мы уже как-то разбирали, а также любая другая артикуляция притязаний на перформативное «амплуа», т.е. на социальное признание – это все утверждения о будущем, которое еще не настало.

Для таких утверждений дихотомия истины и лжи или иллюзии и реальности утрачивает смысл, в момент их публикации исход поединка безусловно и заведомо неизвестен (если только там, на самом верху), вследствие чего «эпистемологический статус» этих утверждений заведомо проблематичен, он получает определенность только «задним числом», в ретроспективе уже состоявшегося развития событий. Иными словами, не существует иного способа проверить утверждения о будущем, кроме как добиваясь на практике (или скромно дожидаясь в стороне от зоны конфликта) его превращения в настоящее и затем в прошлое (как это, собственно говоря, и предполагают так называемые «ордалии»); между тем, пресловутое «исполнение желаний», т.е. универсальный конечный результат наших собственных повседневных действий, предполагает именно такое превращение будущего в настоящее.

Коротко говоря, утверждения о будущем – это всегда артикуляция «предметов желания» в дискурсе, который становится «знанием», т.е. утверждениями, истинность которых может быть доказана или опровергнута, исключительно в контексте реальной социальной динамики. Вот почему публикация таких утверждений «просто так», «всеу», вне какого-то актуального прагматического контекста, связывающего запрос на составление прогноза с исполнением «конкретного», устойчивого и достаточно сильного желания, никогда не дает сколько-нибудь примечательного результата: с этим «эффектом Кассандры» практикующие аналитики сталкиваются на каждом шагу. Более того, именно по этой причине неисполнение прогноза, в осо-

бенности такого, который конструируется в режиме доверительной личной беседы – отнюдь не свидетельство его ошибочности, на практике такой прогноз чаще всего является стимулом к тем или иным действиям, а вовсе не описанием их возможного результата.

В самом деле, существует авторитетная точка зрения, согласно которой повседневная социальная интеракция – это такой же самый поединок между индивидами, у каждого из которых есть свои специфические желания и свои собственные представления о будущем, которые совпадают только в устойчивых и очень простых сообществах, мало отличающихся от обыкновенного биологического симбиоза между матерью и ребенком в период беременности или сексуальными партнерами в момент зачатия; в таком контексте, очевидно, любой возможный прогноз приобретает сугубо инструментальные функции, т.е. должен рассматриваться скорее как следственная версия, нежели окончательный приговор суда.

Более того, есть не менее авторитетная точка зрения, согласно которой повседневная социальная реальность – вовсе не «райский сад», вследствие чего наши желания совсем не обязательно исполнимы даже в тех случаях, когда они единодушны, благородны и высказаны публично в mass media или на выборах – есть еще объективные «тенденции развития» или «законы природы и общества», с которыми нам всем очень часто волей или неволей приходится вступать в конфронтацию чисто из желания остаться в живых и на свободе.

Вот почему любое утверждение о будущем, будь то публичное заявление какого-нибудь информированного эксперта или сугубо приватное обещание, сохраняет актуальность ровно до тех пор, пока его нельзя проверить, тогда как на войне, в церкви и в «гражданском обществе» действует правило: судить о человеке и его действиях только задним числом, после его смерти, желательно – годы спустя после этого события, когда социальное признание становится констатацией реального «положения вещей», а не артикуляцией каких-нибудь актуальных пристрастий и желаний, исключающих мемориальную доску, топоним или эпо-

ним, памятник на бульваре или городской площади, беатификацию, причисление к лику святых или, наконец, окончательное и чистосердечное забвение. Во всяком случае, у взрослых людей и в сколько-нибудь сложных обществах проблема верификации никогда не становится самодовлеющей, она всегда включена в какой-нибудь прагматический контекст (политический, экономический, медицинский), в границах которого исполнение наших желаний остается единственным надежным критерием истинности или ложности любых утверждений о реальности.

В связи со всем этим стоит припомнить вопрос, возникший где-то на исходе нашей предыдущей беседы, на который я ответил, и ответил в принципе правильно, но, пожалуй, недостаточно точно: вопрос о том, что эта примитивная аналитическая парадигма («исполнение желаний» как универсальный императив поведения) справедлива, когда мы говорим о каких-то очень простых вещах – типа «встать с постели», «суметь протянуть руку», «налить себе стакан воды», как-то элементарно себя обслужить, а когда речь идет о вещах более глубоких, то эта модель, наверное, не действует. Я тогда сказал: нет, она все равно действует, потому что мы применяем один и тот же понятийный аппарат, одни и те же стратегии рефлексии независимо от того, о какого сорта действиях идет речь: идет ли речь о действиях, связанных с удовлетворением наших простейших физиологических потребностей, или же речь идет о действиях, связанных с достижением Царствия Небесного и спасением души. Иными словами, проблема все равно представлена нами и может быть артикулирована в разговоре с собой, в разговоре с кем-то другим и даже в молитве теми же самыми переменными «хочу», «могу» и их отношениями: «хочу, но не могу», «могу, но не хочу»; это уже понятно, что такое, в данном случае, скажем, когда речь идет о достижении такого результата как «жизнь вечная» и, соответственно, диалектика того и другого.

Это, безусловно, точный и верный ответ на вопрос, который мне был задан, однако он требует достаточно развернутых пояснений, потому что именно диалектика «хочу» и «могу» определяет те принципы, которыми мы руководствуемся в повсед-

невной жизни, именно в этих терминах мы реально оцениваем результаты наших действий, моделируем текущую проблемную ситуацию или определяем те инвестиции, которые необходимы для достижения поставленных целей: действие, которое не обеспечено сильным и устойчивым желанием, не может быть успешным, опять-таки о чем бы ни шла речь.

Но это еще и та модель повседневного действия, которая лежит в основании любого возможного мифа: о чем бы ни шла речь, миф нам всегда моделирует наши собственные повседневные действия, их типовую мотивацию и рациональность или предпосылки социального признания их субъекта, только поэтому, читая, скажем, Евангелия или какой-нибудь пересказ мифов Древней Греции (будь то Софокл или Роберт Грейвз), мы можем «проваливаться сквозь текст», испытывая про себя ощущение «... да это ж про меня, про нас про всех, какие ... волки!», цитата из Высоцкого тут очень хорошо резюмирует аналитику Ролана Барта; так вот, в той степени, в какой миф нам рассказывает о нашей собственной повседневной жизни, в этой самой степени структуру мифа как нарратива определяет именно диалектика «хочу» и «могу».

В контексте и перспективе основательной стратегической рефлексии эта диалектика, безусловно, может усложняться, дополняться или даже вытесняться другими, более сложными аналитическими парадигмами – скажем, концепциями, которые моделируют повседневное действие в понятиях генезиса, структуры и функции, как в социологии, или пресловутого «треугольника Фреге», как в семиотике и логике; тем не менее, отправным пунктом и «матрицей» рефлексии всегда остается мифология, т.е. моделирование повседневных действий как проблемной ситуации, в границах которой диалектика «хочу» и «могу» является сценарием, предопределяющим реальное развитие событий – рафинированный столичный интеллект тут ничем не лучше какого-нибудь провинциального аутсайдера, просто у них мифология разная.

Например, мифологема «золотого века», которая под тем или иным псевдонимом существует во всех без исключения ми-

фологиях, в том числе и в христианской как первоначальное райское (оно же естественное) состояние людей; напомним, что «мифологией» мы с вами условились называть любые утверждения о реальности, которые не предполагают верификации, т.е. переживаются как непосредственная артикуляция в дискурсе чего-то очевидного и само собой разумеющегося («предметы желания» как раз таковы). Что, собственно, такое этот самый «золотой век», «райский сад» или другие подобные мифологемы? – это такое «положение вещей», когда соответствие «хочу» и «могу» является гарантированным и тотальным, не бывает такой ситуации, чтобы бы человек хотел, но не мог, не бывает и такой ситуации, когда бы человек мог, но не хотел – такая первичная гармония существования. Все, что человек хотел, все человек и мог; и никогда не было такой ситуации, когда человек не хотел, но должен был делать. Это и есть, собственно, «золотой век»; но это же и есть то, что называется «райский сад», более того – это истинный социальный идеал любой революции, под какими бы знаменами она ни осуществлялась.

Я сильно подозреваю, что это и есть то самое обстоятельство, которое подвело Еву в ее диалоге со змием: она привыкла, что между «хочу» и «могу» нет разрыва, если хочу, значит – могу. Если я хочу, но не могу, то только потому, что не хочет кто-то более сильный, кто-то более главный: такие люди спускают воду в унитазе или моют руки перед едой исключительно потому, что этого требует мама (или кто-нибудь еще, кто осуществляет надзор). Стало быть, ежели есть эффективная «отмазка», позволяющая уклониться от надзора, или другой какой-то сильный и главный его субъект дезавуирует или даже вовсе упраздняет конкретный локальный запрет на исполнение желаний, то вопрос о возможности действия не стоит. Если я хочу и мне позволено, то никаких «должен – не должен», никаких других регуляторов действия, кроме пресловутого «принципа удовольствия», в данном случае заведомо быть не может.

Если мы вспомним одну из, пожалуй, ключевых историй Ветхого Завета, историю Авраама и Сарры, историю исхода Авраама из города Ур Халдейский, то мы там обнаружим ту же са-

мую проблему: там есть некое «хочу» и «не могу» в начальной фазе истории и там есть вот это самое «хочу» и «могу» в финальной фазе истории. История начинается с «хочу, но не могу» в городе Ур, заканчивается «хочу, и могу, и достиг уже, чего хотел» после жертвоприношения на горе Мориа (как я понимаю, ныне Храмовая Гора в Иерусалиме); она разворачивается как некая эпопея преодоления разрыва между «хочу» и «могу», которая в Библии представлена как история перехода из одной точки пространства в другую: из города Ур на гору Мориа; вот этот переход семантически, интерпретативно и означает ликвидацию разрыва между «хочу» и «могу», разрыва, который имеет место в начальной точке истории.

Что означает этот разрыв, как он возникает – в данном случае не так уж и важно. Мы ведь не знаем, что реально означает, что у Авраама не было сына, а Библия излагает историю таким образом, что это, вообще говоря, и не важно. Кстати сказать, это могло означать массу самых разных вещей; и с этой точки зрения, как возникает этот разрыв между «хочу» и «могу», и почему для его преодоления нужен был «переход», какая-то мифологема, которая моделирует его реальную динамику, исход в какое-то другое «место» и затем «жертвоприношение», может истолковываться очень по-разному.

Может быть, это, так сказать, медицинская проблема, для решения которой нужно соответствующее хирургическое или лечебное вмешательство, которому в некотором роде эквивалентно все это долгое странствие через пустыню; может быть, речь шла о том, что, вообще говоря, у Сарры и Авраама были дети, даже были сыновья, но по каким-либо причинам эти дети, эти сыновья не были законными, и смысл всего этого странствия, смысл испытаний, которым подвергался Авраам со стороны Б-га, и смысл испытаний, которым Авраам подвергал Сарру, в свою очередь, состоял, попросту говоря, в легитимации детей, которые у него появятся, тем более что жертвоприношение, которое совершается на горе Мориа, практически совпадает с некоторыми ритуалами усыновления, указанными в литературе по этнографии. Наконец, это может означать что-то вроде социальной

революции, ибо по имеющимся на сегодня данным в городе Ур Халдейский, как и в любом из так называемых «архаических» обществ, имела место так называемая «гинократия», и следовательно, у Сарры и Авраама вполне могли быть дети и даже сыновья, но это были сыновья Сарры, а не Авраама, и речь шла не просто о появлении новых детей, а об изменении статуса этих детей, об изменении лидерства, об изменении власти в семье и ее структуры – могло быть и такое.

Все эти истолкования для библейского текста равновозможны и равнопосторонни. В Библии речь идет о том, что в начале истории Авраам хотел, но не мог, между «хочу» и «могу» был разрыв, а в конце истории вследствие всех тех приключений, которые Авраам претерпел в пустыне во время своих странствий по ближневосточным территориям, этот разрыв между «хочу» и «могу» исчез.

Ну и, наконец, есть совершенно замечательная в этом смысле евангельская история – притча «Христос и ханаанейка»; я ее перескажу своими словами, чтобы на ситуацию, о которой идет речь (Мф 15, 21-28), так сказать, «спроецировать» наш собственный повседневный опыт. История начинается совершенно замечательно – лишняя иллюстрация к тому, что это просто запись подлинных событий, такое сочинить очень трудно.

На первый взгляд, история очень странная: некая женщина ходит за Иисусом с его учениками и просит, даже требует, и очень настойчиво, чтобы Иисус исцелил ее дочь. Иисус, попросту говоря, не обращает на нее внимания, в упор ее, что называется, не видит. И тогда ученики к Нему приходят и начинают говорить: «Учитель, сделай, что она хочет – достала». Это почти дословно евангельский текст: «Ходит, кричит за нами», «достала», как теперь говорят. И тогда Иисус устраивает этой женщине, ханаанейке, некое жестокое испытание, это явно испытание, когда Он говорит о том, кого послан лечить, извините за формулировки, но мне тут важно, чтобы ситуация была понятна – кто имеет право обращаться в эту ведомственную поликлинику. В сущности, Он говорит что-то в роде пресловутого: «Эта поликлиника ведомственная, в нее не каждый имеет право обра-

щаться». Затем Он говорит нечто такое, что звучит еще более чудовищно – Он говорит о «псах», которым «негоже бросать», и все такое прочее – попросту говоря, гонит женщину прочь.

Ясно же, что речь идет о некоем испытании, но узнать в этих словах и жестах испытание можно, ежели только сам побывал в подобного рода ситуации. И, получив соответствующие ответы с ее стороны, Он говорит: «Велика, женщина, вера твоя. Да будет по желанию твоему». Тут «формат» интеракции ровно этот самый: есть некое желание – желание, чтобы дочь была здорова. Это первичное желание иметь здорового ребенка, здоровую дочь трансформируется в желание, чтобы Учитель или кто-нибудь исцелил дочь – все мы ясно понимаем, что обращение к Иисусу было последней надеждой, до этого она по врачам немало походила уже. Желание, которое упорно не может осуществиться – она хочет, чтобы дочь исцелилась, но не может ничего сделать.

* * *

Чего, собственно, добивается от Христа ханаанейка в известной евангельской притче? – она хочет, чтобы Он обратил на нее внимание, принял в ее делах участие и, соответственно, исцелил больную дочь, и это желание добиться своего, навязать Сыну Божию ситуационную роль «терапевта», тем более что и речь идет именно о целительстве, действительно «велико»; его-то евангелист и определяет как «веру», т.е. пристрастное субъективное убеждение в том, что всякого рода утверждения о спасительной миссии Иисуса – чистая правда.

Этим пристрастным убеждением ханаанейка в буквальном смысле слова «привязана» к Иисусу, точнее – к артефактам Его действий; «привязана» по той простой причине, что верит «на слово» носителям Благой Вести, т.е. слово «вера» приобретает в данном случае двойственный смысл: оно означает не только абсолютную веру в достоверность евангельского «слова», но и абсолютное доверие Тому, о Ком это «слово» повествует, абсолютную нерасторжимость этого «слова» и того «дела», которое

свершается верными – последние становятся как бы живыми воплощениями Благой Вести. Тут, правда, присутствует весьма архаичный (и, вообще говоря, чуждый новозаветному нарративу) мотив принуждения божества к явлению своей силы (история Персея, Тантала, Сизифа и Орфея), принуждения, которое в данном случае осуществляется как обыкновенное бытовое «приставание» к влиятельному лицу.

Если теперь посмотреть, как мы сами трактуем проблему свободы в повседневной жизни (а не на страницах философских трактатов), становится сразу понятно, что в «местах заключения» нас прежде всего лишают такой ценности, как действие, направленное на исполнение собственных желаний. В бытовых разговорах или наедине с собой мы считаем себя свободными именно (и только) тогда, когда реально можем «делать, что хочется».

В самом деле, тюрьма или пресловутая «зона» может быть сколько угодно комфортной, срока – короткими, сокамерники – милейшими людьми, а надзиратели – воплощением доброй воли и хороших манер, однако возможность исполнения желаний здесь непременно будет в большей или меньшей степени ограничена – пусть даже не вполне и не навсегда (в этом, собственно говоря, и состоит наказание). На практике именно масштабы, жесткость и, главное, содержание подобных ограничений являются показателями, по которым реально оценивают степень лишения свободы. Именно исполнение желаний определяет границы того «хронотопа», как сказал бы М.М. Бахтин, который может рассматриваться как пространство и время наказания – именно (и только) в таком контексте мы можем позволить себе его количественную оценку.

Более того, мы называем бессмертием (опять-таки в бытовых разговорах) такое «положение вещей», когда у свободы вовсе нет границ, по крайней мере – во времени и пространстве повседневного действия. В этом случае, очевидно, исполнимым (причем не только в эсхатологической, но и сугубо технической, медицинской перспективе) становится универсальное и наиболее тщетное из желаний человека – желание остаться в живых.

Для аналитика, исследующего культовые практики (как, впрочем, и для самой Церкви), предлагаемая постановка вопроса является особенно актуальной, потому что именно исполнение желаний (на мой взгляд, по крайней мере) определяет интенцию (пусть и латентную) всякого возможного конфессионального дискурса. Любая религия или магическая практика имеет своим предметом прежде всего исполнение желаний, по крайней мере – подразумевает соответствующее «положение вещей» в качестве той проблемы, вокруг которой выстраивается дискурс.

Бог – пожалуй, единственный действующий субъект, для которого проблема исполнения желаний (а следовательно – и проблема свободы) не существует вовсе (впервые эту мысль я встретил где-то у С.С. Аверинцева), между желанием, скажем, чтобы был свет, и соответствующими физическими событиями в данном случае нет даже разрыва во времени, не говоря уже о каких бы то ни было опосредствованиях, которые, собственно говоря, и превращают человека в «подобие Божие».

Каждый вечер, возвращаясь домой с работы или из похода по магазинам, мы испытываем такое же самое желание «чтобы был свет», мы даже можем его исполнить, притом довольно легко (в городе, по крайней мере), однако все это предполагает множество довольно сложных конструкций и практик (науку электротехнику, энергетику как отрасль промышленности, доступный и стабильный рынок услуг в данной области, дееспособные коммунальные службы, на крайний случай – какое-нибудь очередное «кольцо силы», магическое заклятие или волшебную лампу Алладина).

Иными словами, свобода человека всегда и повсюду локальна, у каждого есть желания, исполнение которых невозможно из-за недостаточности нашей интеллектуальной компетенции, физических возможностей или технологий. За этими границами повседневное исполнение желаний предполагает договор между Богом и сообществом «обращенных», «следование за» Иисусом (Мухаммедом, Буддой) как лидером или обращение к иным культовым практикам, прочие живые твари отличаются от

человека прежде всего тем, что ничего обо всем этом не знают и знать не могут – так, во всяком случае, принято считать.

У Гоголя в повести «Нос» представлена как раз такая ситуация, когда отсутствие или недостаток свободы обусловлены прежде всего «хиатусом» между предметами желания, к исполнению которого стремится герой, и действиями, которые тот реально способен предпринять. Желание вернуть нос на место, т.е. преодолеть «положение вещей», при котором майор Ковалев неизбежно становится изгоем, исключительно велико, по-человечески вполне понятно и куда как легитимно, однако все эти обстоятельства отнюдь не обеспечивают его исполнения.

Или вот повесть «Шинель», в которой рассказывается о попытке исполнить естественное и даже вполне заурядное желание некоего чиновника «построить» себе шинель; вот поручик Пирогов, который «хочет, но не может» познакомиться с девушкой, составившей (так уж получилось) предмет его желаний, или провинциальный градоначальник, который точно так же «хочет, но не может» сколько-нибудь удачно выдать дочь замуж (да и вообще перебраться в столицу); вот, наконец, умница Павел Иванович Чичиков с его обаянием, энергией, изобретательностью и несомненной личной храбростью, который всего-то хотел «сколотить капиталец на старость», да так ничего и не смог.

Такого рода экзистенциальные «неудачи», обусловленные актуальным прагматическим контекстом действия, а вовсе не спецификой его ожидаемого результата – вообще лейтмотив, центральная тема Гоголя. Эта тема появляется уже в «Вечерах на хуторе», достигает кульминации в «Повестях» и получает естественное (даже единственно возможное) завершение в «Избранных местах из переписки», когда пресловутым «заколдованным местом», «хронотопом», в границах которого эффективное повседневное исполнение желаний заведомо невозможно, становится уже вся Россия.

С этой точки зрения проблема исполнения желаний (а следовательно – и свободы) приобретает свой исходный, архетипический «формат» у животных. Список желаний в данном случае универсален и задан генетически, поэтому животные либо на-

слаждаются свободой младенца, либо вымирают (за недостатком воды и пищи прежде всего), либо, наконец, эмигрируют за границу соответствующего «заколдованного места». Человек ведет себя точно так же – поскольку, разумеется, остается живой тварью: устойчивое и неодолимое ограничение свободы (какими бы обстоятельствами и факторами оно ни было обусловлено) всегда оборачивается эмиграцией или ее субститутами (разводами, текучестью кадров и увеличением suicide rate). На рубеже 19 и 20 века (канун долговременного глобального кризиса) эмиграция даже стала массовым и весьма respectable социальным идеалом, апологию которого можно найти у самых разных авторов – литераторов, публицистов, политических аналитиков. Сегодня уезжать некуда, вследствие чего и проблема свободы снова оборачивается коллизией, на которую указывает еще Св. Апостол Павел – умереть или измениться (на что животные, как правило, неспособны).

Напомню, что такой популярный образец литературы *fantasy*, как «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина – это прежде всего повествование, «фокальным центром» которой является «кольцо силы», т.е. устройство для исполнения желаний. Что такое пресловутая «волшебная лампа Алладина», как не, опять-таки, устройство для исполнения желаний? В свою очередь, о чем ином идет речь в библейской истории Авраама, как не об исполнении желания, причем желания вполне обыденного и по-человечески куда как понятного – мужчина хочет иметь сына от любимой жены? Или, наконец, к чему сводится коллизия хорошо всем известной евангельской притчи о Христе и ханаанеянке? – к исполнению обыденного, очень простого и, к сожалению, часто возникающего желания – исцелить больного ребенка; притча о богатом юноше ровно о том же.

Что касается секулярных стратегий, перспектив или устройств для исполнения желаний, то их основательная разработка – важнейшая отличительная особенность эпохи, которую обычно называют «modernity», т.е. исторического периода, завершившегося после второй мировой войны. Мы живем уже в эпоху *post-modernity*, что самым существенным образом сказыв-

вается на наших актуальных концепциях свободы и стратегиях ее достижения или воспроизводства. Какую-то свою концепцию, свой общепринятый способ исполнения желаний, разумеется, предполагает любая культура. Тем не менее, именно «новое время» создает все сколько-нибудь существенные предпосылки для превращения «эмансипации» в проблему, перспектива решения которой определяет политическую, экономическую и социальную «текстуру» повседневного действия.

В ряду этих предпосылок, пожалуй, наиболее важное место занимает представление о свободе как о политическом, экономическом или даже техническом артефакте, т.е. о проблеме, которая имеет финальное решение, или состоянии, которое может быть достигнуто и затем поддерживаться посредством определенных эмансипативных практик. Как предполагается, всегда существует такое «положение вещей», когда человек вправе сказать: «я свободен, я достиг этого состояния»; предполагается даже, что пространство и время свободы – это оперативный ресурс, которым всегда можно распорядиться по собственному желанию или даже капризу (как деньгами из кошелька).

Кроме того, принято считать, что всегда существует рациональное решение этой проблемы, некий по-человечески понятный способ достижения свободы, стратегия исполнения желаний, которая может быть сформулирована заранее и затем институционализована как универсальный социальный порядок, гарантирующий сохранение этой свободы. Разбираться в различиях между марксизмом и неолиберализмом, традиционализмом и какими-нибудь анархическими конструкциями – страшно увлекательное занятие, но в «основании» любой из этих концепций вы всегда обнаруживаете веру в существование рациональных эмансипативных технологий.

В этом плане религиозная концепция свободы принципиально отличается от секулярных прежде всего тем, что рассматривает исполнение желаний как «опыт удачи», т.е. внешнее, феноменальное проявление благодати. Иными словами, с религиозной точки зрения свобода осуществляется именно и

только в конкретном, партикулярном акте исполнения желаний, каков бы ни был их специфический предмет.

С этой точки зрения «сделать свободными» значит наделить способностью эффективного повседневного действия, т.е. инициировать процесс, в социологии определяемый как формирование идентичности (личного «я» или соборного «мы»), а вовсе не обеспечить какое-нибудь стационарное «положение вещей», в границах которого желание свободы исполнено «полностью и окончательно». Как сказал бы, наверное, Кант, «свобода» – регулятивный, а не конститутивный, принцип, ее воплощением является дееспособный и вменяемый субъект («подобие Божие»), а вовсе не «порядок вещей», при котором любое возможное желание уже и заведомо предвосхищено (как в ночных кошмарах или сексуальных утопиях де Сада).

Конечно, рациональная эмансипативная технология, как, впрочем, и любое другое орудие труда, будь то компьютер или лопата – штука полезная, даже необходимая, однако для того, чтобы мы реально осуществили свою свободу в конкретной проблемной ситуации, нужна еще благодать, удача, милость Божия, называйте это как хотите. Это всегда риск, всегда конфликт с неопределенным исходом, более того – пытаюсь исключить этот риск или конфликт, мы всегда проигрываем, и дело опять-таки заканчивается тюремными нарами или больничной палатой. Этот специфический парадокс обнаруживается в самых разных контекстах, от исторических и биографических до чисто литературных; я бы вообще определил рациональные эмансипативные технологии как сатанинский соблазн.

Еще одно, на мой взгляд – наиболее существенное отличие религиозного и секулярного взгляда на проблему свободы наглядно демонстрирует уже помянутая ранее притча о Христе и ханаанейнке: для секулярных концепций свободы главное – это легитимность желания, т.е. его правильность, допустимость, законность, тогда как его исполнимость как бы предполагается само собой разумеющейся. Обычно так рассуждают маленькие дети: мама, папа, на крайний случай – воспитательница в детском саду может исполнить любое твое желание, главное, чтобы

это желание было правильным, чтобы оно соответствовало некоторому шаблону, который, естественно, может уже обсуждаться («у нас свободная страна и мы живем в демократическом обществе»). Так же точно смотрят на проблему свободы неработающие женщины и вообще иждивенцы: ежели на мужа (или пресловутое «государство») как следует надавить, то любое желание становится исполнимым, проблема в том, чтобы оно было признано легитимным или, на крайний случай, достаточно сильным (как гласит расхожая отечественная поговорка, «если нельзя, но очень хочется, то можно»).

Тут стоит подчеркнуть, что в Библии подобный подход к проблеме исполнения желаний встречается в одном-единственном месте, это сцена соблазнения Евы у райского дерева, когда вопрос о том, можно ли сорвать плод с дерева жизни и стоит ли это делать, не обсуждается вовсе (и так известно, что это запрещено), обсуждаются только вопросы морального и всякого прочего алиби, «отмазки», как теперь принято говорить. Как только, однако, вопрос об исполнимости желания подменен вопросом о его легитимности, тут же появляется змей-искуситель, который в два счета докажет, что ваше желание законно, в чем бы оно не состояло: как говорится, «что естественно, то не стыдно». Между тем, именно эта точка зрения определяет «формат» различного рода дискуссий о правах человека, осуществляемых при посредстве mass media, здесь всегда обсуждается вопрос о законности того или иного желания, тогда как соображения типа «желание ваше понятно и вполне оправдано, однако его исполнение чревато» звучат до крайности редко.

Как-то в институте Св. Фомы на семинаре по социологии мои студентки поставили вопрос о праве женщины иметь ребенка; когда же я спросил «Кто и с какой стати будет за это платить?», все как-то поскучнели – судя по всему, вопрос об осуществимости желания и, как следствие, о так называемой «цене вопроса», смею даже предположить – о законном и вполне удавшемся браке как о необходимом исходном условии материнства им попросту не приходил в голову. Более того, по-видимому, никому не приходит в голову и другое очень простое соображение: в пер-

спективе материнства как специфического «права на...» или их совокупности единственной реальной альтернативой законному и удавшемуся «патриархальному» браку является принудительное изъятие заработка у посторонних мужчин, т.е. экспроприация собственности, которая остается легитимной только в контексте репрессивного политического режима. Коротко говоря, для Церкви вопрос о легитимности желания попросту лишен смысла: универсальная религиозная концепция жертвы, у христиан артикулированная в понятии «свой крест», предполагает, конечно, что всякое действительное желание оправдано уже тем, что существует, однако не считает его исполнимым заведомо, и есть немало таких желаний, исполнение которых стоит слишком дорого – не всегда и не каждому эта ноша по плечу.

Как вы, надеюсь, помните, свою аналитику мифологем, связанных с феноменом и проблемой свободы, я начал с обсуждения вопроса об «эпистемологическом статусе» моих и любых других утверждений, т.е. их истинности, ложности или проблематичности; теперь я бы обратил ваше внимание на то, что перспективу верификации этих утверждений определяет в первую очередь модальность используемых глаголов, т.е. чисто грамматическая переменная.

В самом деле, проблема верификации заведомо разрешима, если утверждение предполагает глаголы в изъявительном наклонении и прошедшем времени («было», «стало», «мы победили»), как это обычно бывает в свидетельских показаниях очевидцев. В то же время она становится проблематичной в изъявительном наклонении и настоящем времени («допускает», «происходит», «наблюдается»), т.е. при наблюдении за событиями, которые происходят «в данный момент», «на глазах» этих самых очевидцев. Как хорошо знают психологи, социологи или вообще все те, кто изучает повседневные действия человека, именно в этом случае возникает проблема так называемой «валидности» различного рода показателей или критериев оценки, т.е. их уместности и приемлемости.

Для утверждений с глаголами какой-нибудь иной модальности вопрос об установлении «эпистемологического статуса» во-

обще не предполагает корректного решения, и тут уже приходится верить или не верить «на слово», т.е. наделять человека, делающего эти утверждения, авторитетом лидера или эксперта. Вот почему в контексте спортивного поединка «правила игры», распоряжения тренера и действия арбитра не обсуждаются, будущее артикулировано в дискурсе исключительно как аналитическая парадигма, мифологема или даже «видения», «голоса» и «знаки», тогда как записи в медицинской карте или полицейские рапорты не знают сослагательного наклонения. О признаках, которые отличают спортивный поединок от судебного, а этот последний – от различного рода коллизий, возникающих, скажем, в практике воспитания детей, на выборах в парламент или при «разборках» с так называемым «внутренним голосом», предлагаю подумать самим: знания и навыки, которые для этого необходимы, есть у каждого взрослого человека.

С. Человек на другом берегу

...ДЛЯ НАС СЕГОДНЯ Вертинский – это не человек, а маска²⁶, которую на себя так или иначе примеряют самые разные люди, примеряют сознательно и более-менее успешно, она как бы у всех у нас перед глазами, она по-прежнему у нас перед глазами, и мы все ее внимательно рассматриваем, это очень популярная маска.

Но что это за маска? Каковы ее функции, структура и происхождение? В чем состоит message, т.е. послание публике, которое транслирует эта маска? Что люди хотят сказать, выразить и какую проблему решить, когда примеряют эту маску? Как только начинаешь размышлять о Вертинском, универсальность и важность этой маски, ее не сегодняшнее и не-ситуационное происхождение становится очевидным.

Смысл и происхождение этой маски я понял, читая несколько очень странных и, казалось бы, совсем разных книг. Первая – комментарий к биографии Гурджиева, написанный Олегом Шишкиным²⁷. Я вдруг понял, что биографии Гурджиева и Вертинского до известного периода, до 1947 года совпадают вплоть до мелочей. Разница, может быть, такая: Вертинского в резуль-

²⁶ Текст «Приложения С» составили выдержки из распечаток довольно пространного диалога с В.В. Марочкиным, сколько помню – в апреле 2006 года; реплики интервьюера выделены курсивом, соответствующая совместная публикация, надеюсь, когда-нибудь появится.

²⁷ Шишкин О. Сумерки магов. Георгий Гурджиев и другие. М.: Яуза/Эксмо, 2005.

тате судебного процесса выслали из Румынии, а Гурджиева – из какого-то другого «лимитрофа», кажется, из Болгарии.

Оба они были в Константинополе, и судьба их обоих в Константинополе радикально отличается от обычной биографии русского эмигранта: и того, и другого принимали высокопоставленные лица (кого-то из них, по-моему, даже султан). Это не просто эмигранты или даже их элита, это радикальное исключение из правила: «дорогие гости».

Оба они примерно в одно и то же время были во Франции. Оба они в одно и то же время, в середине 30-х, предприняли попытку эмиграции в Америку. И для обоих эта попытка оказалась неудачной. Вот тут только у них возникают расхождения в биографии: Гурджиев вернулся назад во Францию, позабыв, что человеку его типа, т.е. настоящему «страннику», возвращаться никуда и никогда нельзя. И в итоге в 1949 году умер от неизвестных причин, от остановки сердца.

А Вертинский поехал дальше в Китай. Потом вернулся на Родину, что Гурджиев, кстати, в середине 30-х годов тоже пытался сделать, но не смог. Вертинский прожил в России еще довольно долгое время, впрочем, умер он тоже в дороге и тоже от остановки сердца.

– *Насколько я помню, вернулся он в 1943 году, а умер в 1957 году.*

– Я сейчас отмечаю не буквальное совпадение дат, а сходство биографий и географических траекторий, которые расходятся в одном месте, в Соединенных Штатах, причем Вертинский едет дальше и потому возвращается на Родину, а Гурджиев возвращается назад и потому умирает. Но умирают они оба примерно при одних и тех же обстоятельствах – двигаться дальше стало некуда, и сердце остановилось. Примерно в то время, когда Вертинский обустроивался на Родине, Гурджиев во Франции почувствовал, что дальше двигаться некуда, на что указывают все описания обстоятельств его смерти, и потому умер. Тоже любопытно, да?

А вторая книга – Том Шиппи²⁸, «Дорога в Средиземье». Это подробная, научно-аналитическая биография Толкина, читая ко-

²⁸ Шиппи Т.А. Дорога в Средиземье. СПб. – М.: Лимбус Пресс, 2003.

тую, я вдруг обнаружил все характерные элементы той специфической маски, которую я первоначально связал с Вертинским.

Есть еще третья книга, которая мне тоже очень много дала – это автобиография Майлса Дэвиса²⁹, музыканта и негра (сам он себя всегда называет «черным», без всякой там «политкорректности»).

И когда я понял, что за феномен передо мной, начало собираться очень много всякого разного. Бывает такое странное явление: люди-невидимки. Они занимают очень важное место на сцене, они у нас всегда перед глазами, и при жизни, и после смерти их маска, «паттерны» их биографии или «формат» повседневного действия – источник аналогий и образец для подражания. В то же время мы не отдаем себе отчет, кто перед нами, пока специально не задумаемся и не сконцентрируем внимание на такой фигуре.

Забегая вперед, скажу, что есть еще один человек, история странствий которого удивительным образом похожа на биографию Вертинского. Это Ким Филби.

– Вот, собственно! – о каком возвращении Вертинского в Советский Союз может идти речь, если из Советского Союза он никогда не эмигрировал? Страна, из которой он эмигрировал, была совсем иной, называлась иначе и к тому времени, когда Вертинский вновь поселился в Москве, уже много лет, как не существовала.

– Стало быть, и тут о возвращении в собственном смысле слова говорить не приходится. Но жили они после переезда в Советский Союз неподалеку: Вертинский – в Козицком, а Филби – в Трехпрудном переулке, т.е. метрах в 500 друг от друга. И отовариваться ходили, скорее всего, в один и тот же «елисеевский» гастроном. Другое дело, что они, конечно, не пересекались, потому что это происходило в разное время.

Тем не менее, их биографии очень похожи. И невольно возникает догадка: может быть, Ким Филби был представителем эзотерического ордена? Или Гурджиев – агентом НКВД? Или Вертинский – основоположником нового духовного учения?

²⁹ Дэвис М. Автобиография. Екатеринбург: Ультра-Культура/М.: София, 2005, с. 490.

Это ведь все люди в каком-то смысле очень похожие друг на друга, люди, у которых за спиной большое, долгое и чрезвычайно опасное странствие, причем странствие не только географическое, но странствие через разные сообщества, разные социальные среды, через разные роли и даже через разные идентичности – я бы сказал, «странствие через лабиринт». Это все люди, которые на протяжении своей жизни много раз менялись, и менялись не потому, что им так хотелось, и не потому, что они искали комфорта или выгоды, приспособляясь к какой-то вполне себе ничего аудитории, а для того, чтобы преодолеть какое-то новое препятствие, т.е. в обстоятельствах, когда нужно было перемениться, чтобы остаться в живых и на свободе. Св. Апостол Павел в одном из своих посланий, обсуждая проблему бессмертия, конструирует оппозицию: «все мы умрем» и «все изменимся». Это замечательное место (1 Кор. 15, 51), которое указывает и на то, что такое христианство, и на определенный тип людей, которые перманентно оказываются перед дилеммой «измениться или умереть». Они все время меняются, потому что альтернативой переменам оказываются немоть и неволя. Если искать архетипы в мифологии, это – разные современные варианты Одиссея.

Мы говорим о сходстве не в том смысле, что эти люди делали буквально одно и то же или служили в одной организации, но так выглядит их специфическое поведение в ситуациях конфликта и выбора. Каждый раз мы обнаруживаем нечто очень похожее – похожий «формат», хотя и реализуемый в разных сферах. Похожая маска, хотя и принимаемая в разных контекстах или по разным причинам. Такой же самый message, хотя и обращенный к разной аудитории. Очень похожая идентичность, хотя и сформировавшаяся в разных социальных или исторических условиях. Впрочем, по социальному происхождению они все – представители так называемого «среднего класса», по историческому контексту, в котором реально складывались их биографии, все они также в большей или меньшей степени ровесники.

– На кого еще похож Вертинский?

– На Ренату Литвинову. Размышляя о Вертинском, я впервые понял, какую именно маску нам демонстрирует Рената Литвинова. И подумал, что все это тоже знаки времени, которые надо видеть и очень внимательно читать, недаром ее так ценят разные умные люди.

В этом кругу единомышленников или товарищей по несчастью Вертинский – как бы «фокальная точка», по отношению к которой все остальные являются, может быть, фигурами более понятными и даже более заметными, но частичными. Александр Вертинский мог бы быть актером и сценаристом...

– *А он им и был!*

– Он мог бы быть духовным учителем – а он им и был для очень многих людей, об этом в своих воспоминаниях рассказывает Наталья Ильина³⁰. Наконец, Вертинский мог бы быть разведчиком – и я не поручусь, что он им не был или, на крайний случай, что он не оказывал какие-нибудь такие услуги компетентным органам, не будучи, конечно, в штате, а на чисто светской основе.

Тому, кто думает, что разведчик – это непременно «стукач» или человек с пистолетом, я бы напомнил фильм «Касабланка»: там есть герой Хэмфри Богарта, который не является разведчиком по должности – он содержит кабак в Касабланке, но этот кабак – место встречи множества самых разных людей, «разведсообщество» в Касабланке просто не могло бы функционировать, не имея такой площадки для различного рода интеракций, как этот кабак, место, где встречались все, кому было нужно.

– *Именно это Буба Касторский и предлагает в фильме «Новые приключения неуловимых».*

– В сущности, кем Вертинский был «по жизни» прежде всего? – содержанием такого же точно кабака. Сколько я о Вертинском не читал, повсюду очевиден тот факт, что этот человек всегда и повсюду был центром большой и пестрой компании, «прописанной» в том или ином кабаре или ресторане. Или где-нибудь еще в таком же публичном месте, где можно

³⁰ См.: Ильина Н.И. Дороги и судьбы. М.: Моск. рабочий, 1991.

как бы случайно встретить нужного человека, выпить, поесть и поговорить.

Я за свою жизнь, кстати, не раз замечал, что бывают такие странные фигуры, которым позволяют бродить без привязи, потому что наблюдение за ними чрезвычайно информативно. Вообще, удачливые первопроходцы – один из самых значимых персонажей советского мифа, более того – не только советского, но и американского, и вообще «колониального». Они как бы такой датчик, зонд, который сам по себе движется чрезвычайно замысловатым и куда более продуктивным образом, чем если бы им управляли. Я бы сказал, что «настоящие» разведчики очень часто следуют за такими людьми, как Гурджиев или Вертинский, чтобы посмотреть, куда они попали, что там делают и как себя ведут.

Для меня в какой-то момент духовный ландшафт советской литературы 20-х и отчасти 30-х годов стал определять еще один треугольник Маяковский – Булгаков – Вертинский, причем в этом треугольнике они – фигуры равновеликие.

– *Булгаков и Вертинский – выходцы из Киева, Маяковский – из Тифлиса.*

– Они – провинциалы. Но провинциалы с претензиями. Они – провинциалы, но это не «лимита». Как и на нашей с тобой памяти, в 70-е и 80-е годы, люди, переезжавшие из Петербурга в Москву. Конечно, с одной стороны это – провинциалы, но с другой – провинциалы с очень серьезными и вполне оправданными амбициями. Это – не деревня Большие Хохотальники. Это все-таки города с традициями, и с серьезными традициями.

– *Но помимо этого...*

– Почему именно этот треугольник? А это – три типовые реакции «среднего класса» на революцию. Маяковский, который воспел революцию как «весну человечества». Булгаков, который ужаснулся революции, как Судному дню. И Вертинский, который от революции брезгливо отстранился (в его дискурсе «chinoiserie» появляется задолго до переезда в Китай). Как оно там в действительности происходило – Бог весть, но Вертинский никогда не был противником револю-

ции, он просто в этом не участвовал – так сказать, воздержался. Булгаков и Маяковский в революции участвовали, и участвовали активно, каждый по-разному. А Вертинский отстранился от революции.

Я бы сказал, что странные отношения между этими тремя людьми и официальной советской культурой, включая, конечно, лично товарища Сталина (который для них для всех был неким привилегированным оппонентом – если хотите, «банкующий», тот, кто сдает карты в азартной игре), очень в большой степени связаны именно с тем, что они все трое признали революцию 1917 года как серьезную историческую реальность. Не как заговор масонов, немцев или еще кого-то, не как переворот, не как преходящее стихийное бедствие, а как реальное историческое и даже апокалиптическое событие. Когда мы читаем какие-то книги по теологии, то обнаруживаем, что ангелы в своем отношении к такой «революции», как наделение человека статусом «подобия Божия», разделились ровно на эти три категории: были ангелы, которые приняли человека, были ангелы, которые отвергли человека, и были ангелы, которые сказали: «Ну, в этом я не участвую».

Тут стоит поговорить об этимологии слова «революция». Это слово очень древнее, взятое из герметической и алхимической традиции. Это слово обозначает вот что: любой циклический процесс, в том числе и трансформация мироздания, знает такой момент времени, когда конец одного цикла и начало другого совпадают, когда «жизнь» и «смерть» взаимно обуславливают друг друга, а, скажем, покойник вдруг становится живым человеком (или наоборот). Это бесконечно краткое событие «перехода», Chonyid Bardo тибетской «Книги Мертвых», которое в старых коммунистических гимнах репрезентировано хорошо распознаваемыми парадоксами, оксюморонами или фигурами диалектики, которое принадлежит одновременно и прошлому, и будущему, такое «пограничное» состояние реальности, собственно, революцией и называлось: «кто был ничем, тот станет всем...» Вот такое развитие событий, когда «никто» становится важной персоной, а «король» превращается в «ни-

щего», тема Марка Твена, но и Вертинского тоже, это и есть «революция» в изначальном смысле слова.

Ну и, конечно, революция очень похожа на голову Медузы: каждый, кто ее однажды действительно увидел или хотя бы внимательно на неё посмотрел, пусть даже при посредстве какого-нибудь «волшебного зеркала», либо становится источником эффективного терапевтического нарратива (скажем, какого-нибудь эпоса о героях и происках «темных сил»), либо надолго, может быть, даже навсегда превращается в камень; это, конечно, недостижимый образец всякого возможного спектакля – как, впрочем, и зрелище только что отрубленной головы.

Любая «одиссея», в том числе и странствия Вертинского, предполагает некую специфическую коллизию, преодоление которой, собственно говоря, и определяет стратегию всякого удачливого «беглеца» или психотерапевта. Такую коллизию Грегори Бейтсон обозначает термином «двойная повязка» и рассматривает ее как необходимую исходную предпосылку развития неврозов, психозов или обычных ситуационных расстройств идентичности (например, вспышек агрессии). Как принято считать, именно эта коллизия объясняет, почему с войны не возвращается никто – ни павшие, ни оставшиеся в живых, как и революция тоже не позволяет вернуться назад никому – ни ее жертвам, ни ее героям, ни ее палачам, ни даже ее свидетелям.

Что касается Одиссея, то его возвращение домой, к семье, домочадцам и соплеменникам снова и снова откладывается вследствие того, что герой, подобно библейскому Иову, является одной из сторон противоборства – такая, понимаешь ли, «большая игра», очень похожая на ту, в которую играют персонажи «Пиковой дамы». Именно это обстоятельство определяет завязку, кульминацию и гипотетическую развязку любой возможной «одиссеи», ее циклическое развитие, характерное для карточных игр или спортивного поединка, и даже ее длительность, которая тем больше, чем существеннее исходный кон-

фликт: вопросы «жизни и смерти» решаются на протяжении всей жизни.

– *Это ведь и биография Булгакова! Противоборство между героем, мечтающим вернуться назад, к довоенному статус-кво, в гостиную Турбинных, и какими-то другими действующими лицами, которые эффективно, безнаказанно и в перспективе бесконечно этому препятствуют...*

– Длительность «одиссеи», каковой, безусловно, являются странствия Вертинского (или политическая биография Сталина), в этом плане весьма существенна. Это как бы такой бесконечный побег из камеры смертника. Я бы сказал, что Вертинский – один из первых в этом жанре, потому что судьба и Булгакова, и Маяковского, и Гурджиева... Ну, может быть, Вертинский как мастер побега из камеры смертника (это, как ты понимаешь, «формат», а не однократное событие) здесь наравне со Сталиным, своим основным партнером по стратегическому конфликту. И они существенно опережают всех остальных, кто упоминался в этой нашей беседе.

– *Да, Маяковскому не удалось сбежать из камеры смертников, Булгакову удавалось это несколько раз, и в конце концов он «заслужил покой».*

– Но Булгаков... И уж сколько эту фразу комментировали! Но никто не задался очень простым вопросом, который и для Вертинского тоже существенен: ведь для Булгакова, как для всякого человека воспитанного, сколько-нибудь социализованного и воцерковленного... ну, Августина он мог и не читать... – хотя, наверное, читал, говорят, именно у него позаимствовал эту фразу насчет света и покоя. Но ведь и Августин, как всякий хорошо воцерковленный человек, знал некий источник, и этот источник – Евангелие от Иоанна, где есть фраза о человеке, который не был светом, но свидетельствовал о свете и за это заслужил, чтобы его «взяли в свет», он даже стал самым первым (во времени) святым христианского пантеона. Это – Иоанн Креститель. Спрашивается: а чего заслуживает человек, который свидетельствовал не о свете, а о тьме, как Булгаков? Ведь это его постоянная тема: «тьма опустилась на великий город...»,

с первой строчки «Белой гвардии» и до последней строчки «Мастера и Маргариты». Это его лейтмотив, его рефрен, его постоянная тема, за пределы которой он никогда не выходит, он только углубляется в детали: какой именно великий город? – что это за тьма? – почему вдруг она опустилась? – и чего заслуживает человек, свидетельствующий о тьме?

Кстати, у сцены, где звучит эта фраза о свете и покое, есть куда более близкий во времени и по концепции, нежели тексты Св. Августина, прототип: это сцена из романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо», где очень похожая фраза звучит почти в таком же контексте.

Значит, если человек, свидетельствующий о свете, заслуживает света, то о человеке, который свидетельствует о тьме, с уверенностью можно сказать только одно: он точно не заслуживает тьмы. Но и того, чтобы «взяли в свет», он не заслуживает тоже. Потому что для этого надо свидетельствовать о свете. Значит, он заслуживает покоя, т.е. забвения в Лимбе, как некрещёные младенцы или мудрецы древности. И, понятное дело, человек, переживший революцию, покоя заслуживает. А человек, сумевший свидетельствовать о революции, заслуживает именно покоя, потому что пережить революцию в здравом уме или твёрдой памяти и не устать от жизни невозможно. Более того, невозможно пережить революцию и не замараться – тот факт, что ты пережил революцию, уже делает тебя соучастником её преступлений. Тут, правда, можно отмазаться: быть свидетелем, а не палачом и не жертвой. Тогда ты, значит, заслужишь покой. Логика очень простая и сама собой напрашивается.

Говоря о Вертинском, я постепенно подбираюсь к архетипу, который характеризует всех, о ком мы говорим. Это архетип «потерянного рая». Ведь что дает Одиссею шанс на победу? – вождение некоего «потерянного рая». Для Одиссея это – Итака, где его ждут жена и сын. Для Вертинского – это Родина, которой, кстати, никогда не существовало в таком виде, как ее Вертинский себе представляет. Как и для Шмелева, как и для многих других эмигрантов. Ну, понятно же, что «Лето Господне» – вовсе не описание реальной исторической России, какой

она была перед революцией. Это описание того «потерянного рая», желание вернуться в который движет любым беглецом. Это мифологема, которая позволяет беглецу остаться в живых и на свободе. Беглец, который потерял эту надежду на обретение «потерянного рая», погибает, сходит с дистанции.

Я придумал «формулу», которая артикулирует специфический message Вертинского на сцене: *человек на другом берегу*. Прежде всего, это самоописание Вертинского в одной из его лучших, а, может быть, и лучшей из песен, «В степи молдаванской». Он как бы (может быть, даже на самом деле) стоит у Днестра и про себя отмечает: «... российскую горькую землю узнаю я на том берегу». Тут все понятно: «на том берегу» никакой «российской горькой земли» узнать он не мог – перед нами, конечно, чистый «предмет веры», мифологема. Но эта мифологема, посредством которой Вертинский – отнюдь не единственный раз, у него таких случаев очень много – высказывается прямо, как он себя видит, как он себя чувствует и кто он такой: он – человек, который находится на другом берегу, «за речкой», по отношению ко всему, что ему дорого, по отношению к этому самому «потерянному раю». У него есть еще несколько таких же песен, и это действительно лучшие его песни. В какой-то период для меня лучшей песней Вертинского стала «Молись, кунак, в стране чужой, молись, кунак, за край родной, молись за тех, кто сердцу мил, чтобы Господь их сохранил...» Это опять-таки специфическая ситуация человека «на другом берегу», который видит всех, кто «сердцу мил», но ничего не может сделать, чтобы «Господь их сохранил», а они – в опасности. Они – в страшной опасности, а он ничего не может сделать, он на другом берегу! Вот такая ситуация...

Где-то в книге о Толкине, которую я сейчас читаю, я встретил такую историю: отцу снится сон, что он находится на высоком берегу реки, а на другом берегу – его умершая дочь. Это река Стикс, река забвения. И он видит умершую дочь и пытается к ней добраться. Он бросается в реку и плывет – и просыпается в тот момент, когда в этой реке тонет. Вот такой сон. И я вспомнил, что такой сценарий в мифологии встречается очень часто –

вспомним хотя бы пресловутое «за речкой», устойчивую и популярную идиому времен афганской войны. Что «перейти реку» означает вернуться в «мир живых». Или наоборот: соединиться с теми, кто умер. В снах или мифах река – это граница, отделяющая «мир живых» от «мира мертвых». И «перейти реку» означает либо вернуться в «мир живых», либо, что тоже случается, погрузиться в «мир мертвых». Это всегда путешествие в «иной мир».

Тут как-то пригласили меня на некую научную конференцию по социологии. Пришел я на эту конференцию, начал рассматривать присутствующих, некоторых я давно не видел. И вдруг ощутил нестерпимое чувство, будто бы я – герой булгаковских «Записок покойника», того и гляди надо будет обучаться езде на велосипеде. Но я-то живой! Это я в «страну мертвых» путешествие совершил! Это я каким-то таинственным образом, по крайней мере мысленно пересек Реку. Я вдруг понял, что такое «Записки покойника»! Это рассказ «человека на другом берегу», который, как и Вертинский, через водную преграду видит то, что ему нестерпимо дорого: Художественный театр. Но это опять-таки путешествие в «страну мертвых», попытка общения между живым героем Булгакова (Максудовым) и деятелями Художественного театра, мертвыми в том смысле, что представляют давно ушедший мир.

Причем, когда он описывает в этом романе Станиславского, создается ощущение, что тот тоже смотрел на всех присутствующих так, будто он – все еще живой, а его окружают мертвецы. И он, как Сизиф, пытается выбраться из этого зазеркалья к живым людям, каковым для него является Максудов, но никак не может: покойники облепили со всех сторон и держат. В конце концов потому Максудов и погибает, что в этом положении долго находиться невозможно, нужно либо (как Сизиф) на самом деле вернуться, либо (как Орфей) вывести из «царства мертвых» какую-нибудь очередную Эвридику.

Эта метафора «человек на другом берегу», она Вертинского очень хорошо характеризует, потому что он всегда оставался «на другом берегу», это человек, который всегда находится в си-

туации возвращения – в «потерянный рай», оставшийся на другом берегу.

– *Вообще всегда?*

– Всегда. Лет с 3-х, когда умерла его мать. Отец, кажется, после этого запил и тоже умер, когда мальчику было 5 лет. В 3 года мальчик лишился семьи, после этого жил по родне, по теткам, по чужим людям. Вертинский – сирота, и как всякий сирота или детдомовский (они, в принципе, мало чем отличаются), он – человек, конечно, очень пластичный, но и очень жесткий, очень независимый, человек, который находится в состоянии перманентной войны с исторической и социальной реальностью. Эта война его и сформировала, он пробыл на этой войне всю свою жизнь, пока не появилась возможность выйти на покой. Выйти на покой – в самом исчерпывающем смысле слова «покой», включая и тот, о котором говорится в заупокойной молитве.

Нам сегодня, в общем, по барабану, что Вертинский начинал, как пародист, однако к своему большому удивлению обнаружил, что его перелицовки воспринимаются публикой всерьез. Нам сегодня весь этот «контент» абсолютно не интересен. Не интересен до такой степени, что мы на него не обращаем внимания. Но очень может статься, что этот «контент» и тогда был никому не интересен. Что Вертинский всегда был «форматом», прежде всего – дискурса, маски, личности, судьбы. Что именно является для него «потерянным раем»? – да все, что угодно! Какая разница?! Кем именно был Вертинский? – да всем он был, и одновременно – никем. Именно этот «формат» интересен, а не его наполнение, потому что «контент» в данном случае может быть каким угодно.

– *В чем и заключается причина его «невидимости».*

– Да. Потому что это «формат». Был бы он разведчиком, так о нем уже давно, как о Зорге, например, написали бы книги и сняли бы кино.

– *У него была бы биография.*

– Был бы он эзотерическим учителем, как Гурджиев, и тогда бы у него была биография.

– *И учение.*

– И ученики. Как бы он ни реализовывал этот свой «формат», у него была бы биография.

– *А так получается, что его биография в этом вот «формате» как бы растворилась.*

– Говоря о «формате», не могу не отметить факт, который является ключом к биографии Вертинского: сотрудники внешней разведки предпочитают жениться на актрисах. Вот эта связь театра и разведки существует отнюдь не в моем воображении. Это – традиция. Я знаю многих людей, которые...

– *А жена Вертинского была кто?*

– Естественно, актриса! Тут «формат» разработан до таких мелких деталей, реализован в такой полноте и выдержан в такой строгости, что... Я думаю, что тот интерес, который сегодня вызывает фигура Вертинского, его бессмертие, вечная его актуальность связаны именно с этим – ведь и у Джима Моррисона есть песня «I'm a spy...». Не то, чтобы все, но очень многие сегодня... разночинный интеллигент 90-х или нулевых годов в Москве или Петербурге, да и вообще в России, да и не только в России, вынужден адаптировать этот «формат». Как всякий человек, адаптирующий «формат», этот интеллигент, конечно, не может пройти мимо такого безупречного образца, как Вертинский.

Тут поневоле вспоминаешь Штирлица: вот ещё один персонаж, важнейшим характерологическим признаком которого являются трудности с идентификацией, с определением «подлинного лица».

– *Все тот же вопрос «Who is Mr. X», как в старой оперетте?*

– Да, только на вопрос, кто Штирлиц таков на самом деле, ответить практически невозможно: он ведь не настоящий немец, тем более нацист, об этом хорошо помнит он сам, знают зрители и догадываются герои фильма, он только маску одел, притом по необходимости, а не по доброй воле – как говорится, «формат», ничего личного, служба такая, однако и для соотечественников он всегда stranger, «чужак», «пришелец» из какой-то альтернативной реальности («заграницы»). В текстах Ю.Семенова

этот маргинальный статус героя детально и тщательно артикулирован, на экране попросту очевиден, в нем-то и состоит message, который сделал Штирлица «культовым персонажем» 70-х, это и есть его уникальная идентичность, особенно хорошо распознаваемая по текстам апокрифов: «человек в маске».

– *То есть кто-то, кто всегда способен эту маску снять...*

– ...и наглядно продемонстрировать нам *conjunctio oppositorum*, ради которого, собственно говоря, затевается всякий маскарад: красавица оборачивается чудовищем, как в инициатических мистериях...

– *...или сотрудником «органов», как в советских анекдотах...*

– ...а какой-нибудь «праздный гуляка» и фигляр вдруг предстает мастером стратегического выбора – как в средневековых моралите.

Когда я впервые познакомился с творчеством Гребенщикова, на меня оно никакого впечатления не произвело. Я понял, что это – серьезный человек, который занят серьезным делом, только когда услышал, как он исполняет Вертинского.

Кстати, ариетки Вертинского сегодня – очень хороший тест на понимание «формата». Именно потому, что речь идет о «формате», причем о «формате» сложном, трудном, обремененном мифологией, воспроизвести этот «формат» чрезвычайно трудно. Для этого надо понимать, из какого «сора», перефразируя Ахматову, он вырастает. Для того, чтобы адекватно спеть Вертинского, надо понимать, откуда, из какого «Я», поскольку ни о каком «Мы» тут речи быть не может, все это прорастает. Кто, выражаясь научно, является субъектом этого дискурса. И по тому, как эти песни исполняет Гребенщиков, видно, что он все это понимает.

Все, кто любит Вертинского, так или иначе соотносят себя с этой маской. А те, кто эту маску не чувствует, не видит, не понимает... У Гребенщикова есть высказывание, которое очень точно воспроизводит эту маску и является эквивалентом метафоры «человека на другом берегу», о том, почему его группа называется «Аквариум», а не как-то иначе: «Мы существуем на виду у всех, но в среде принципиально отличной от окружаю-

щей»; апокриф ли это или было сказано на самом деле – в данном случае не важно.

Возвращаясь к Вертинскому, я хочу привести одну фразу из автобиографии Майлса Дэвиса: «Когда ты черный, ты всегда играешь какую-то роль...» Почему ему надо играть какую-то роль? Потому что он не просто «черный», он амбициозный «черный». Он талантливый «черный», который хочет сделать карьеру, а следовательно – добиться признания в сообществе «белых», которое его, естественно, отторгает – просто потому, что это «чужак». Майлс Дэвис – тоже «человек на другом берегу». На другом берегу по отношению к чему? – к миру «белого» артистического истеблишмента, к элите, коротко говоря. Он не может не хотеть принадлежать к этому кругу, но он не может и перестать быть «черным». Такая ситуация, которую психотерапевты называют *double bind*, или «двойная повязка», очень хорошо объясняет биографию и Майлса Дэвиса, и Энтони Брэкстона, и многих других «черных» музыкантов как стремление обрести, наконец, «потерянный рай», в котором никто из них никогда не был.

В нашей стране провинциал, тем более из разночинцев, тем более сирота или человек, не обремененный влиятельными знакомыми – это всегда «черный», идиоматика устной речи отечественного «среднего класса» это специфическое положение вещей отображает почти буквально: «жить, как белый человек...»

Думаю, что с Вертинским, Булгаковым и Маяковским дело обстояло точно так же. Вертинский всегда был эмигрантом. И когда мальчишкой пытался устроиться в Киеве, и когда в Москве ходил за Маяковским, и когда жил за границей, и даже когда вернулся на Родину, он всегда оставался эмигрантом. Вертинский никогда не мог стать ни «одним из нас», ни одним из них. У него всегда было ощущение невидимой, но очень плотной завесы, отделяющей его от всех остальных.

К тому времени, когда Вертинский примерил на себя эту свою маску, она уже стала идиомой. Она была затаскана до предела, и воспринимать эту маску Вертинского как искусство невозможно, это – идиома. Это – общее место. Это – как соломен-

ное канотье или залихватское «ларифля» у французского мастера эстрады – знак приверженности к массовым «уличным» идиомам, а не к идеалам высокого искусства. Это – знак, понятный всем: я не принадлежу к буржуазии, я не принадлежу к пролетариату, я не принадлежу к городу, я не принадлежу к деревне, я не принадлежу ни к какому сообществу, я сам по себе. Это абсолютно партикулярная точка зрения: я говорю от себя, не люблю – не слушайте, но врать не мешайте. Или: я – ни «запад», ни «восток», ни «мафия» и ни «полиция», ни «масса» и не «элита», я сам по себе. У этой позиции в русской культуре есть предшественники, это позиция юродивого, который никто. Это – позиция суфийского дервиша, из-под маски которого говорит Гурджиев, это – сценический «месседж» Вертинского.

Те же идиомы, кстати, встречаются и у Ренаты Литвиновой, некоторые ее жесты – ну просто Вертинский! Что она изображает? Ее личный message замечательно передается фразочкой «как бы»: «Ну вот, сейчас я как бы стюардесса», «Ну вот, я сейчас как бы женщина», «Ну вот, я сейчас как бы писатель». В чем тут состоит «послание», с которым артист обращается к публике? – в этом «как бы», «tat sat» адвайта-веданты. В демонстрации того, что социологи называют «role distance», т.е. хорошо заметного несовпадения между идентичностью человека и его социальной ролью – идентичность и социальная роль как бы напаялены друг на друга. Что у Ренаты Литвиновой, что у Вертинского тут всегда есть дистанция, я – это вовсе не моя роль и не мои герои.

Почти по Лермонтову: «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый...» Неведомый для кого? – боюсь, что и для себя тоже. Я не знаю, кто «я», но я – точно не «он» или «она», точно не это... Примеров тут множество и в повседневной жизни, и в искусстве, и даже в политике: Вертинский свою поэтику и Жириновский свою риторику строят как раз на демонстрации этой самой «role distance», т.е. на несовпадении ситуационной, контекстуально и прагматически обусловленной роли с идентичностью («я» или «мы»). Ту же самую функцию исполняет и формула извинения, которую произносит практически каждый кинокил-

лер: «nothing personal, just a business», т.е. убийство совершается в силу обстоятельств, над которыми «говорящий» не властен, а вовсе не по каким-либо, упаси Бог, сугубо личным мотивам.

Публике как бы посылается весть: «теперь я вынужден, как и вы, притворяться, «играть роль», но погодите, обстоятельства изменятся, и тогда...»

– *По-твоему, Жириновский только «играет роль» и дурачит публику, а на самом деле...?*

– Нет, конечно: нам демонстрируется некий хорошо сконструированный образец прагматически эффективного поведения, который на самом деле, а не «как бы», воплощает императивы господствующей политической культуры и в этом качестве отнюдь не ставится под сомнение. Но одновременно нам демонстрируется и классическое брехтовское «отстранение» от этого образца, вполне лояльное, однако сугубо техническое, инструментальное и потому дистанцированное, иногда даже насмешливое отношение к образу действий, которое этот образец предполагает.

Такое двусмысленное поведение, характерное для маргинальных сообществ («гетто» и субкультур, в том числе криминальных), обычно определяют как «лукавство», но и Вертинский, и Жириновский, и Достоевский, и вообще «русский человек» в качестве субъектов публичного дискурса – до крайности лукавы: ничего нельзя понимать буквально (а уж тем более – цитировать).

– *Кстати, за что Вертинского выдворяют из Румынии?*

– За то, что не хочет тусоваться с настоящими эмигрантами, он не считает себя эмигрантом, он считает себя, в лучшем случае, беженцем. Причем, беженцем от гражданской войны, а не от революции. У него абсолютно нет политического мотива. Поэтому он не возвращается на Родину, не дружит с советскими, но и с эмигрантами, с белоэмигрантами он тоже не дружит: он – артист, его место в буфете. И роли он играет – что в «Анне на шее», что в «Заговоре обреченных», что на сцене – все какие-то инопланетяне, «чужаки» опять-таки в исчерпывающем смысле этого слова. Там все персонажи узнаваемы и все роли

понятны, кроме этой. А этот – из какой-то запредельной, трансцендентной дали, который почему-то оказался тут, среди нас, и вынужден жить, как гигантская ракушка в аквариуме.

Мы сегодня уже очень многое у Вертинского по содержанию не воспринимаем (да почти ничего по содержанию не воспринимаем), мы воспринимаем главным образом этот жест, интонацию, позу, подчеркивающие зазор между идентичностью и ролью, между лицом и маской. Это маска кого? Догадайтесь! А под маской кто? Догадайтесь! И маска может быть маской кого угодно, и лицо принадлежать кому угодно, но они точно не совпадают.

Понятно, что это – обычная ситуация актера, или разведчика, или эмигранта, или эзотерического учителя... Более того – это обычная ситуация всякого взрослого и деятельного человека, которого угораздило «жить в эпоху перемен».

Если бы Вертинский был близок к футуристам и, соответственно, к Брикам, он никуда бы не уехал. Если бы он был близок к Художественному театру, он бы тоже никуда не уехал. Если бы он входил в какую-нибудь «партию», он был бы расстрелян.

– А так ему чекисты простили даже посвящение павшим в 1918 году юнкерам.

– В этом романсе нет идеологии, это – не партийная песня. Это – стон сквозь зубы, реакция взрослого мужчины на то, что поубивали мальчишек. Это вообще вне политики! Это совсем другая история. Потому что, когда начинают убивать мальчишек, это неправильно, вне зависимости от того, под какими лозунгами это убийство совершается!

– Да. Точно также эта песня могла быть посвящена мальчишкам, убитым на баррикадах.

– Оно так часто и происходило. Был же такой знаменитый вальсок, «Синенький скромный платочек» Ежи Петербургского, автора многих популярных танго в те времена, о которых мы говорим, эстрадный шлягер, который первоначально был адресован солдатам первой мировой... «Полюшко-поле» такая же песня... Или вот пресловутая «Лили Марлен»... Эти песни одинаково легко поются под самыми разными знаменами, их очень легко переокрасить, потому что сами по себе они и не

красные, и не белые, они вообще из иного ряда. Это все-таки песни о судьбе частного человека в эпоху перемен и катаклизмов. Как и некоторые другие песни, возникшие в сугубо партийной среде, но потом получившие массовое распространение, как, например, «Любо, братцы, любо...» Ведь там не говорится, за кого сражается атаман... Это – полевой командир, лидер, который сегодня вместе со всеми, кто за ним последовал, входит в одну коалицию, завтра – в другую, а послезавтра и во все бежит за границу, как Нестор Махно.

– *Или как персонажи какого-нибудь вестерна с Клинтом Иствудом в главной роли...*

– В этом Вертинский был на редкость трезв и лишен иллюзий: нету идеологии, которая выражала бы позицию частного человека, и быть не может. А что может быть? Интонация, характерный жест, тень гримасы на лице. Когда всерьез начинаешь размышлять о его творчестве, личности и судьбе, прежде всего вспоминаешь лица опытных актеров или ветеранов разведки. У них всегда лица стертые, лишенные каких-либо «особых примет» и по этой причине очень плохо запоминаемые или поддающиеся описанию. Вся идеология Вертинского сводится к фразе: «Мне как-то приснилось, что сердце мое не болит...»

– *Вот суть его судьбы: у него болело сердце...*

– ...и он искал такое место на свете, где сердце его перестало бы болеть. И он такое место нашел. Но напрасно думать, что это – Советский Союз. Это – семья и стихия родного языка. Как у Орнетта Коулмена: друзья и соседи. И это место какое-то удивительно не политическое.

Время от времени случается так, что какие-то люди, наименее терпеливые и адаптированные, а это, кстати, не самая успешная публика, независимо друг от друга вдруг про себя понимают: «Все! Не могу больше! Хватит! Избавьте меня от белых музыкантов с их сольфеджио и хорошо темперированным клавиром! Отстаньте от меня с этой вашей демократией! – или монархией! – или реформами! – или вашим долбаным дресс-кодом! – или политкорректностью! – или интернетом!» – или чем-то еще. Хватит! Навоевались! Пускай другие воюют...

Коулмен или Вертинский становятся актуальными именно в такие моменты, когда любые актуальные «наработки», все равно – политические, экономические, юридические – утрачивают всякую привлекательность, когда публика (советская, или американская, или какая угодно) вдруг начинает понимать, что одежда, пошитая для нее лидерами или элитой (институциональная, поведенческая, дискурсивная), как говорится, мешает жить, не в пору, достала. «Какие у тебя претензии к этой одежде? Она пошита из плохого материала? – Да нет, из самого лучшего, какой был. – Она не соответствует требованиям моды или дресс-кода? – Соответствует. – Ты не это заказывал? – Это. – Так в чем тогда дело?! – Она мне не впору!» В этом аффекте нет никакой идеологии, тут, что называется, натура прорывается, идентичность, как говорят социологи: одежда, конечно, чудо как хороша и вполне соответствует действующим конвенциям или социальным нормам, однако она, как выяснилось, стесняет движения и в некоторых важных бытовых ситуациях просто неудобна – носить эту одежду поневоле приходится, другой просто нет, но нет и охоты «имитировать оргазм» или как-нибудь еще «делать вид», будто бы вам все это интересно.

У них нет позитивной программы, ни у Коулмена, ни у Вертинского. Они просто говорят: «Все, это не годится! Это мне не к лицу! Это не по-нашему!» И дальше надо либо костюм подгонять по фигуре, либо уже вооруженной рукой заставлять всю эту публику носить то, что для нее пошили.

Тексты и музыка Вертинского возникают как раз в такой ситуации, и это всегда дискурс в идиомах улицы, ситуационный, злободневный, а потому вне конкретной «полевой» ситуации он часто непонятен. Это дискурс очень изменчивый и очень личный по интонации, потому что перед нами не оратор, который обращается к народу от имени истины и общего блага, это частный человек, который обращается к другим частным людям.

У Орнетта Коулмена есть альбом, который так и называется: «Для друзей и соседей». Кстати, один из лучших его дисков. Вертинский тоже обращается к друзьям и соседям. Ничего безличного, ничего обращенного к так называемой «массовой пуб-

лике», к социальным классам и категориям, это действительно разговор на кухне.

– По-моему, тот джазовый клуб, в котором Коулмен играл свои концерты, так и назывался – «Кухня».

– Во всяком случае, это было небольшое помещение, переделанное из склада, и три четверти публики составляли такие же, как он, музыканты («друзья и соседи» по ремеслу), а также те люди, которые были для Коулмена обыкновенными друзьями и соседями.

Я помню, как на одном из концертов «Черного Обелиска» кто-то из ребят жаловался, что на распространении билетов заработать невозможно, так как приходят все свои, с которых деньги за билеты брать запаadlo...

* * *

Недавно вышла большая книга Ольги Вайнштейн «Денди». Это – отдельная тема для разговора о Вертинском³¹, потому что более яркого представителя дендизма в тот период, о котором идет речь, с 1912 по 1920 год, пожалуй, не было. Конечно, он не был инициатором этого направления, но он очень хорошо понял тот намек, которым для многих послужила желтая кофта Маяковского. Ведь он ходил тогда вместе с этими ребятами по Кузнецкому мосту, эпатируя обывателей. Его сначала Белый Пьеро, а потом Черный Пьеро – это ведь тоже цитата – из Дурова, такая же цитата, как и «Белый пудель» Куприна. Но это и цитата из Маяковского, его «желтой кофты». Мы сегодня этой цитатности Вертинского не чувствуем, потому что это – современная ему, а не нам массовая культура. Что звучало в ресторанах? Что напевали про себя модистки или гимназисты, спешащие по своим делам? Подо что они танцевали? Мы этого ничего не знаем, и можем только догадываться, что, допустим, идиоматика танго, к которой так часто прибегает Вертинский, связана с тем, что он использует дискурс разночинной улицы. Так же, как Игорь Северянин, как

³¹ Вайнштейн О.Б. Денди: Мода, литература, стиль жизни. М.: НЛО, 2005.

Владимир Маяковский, как любой уважающий себя поэт той эпохи. Просто он использует эту идиоматику иначе, чем другие.

– *Но ведь и Маяковский тоже из разночинцев!*

– Почему я и вспомнил ту фразу из автобиографии Майлса Дэвиса: она меня будто ударила своей точностью, однозначностью и компактностью. Я чувствовал, откуда идет это актерство Вертинского (Маяковского, Булгакова), откуда эта очевидная тенденция к дендизму, свойственная именно провинциалам, именно «среднему классу», но никак не обитателям элитных столичных салонов – у них модная одежда считалась дурным тоном.

– *Им нет нужды быть денди, они и так потомственные обитатели столичных гетто.*

– Кстати, размышляя о Вертинском, я начал понимать, что такое панк – ну, не то, чтобы понимать, но чувствовать его. Эта музыка никогда мне не была интересна, у меня в музыке – другие вкусы. Тем более, что исторически у меня сложилось достаточно близкое знакомство с «тяжелой» музыкой, а эта музыка от панка отстраняет. Но вот, размышляя о Вертинском, я начал видеть то, что с некоторой долей условности можно назвать традицией, хотя и с очень большой долей условности. Есть такая дама – Вивьен Вествуд, она тут очень кстати, можно еще вспомнить Сашу Петлюру. Это – некий очень странный пунктир преемственности, где следующее поколение, в отличие от того, как это бывает у животных или растений, удивительно непохоже на своих родителей. И только внимательное изучение домашней библиотеки, содержимого карманов, круга интимных партнеров или оговорок, вынырывающих из потока речи, позволяет догадаться, что это – очередное воплощение того же самого архетипа.

Конечно, Вертинский и дендизм – это очень большая тема, но я потихоньку подбираюсь к еще одному большому вопросу, который меня тоже поразил, и который я тоже хочу проиллюстрировать несколькими цитатами. Для меня самого это сопоставление невероятное, неожиданное: Вертинский и Толкин. Чем больше я читаю о творчестве Толкина, тем больше меня поражает обилие сходств и в образах, и в манере подачи, и, до некоторой степени, в образе жизни.

Несмотря на то что Вертинский всю жизнь двигался, а Толкин оставался на одном месте, в их биографиях есть один чрезвычайно похожий момент: оба они закончили свои дни в гетто, созданном своими руками из собственной семьи. Они оба замкнулись, закрылись в семье, так бывает, когда человек устраивает себе убежище, потом уходит в него и затворяет за собой дверь. И Толкин в своей семье, со своим творчеством, и Вертинский в конце концов... хотя опять-таки до какой степени мы можем говорить здесь «в конце концов»? Ведь эту самую Лидию с грузинской фамилией – тоже ведь, кстати, традиция! – он нашел где-то в своем кругу?

– *В Китае.*

– И, зная о Вертинском хоть что-нибудь, возникает ощущение, что эта привычка создавать вокруг себя тщательно подобранный «свой круг», который является средостением между личным пространством и окружающим миром... эта привычка, эта манера жизни, которую он практиковал по приезду в Советский Союз, Вертинскому была свойственна всегда.

– *То есть он везде, где бы ни жил, создавал такое гетто из друзей и поклонников, и эти гетто менялись в зависимости от ситуации?*

– У Гурджиева, например, они даже не особенно менялись, они перемещались вместе с ним.

– *И не факт, что у Вертинского было не так, мы просто мало что про это знаем. Но известно, что харбинское гетто вместе с ним переместилось в Москву.*

– Тут в книге о Толкине есть фрагменты, которые я хочу процитировать – уж больно они кстати! Итак, страница 441: «...Главный сюжетный рисунок повести о Тьюрине многим обязан “Сказанию о Куллерво” из “Калевалы”, которое Толкин перевел стихами еще в 1914 году (обратим внимание на дату! – А.И.). В обеих историях герой теряет семью и растет приемышем, и в характере у него развивается нечто жестокое и своевольное. И там, и там он женится на заблудившейся девушке (или соблазняет ее), а позже девушка узнает, что она – его сестра, и топится в реке; и там, и там обнаруживает, что

его мать ушла и родной дом опустел, а его самого все осуждают...» А ведь это – очень точное описание того, что реально случилось с Вертинским, включая его первую женитьбу на Ирэн, героине одного из его романсов. Конечно, он не опознал в ней свою сестру, но, судя по тому немногому, что нам известно, она как раз... да.

...Верный пес приводит Куллерво к месту, где тот встретил свою сестру, и Куллерво, как и Тьюрин, спрашивает у своего меча, согласен ли тот выпить его кровь, на что тот, как и меч Тьюрина, саркастически отвечает: «Отчего же не желать мне мяса грешного отведать и напиться сдобной крови, коль пронзаю я безгрешных, пью я кровь из неповинных?..»

Этот текст из «Калевалы» вполне мог бы стать фрагментом какой-нибудь «арии», потому что это – реальная история из жизни Вертинского и вполне сюжет для Вертинского.

– *Получается так, что биография Вертинского – это типичный случай?*

– Да, это типичный случай. Более того, у этого типичного случая есть и общий знаменатель, как мы видим по датам: это первая мировая война, на которой Вертинский хлебнул фронтового опыта выше крыши (правда, про это он никогда не говорил), как и Толкин, который тоже был солдатом-пехотинцем на первой мировой и тоже никогда про это не говорил. Здесь есть одна деталь, которая очень кстати: из опыта первой мировой войны вышли не только Ремарк, Олдингтон и Хемингуэй. По большей части писатели и художники так называемого «потерянного поколения» были санитарями, как Вертинский, или солдатами-пехотинцами, как Толкин. Это все тоже очень специфические «амплуа»: мало того, что человек на войне, он видит изнанку войны.

Так вот, писатели, ставшие основоположниками литературы «fantasy», они тоже из пехотинцев или санитаров первой мировой, включая самого Толкина, он не один такой, просто он самый знаменитый из них. Если Ремарка или Хемингуэя переложить немножечко другим языком, перед нами будут типичные эпические песни (так, во всяком случае, полагал Набоков). Я не знаю, до какой степени Ремарк и Хемингуэй отдавали себе в

этом отчет (скорее всего, вряд ли), но сходство между классическими северными сагами и сюжетами Ремарка или раннего Хемингуэя поразительно!

– *Получается, что и романы Вертинского могли бы быть написаны в прозе и быть сагами?*

– Более того, я тебе сейчас цитату прочитаю из одного подлинного древнеанглийского стихотворения, к которому Толкин сочинил глоссу: «Желания моего духа толкают меня в странствия через волны открытого моря, говоря мне, дабы там, за холмами воды и страной китов искал я страну незнакомцев. Нет у меня настроения играть на арфе, не нужно мне колец в подарок, нет мне радости в женщинах, нет удовольствия в этом мире, нет дела до чего-либо иного, и только бегущие волны манят меня!» Ну чем тебе не Вертинский? Немножко по-другому, потому что это все-таки стилизация под древнеанглийскую поэзию.

– *Но Вертинский – тоже стилизация?*

– Но Вертинский – это стилизация под народный романс, под те текстá, что пелись под шарманку в трактире. Сегодня мы бы сказали, что это – эксплуатация идиом, привычных массовому слушателю – стратегия, естественная для всякого «отщепенца». У Толкина другой, английский, но современный Вертинскому, вариант того же самого «месседжа», той же самой маски. И мы видим, насколько велико сходство, иногда вплоть до текстуальных совпадений.

Но эти суждения о Толкине, который я тут прочитал, позволяет понять еще, чем таким в конце концов для Вертинского стала Россия. Для него Россия в конце концов стала той самой землей за бескрайним морем, «за холмами воды и страной китов», где человек если не получает бессмертие, то по крайней мере исцеляется от тоски. Случилось ли это с Вертинским на самом деле – Бог весть. Но это, по крайней мере, хорошо объясняет истоки и смысл его специфического патриотизма.

Был в русской литературе такой писатель, который занимался примерно тем же: Александр Грин(евский), недавно я по радио услышал, что мы его сильно недооцениваем и плохо понимаем. С той лишь поправкой, что у Вертинского другой образец

для заимствований и стилизации, это не древняя английская поэзия, как у филолога Толкина, это современный ему городской фольклор или, как бы мы сказали сегодня, массовая культура (как позднее у Высоцкого).

Любой такой текст строится по образцу легенды, которую сочиняет Штирлиц, сидя в подвале у Мюллера: ему надо правдоподобно объяснить, каким образом его отпечатки пальцев попали на чемодан русской радистки. Объяснить так, чтобы с одной стороны это объяснение идеально согласовывалось с фактами и выдерживало бы самую жесткую проверку, а с другой – позволило бы ему выйти из подвала. Это – архетипическая ситуация, в которой разворачивается творчество и Толкина, и Джойса, и Фоменко, и Вертинского, и даже Майлса Дэвиса, как оно представлено в его «Автобиографии». Да в общем-то таковы все наиболее интересные писатели и мыслители XX века: они все заперты в каком-нибудь подвале и сочиняют легенду, которая позволит им на законном основании оттуда выйти.

Коротко говоря, Вертинский не был «казенным» патриотом – он занимался конструированием альтернативной реальности, как Толкин или Александр Грин, в конечном итоге – как тот же товарищ Сталин. Это вообще любимое занятие тех³², кто сформировался «в эпоху перемен», на войне или в подполье; более того, для русской культуры Вертинский в этом качестве сохраняет непреходящее значение по сей день, как Шехтель для частной архитектуры и примерно в том же контексте. Во всяком случае, в идиомах национального дискурса, актуального национального языка и сознания этого аффекта «утраченной Родины», которую надо сконструировать заново, помимо Вертинского внятно не выразил никто.

В советское время на каждом углу висел лозунг, который, по-моему, замечательно определяет границы любой публичной деятельности, идет ли речь о политике, актере или музы-

³² См.: *Freedman J., Combs G. Narrative Therapy. The Social Construction of Preferred Realities*. N.Y.–L.: Norton, 1996 (*Фридман Д., Комбс Д.* Конструирование иных реальностей. История и рассказы как терапия. М.: Класс, 2001).

канте: «планы партии – планы народа!». Здесь имеется в виду, что успех публичной деятельности представляет собой точку пересечения двух автономных, возникающих, развивающихся и существующих независимо друг от друга потоков дискурса – дискурс начальства (лидера или элиты) и дискурс народа (массы, публики). Как мы понимаем, эстрадный артист очень похож на публичного политика: они оба выступают со сцены посреди большой толпы. И эта толпа приходит на выступление что эстрадного артиста, что публичного политика не потому, что так полагается, а потому, что это почему-то интересно. Любой такой эстрадный успех, будь то у политика или артиста, в решающей степени зависит от того, насколько принцип «планы партии – планы народа!» выдержан в актуальном дискурсе.

Этот принцип, кстати, действует и в экономике. Успех любой экономической политики зависит от того, в какой степени большая экономика государства согласуется с маленькой экономикой семьи. Если эти две экономики не согласуются, то экономика семьи либо умирает, а вместе нею вымирает и население, либо эта экономика семьи начинает существовать параллельно государственной и становится той питательной почвой, из которой вырастает «теневая» экономика. Если у меня из-за политики государства в течение многих лет протекает крыша, то это означает только одно: либо вымру я, либо отомрет государство. Другого исхода в такой ситуации быть не может: кто-то из нас вымрет – и я подозреваю, что не всегда это должен быть именно я, бывший советский (или простой русский) человек.

Так же примерно обстоит дело и с искусством: эстрадный артист, конечно, может выходить на сцену с каким угодно дискурсом, но при этом он должен помнить, что между его артистическими метафорами, стилистикой, маской и тем, что творится в голове у публики, должно быть некоторое соответствие – конгруэнтность, как говорят математики. Вот почему эстрадный артист не может позволить себе роскошь пренебрегать фольклором, более того – фольклором актуальным, а не историческим: когда люди образованные предъявляют пре-

тензии к лексике или интонациям такого артиста, то надо эти же претензии адресовать и «улице», т.е. все тому же «просто-му» человеку.

Кто ж виноват, если в 70-е годы «улица» в России говорила исключительно «по фене» и с теми же интонациями, что у Высоцкого?! – или, когда мы говорим о Вертинском, надо подумывать, а что же слушали в ресторанах тогдашние обыватели?

– *Итак, по-твоему, герой нашего времени – это средний человек?*

– Ну, безусловно, это реальный прототип судьбы и маски Вертинского – как, впрочем, и Лермонтова тоже. Кто, по-твоему, такая Эдит Пиаф? – кто такие Стинг или Оззи Осборн? Это ведь все типичный «средний класс», люди из провинции, географической или социальной – не важно. Это люди, которые ничем не обязаны ни своему имени и семье, ни пресловутой «мохнатой лапе», ни даже какой-нибудь «фабрике звезд». Люди, которые очень рано, что называется, «выпали из гнезда» и потому делали себя сами – из таких в основном и состоит любая возможная публика...

Д. Источники заимствований и стимулов к размышлению

- Абельс Х.* Интеракция, идентификация, презентация. Введение в интерпретативную социологию. СПб.: Алетейя, 1996.
- Авени Э.* Империи времени: календари, часы, культуры. Киев: София, 1988.
- Адаир Д.* Психология лидерства. М.: Эксмо, 2005.
- Акимова Л.И.* (ред.). Жертвоприношение. Ритуал в культуре и искусстве от древности до наших дней. М.: ЯРК, 2000.
- Акофф Р., Эмери Ф.* О целенаправленных системах. М.: Сов. Радио, 1974.
- Альбедиль М.Ф., Цыба А.В.* (ред.). Астарта, вып. 2. Женщина в структурах власти архаических и традиционных обществ. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999.
- Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс-Ц/Кучково поле, 2001.
- Антипенко А.Л.* «Мифология богини» по данным «Одиссеи» Гомера. М.: Ладомир, 2002; Путь предков. Традиционные мотивы в «Аргонавтике» Аполлония Родосского. М.: Ладомир, 2005.
- Арабов Ю.Н.* Механика судеб. М.: ИД «Парад», 1997; Кинематограф и теория восприятия. М.: ВГИК, 2003.
- Арапов М.В., Ефимова Е.Н., Шрейдер Ю.А.* О смысле ранговых распределений. – НТИ, сер. 2, 1975, N 1, с. 9–14; Ранговые распределения в тексте и языке. – НТИ, сер. 2, 1975, N 2, с. 3–8.
- Арнаутова Ю.Е.* Колдуны и святые. Антропология болезни в средние века. СПб.: Алетейя, 2004.
- Бард А., Зодерквист Я.* Нетократия: новая правящая элита. СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2004.
- Баркер Дж.* Парадигмы мышления: Как увидеть новое и преуспеть в меняющемся мире. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
- Барт Р.* Сад, Фурье, Лойола. М.: Праксис, 2007.
- Барт Ф.* (ред.). Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий. М.: Новое изд-во, 2006.
- Бауман З.* Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005.
- Бауман З.* Свобода. М.: Новое изд-во, 2006.
- Бейтсон Г.* Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М.: Смысл, 2000.
- Белоусов В.* Мир, созданный Beatles: Театр масок. СПб.: Алетейя, 2007.

- Белый А. Евангелие как драма. М.: Русский Двор, 1996.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995.
- Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л.: ХудЛит, 1973.
- Биркхойзер-Оэри С. Мать: архетипический образ в волшебных сказках. М.: Когито-Центр, 2006.
- Благовецкий Н.А. Случай Вени Е. Психоаналитическое исследование поэмы «Москва-Петушки». СПб.: «Гуманитарная Академия», 2006.
- Блок М. Короли – чудотворцы. Очерки представлений о сверхъестественном характере королевской власти. М.: ЯРК, 1998.
- Бродель Ф. Время мира. М.: Весь Мир, 2007.
- Бутовская М.Л., Дьяконов И.Ю., Ванчатова М.А. Бредущие среди нас. Нищие в России и странах Европы, история и современность. М.: Научный мир, 2007.
- Бэндлер Р., Гриндер Д. Рефрейминг. Ориентация личности с помощью речевых стратегий. Воронеж: МОДЭК, 2000.
- Вайнштейн О.Б. Денди: Мода, литература, стиль жизни. М.: НЛО, 2005.
- Валянский С.И., Калужный Д.В., Недосекина И.С. Введение в хронотронику. Путь к оптимальному развитию. М.: АИРО-XX, 2001.
- ван Геннеп А. Ритуалы перехода. М.: Вост. литература, 1999.
- Ванейгем Р. Революция повседневной жизни. Трактат об умении жить для молодых поколений. М.: Гилея, 2005.
- Васильев Л.С. (ред.). Политическая интрига на Востоке. М.: Вост. лит-ра, 2000.
- Василькова А.Н. Душа и тело куклы: Природа условности куклы в искусстве XX века. М.: Аграф, 2003.
- Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984.
- Виззель Ф. Читая фортуны: гадательные книги в России после 1765 года. М.: ОГИ, 2007.
- Винникот Д. Игра и реальность. М.: Ин-т ОГИ, 2002.
- Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: НЛО, 2003.
- Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1962.
- Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007.
- Гидденс Э. Устроение общества. Очерки теории структуризации. М.: АкадПроект, 2003.
- Гинзбург К. Мифы–эмблемы–приметы: морфология и история. М.: Новое Изд-во, 2004.
- Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.
- Глейк Д. Хаос: рождение новой науки. СПб.: Амфора, 2000.
- Горан В.П. Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск: Наука, 1990.
- Гофман И. Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта. М.: Ин-т социологии РАН, 2004.
- Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-Пресс, 2000.
- Гранов В. Filiations: Будущее эдипова комплекса. СПб.: ВЕИП/Речь, 2001.
- Грасе д'Орсе. Язык птиц: тайная история Европы. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
- Грейвз Р. Белая богиня. Историческая грамматика поэтической мифологии. М.: Прогресс-Традиция, 1999.
- Грейвз Р. Мифы древней Греции. М.: Прогресс, 1992.
- Гудков Л. (ред.). Образ врага. М.: ОГИ, 2005.
- де Гольжак В. История в наследство. Семейный роман и социальная траектория. М.: Изд-во Института психотерапии, 2003.
- Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1998.

- Джонсон К. Мудрость Ягуара. Календарная магия мая. Киев: София, 1998.
- Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. М.: Канон-пресс, 2000.
- Дэвис М. Автобиография. Екатеринбург: Ультра-Культура/М.: София, 2005.
- Евреинов Н.Н. Театр и эшафот. К вопросу о происхождении театра как публичного института. – Мнемозина. Документы и факты из истории русского театра XX века. Вып. 1. М.: ГИТИС, 1996, с. 14–44.
- Емельянов В.В. Ниппурский календарь и ранняя история зодиака. СПб.: ПВ, 1999.
- Жибо А., Россохин А.В. (ред.). Французская психоаналитическая школа. СПб.: Питер, 2005.
- Жирар Р. Насилие и священное. М.: НЛО, 2000.
- Иванов В.И. Дионис и прадионисийство. СПб.: Алетейя, 1994.
- Иванов С.А. Блаженные похабы. Культурная история юродства. М.: ЯСК, 2005.
- Игнатьев А.А., Осипов Г.В., Райкова Д.Д. (ред.). Социальные показатели в системе научно-технической политики. М.: Прогресс, 1986.
- Игнатьев А.А., Келле В.Ж., Мирская Е.З. (ред.). Современная западная социология науки: критический анализ. М.: Наука, 1987.
- Кайюа Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры. М.: ОГИ, 2007.
- Кайюа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003.
- Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997.
- Кац Я. Исход из гетто. Социальный контекст эмансипации евреев 1770–1870. Иерусалим: Гешарим, 5767/Москва: Мосты культуры, 2007.
- Кваша Г.С., Аккуратова Ж.Н. Структурный гороскоп. М.: РИПОЛ, 1997.
- Кемпински А. Экзистенциальная психиатрия. М.: Совершенство/СПб.: Университетская книга, 1998.
- Кетс де Врис М. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
- Килборн Б. Исчезающие люди: стыд и внешний облик. М.: Когито-Центр, 2007.
- Киммел М. Гендерное общество. М.: РОССПЭН, 2006.
- Киньяр П. Секс и страх. СПб.: Азбука-Классика, 2004.
- Клири Т., Азиз С. Богиня Сумерек. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2003.
- Коротаев А.В., Клименко В.В., Прусаков Д.Б. Возникновение ислама. Социально-экологический и политико-антропологический контекст. М.: ОГИ, 2007.
- Коуз Р. Фирма, рынок и право. Нью-Йорк: Телекс, 1991.
- Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении. СПб.: Алетейя, 2003.
- Кристи Н. Приемлемое количество преступлений. СПб.: Алетейя, 2006.
- Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005.
- Кузин И.В. (ред.). Философия желания. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005.
- Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет: история религии бон. СПб.: Евразия, 1998.
- Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003.
- Кунде Й. Корпоративная религия. СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2002.
- Ларин В.В. Восточная зодиакальная символика. СПб.: Изд-во РНБ, 1999.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1983.
- Левитт С.Д., Дабнер С.Дж. Фрикономика. Мнение экономиста–диссидента о неожиданных связях между событиями и явлениями. М.- СПб.: Киев: ИД «Вильямс», 2007.
- Леруа М. Миф об иезуитах от Беранже до Мишле. М.: ЯСК, 2001.

- Лесной Д.С., Натансон Л.Г. Рулетка. М.: Рольф, 2001.
- Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. М.: Сов. радио, 1973.
- Лидов А.М. (ред.). Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М.: Индрик, 2006.
- Литтар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб.: Аxiоma, 2001.
- Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понярко Н.В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984.
- Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001.
- Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005.
- Лэнг Р. Расколотое «я». СПб.: Белый Кролик, 1995.
- Магильницкий С.Г. Шекспир о глазах и зрении. М.: Рос. Экон. Барометр, 1995.
- Макаров С.М. Шаманы, масоны, цирк. Сакральные истоки циркового искусства. М.: КомКнига, 2006.
- Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе. М.: Класс, 1998.
- Маккенна Т. Пища богов. Поиск первоначального Древа познания. М.: Изд-во Трансперсонального института, 1995.
- Малков С.Ю., Коротаев А.В. (ред.). История и синергетика: методология исследования. М.: КомКнига, 2005.
- Мамуна Н.В. Зодиак богов. М.: Алетейя, 2000.
- Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. М.: Логос, 2001.
- Мангейм К. Идеология и утопия. Очерки по социологии знания. М.: ИНИОН АН СССР, 1977.
- Менегетти А. Система и личность. М.: Серебряные нити, 1996; Психология лидера. М.: Агроконсалт, 1996.
- Мердок Дж.П. Социальная структура. М.: ОГИ, 2003.
- Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М.: Вос. лит-ра, 1988.
- Мид М. Мужское и женское. Исследование полового вопроса в меняющемся мире. М.: РОССПЭН, 2004.
- Минделл А. Лидер как мастер единоборства (введение в психологию демократии). М.: ИП РАН, 1993.
- Михайлин В.Ю. Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные культурные коды в индоевропейской традиции. М.: НЛЮ, 2005.
- Мухомелишвили Н.Л., Шабуров Н.В., Шрейдер Ю.А. Символ и поступок. Препринт. М.: МВСП «Сознание», 1987; Прагматика притчи. Препринт. М.: ИППИ АН СССР, 1989.
- Наумова Н.Ф. Целеполагание как системный процесс. Препринт. М.: ВНИИСИ АН СССР, 1982.
- Нильсен Ф. С. Глаз бури. СПб.: Алетейя, 2003.
- О'Брайен Б. Необыкновенное путешествие в безумие и обратно: Операторы и вещи. М.: Класс, 1996.
- Одесский М.П., Фельдман Д.М. Поэтика террора и новая административная ментальность: очерки истории формирования. М.: РГГУ, 1997.
- Олье Д. (ред.). Коллеж социологии 1937–1939. СПб.: Наука, 2004.
- Павленко А. Теория и театр. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
- Палья К. Личины сексуальности. Екатеринбург: У-Фактория/Изд-во Уральского университета, 2006.
- Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития. Дубна: Феникс+, 2006.

- Парчевский Г.Ф.* Карты и картежники. Панорама столичной жизни. СПб.: Изд-во «Пушкинского фонда», 1998.
- Попов В.А.* (ред.). Потестарность: генезис и эволюция. СПб.: МАЭ РАН, 1997.
- Постон Т., Стюарт Й.* Теория катастроф и ее приложения. М.: Мир, 1980.
- Прайс Д., Гюрсей С.* Исследования по наукометрии. Текучесть и постоянство авторства научных публикаций. – Международный форум по информации и документации, 1976, № 2, с.18–27, № 3, с. 21– 30.
- Приходько Е.В.* Двойное сокровище: Искусство прорицания в Древней Греции. М.: Прогресс, 1999.
- Птолемей К.* Тетрабиблос. М.: Юпитер, [1993].
- Радин П.* Трикстер. Исследование мифологии американских индейцев. СПб.: Евразия, 1999.
- Ранк О.* Травма рождения. М.: Аграф, 2004.
- Рейнгольд Д.С.* Мать, тревога и смерть. Комплекс трагической смерти. М.: PerSe, 2004.
- Сайд Э.В.* Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский Миръ, 2006.
- Селигмен А.* Проблема доверия. М.: Идея-Пресс, 2002.
- Скрынникова Т.Д.* Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. М.: Изд-во «Вост. лит-ра», 1997.
- Скэрдеруд Ф.* Беспокойство: путешествие в себя. Самара: ИД «Бахрах-М», 2003.
- Следзевский И.В.* (ред.). Граница. Рубеж. Переход. Социокультурное пограничье в глобальном и региональном аспектах. М.: Ин-т Африки РАН, 2005.
- Строев А.Ф.* «Те, кто поправляет Фортуну». Авантюристы Просвещения. М.: НЛО, 1998.
- Суриков И.Е.* Остракизм в Афинах. М.: ЯСК, 2006.
- Терентьев-Катанский А.П.* Иллюстрации к китайскому бестиарию. СПб.: ФормаТ, 2004.
- Тернер Дж.* Структура социологической теории. М.: Прогресс, 1985.
- Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
- Тэрнер В.* Символ и ритуал. М.: Вост. литература, 1983.
- Филипс Л., Йоргенсен М.В.* Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: ГЦ, 2004.
- Фрейденоберг О.М.* Миф и литература древности. М.: Наука, 1978.
- Фуко М.* Ненормальные. СПб.: Наука, 2004.
- Харрис Дж.* Коучинг: личностный рост и успех. СПб.: Речь, 2003.
- Хиллман Д.* Исцеляющий вымысел. СПб.: БСК, 1997.
- Хойслинг Р.* Социальные процессы как сетевые игры. М.: Логос-Альтера, 2003.
- Холмс П., Карп М.* (ред.). Психодрама: вдохновение и техника. М.: Класс, 1997.
- Хоффер Э.* Истинноверующий. Личность, власть и массовые общественные движения. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
- Чаликова В.А.* (ред.). Утопия и утопическое мышление: антология. М.: Прогресс, 1991.
- Чодороу Н.* Воспроизводство материнства: психоанализ и социология гендера. М.: РОССПЭН, 2006.
- Чхартшвили Г.Ш.* Писатель и самоубийство. М.: НЛО, 1999.
- Шварц-Салант Н.* Нарциссизм и трансформация личности. Психология нарциссических расстройств личности. М.: Класс, 2007.
- Шеллинг Т.* Стратегия конфликта. М.: ИРИСЭН, 2007.

- Шиппи Т.А. Дорога в Средиземье. СПб.–М.: Лимбус Пресс, 2003.
- Шпренгер Р. Мифы мотивации: Выходы из тупика. Калуга: «Духовное познание», 2004.
- Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. М.: Интербук, 1990.
- Шукүров Ш.М. (ред.). Храм земной и небесный. М.: Прогресс-Традиция, 2004.
- Шутценбергер А.А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача травм. М.: Изд-во Института психотерапии, 2005.
- Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М.: ОГИ, 2004.
- Щюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004.
- Эдингер Э.Ф. Эго и архетип. Индивидуация и религиозная функция психического. М.: PENTAGRAPHIC, 2000.
- Элиаде М. Космос и история. М.: Прогресс, 1987.
- Элиаде М. Ностальгия по истокам. М.: ИОИ, 2006.
- Элиас Н. Придворное общество. Исследования по социологии короля и придворной аристократии. М.: ЯСК, 2002.
- Эльячефф К., Эйниш Н. Дочки-матери: отношения троих. М.: Ин-т ОГИ, 2006.
- Энгельштейн Л. Скопцы и Царство Небесное. М.: НЛО, 2002.
- Эриксен Т.Х. Тирания момента: Время в эпоху информации. М.: Весь мир, 2003.
- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996.
- Эриксон Э. Молодой Лютер: психоаналитическое историческое исследование. М.: МФФ/«МЕДИУМ», 1996.
- Эритье Ф., Цирульник Б., Наури А., Ксантаку М., Вриньо Д. Инцест или кровосмешение. М.: Наталья Попова/«Кстати», 2000.
- Рабби Гад Эрлангер. Знаки времен. Зодиак в еврейской традиции. М.: Мосты культуры, 2008/Иерусалим: Гешарим, 5767.
- Юнг К.Г. Психология переноса. М.: Рефл-бук/Киев: Ваклер, 1997.
- Юнг К.Г. Символы трансформации. М.: PentaGraphic, 2000.
- Яблонский А.И. Математические модели в исследовании науки. М.: Наука, 1986.
- Ямпольский М. Демон и Лабиринт (деформации, диаграммы, мимесис). М.: НЛО, 1996.
- Янг-Айзендрат П. Ведьмы и герои. Феминистский подход к юнгианской психотерапии семейных пар. М.: Когито-Центр, 2005.
- Ярхо В.Н. Менандр. У истоков европейской комедии. М.: Лабиринт, 2004.

- Andrews F.M. (ed.). Scientific Productivity. The effectiveness of research groups in six countries. Cambridge, Mass.: Cambridge Univ. Press/Paris: Unesco, 1979.
- Appadurai A. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. – Public Culture, 1990, vol. 2, N 2, p. 1–24.
- Arday R. The Territorial Imperative. A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations. L.: Collins, 1966.
- Arendt H. The Human Condition. Chgo–L.: Univ. Chgo Press, 1958.
- Barker A.M. The Mother Syndrome in the Russian Folk Imagination. Columbus, Ohio: Slavica Publ., 1985.
- Bauman Z. Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press, 1989.
- Bennell B., Stokoe E. Discourse and Identity. Edinburg: Edinburg Univ. Press, 2006.
- Berendt J.E. The Jazz Book. L.: Paladin, 1984.

- Berger P.L., Berger B., Kellner H. The Homeless Mind: Modernization and Consciousness. N.Y.: Vintage Books, 1974.
- Bottomore T.B. Elites and Society. L.: Watts, 1964.
- Bourdieu P. The Biographical Illusion. Chgo, Ill.: Working Papers and Proceedings of the Center for Psychosocial Studies. N 14, 1987.
- Browning D.S., Fiorenca F.S. (eds.). Habermas, Modernity and Public Theology. N.Y.: Crossroad, 1992.
- Burt R.S., Doreian P. Testing a Structural Model of Perception: Conformity and Deviance with Respect to Journal Norms in Elite Sociological Methodology. – Quality and Quantity, 1982, vol. 16, N 1, p. 109–150.
- Calhoun C. (ed.). Habermas and the Public Sphere. Cambridge, Mass.–L.: MIT Press, 1992.
- Carr I. Miles Davis. A Critical Biography. L.: Paladin Books, 1984.
- Cohen A.P. The Symbolic Construction of Community. N.Y.–L.: Routledge, 1989.
- Cragh H. On Science and Underdevelopment. Roskilde: Rosk. Univ. Press, 1980.
- Crapanzano V. Hermes' Dilemma and Hamlet's Desire. On the Epistemology of Interpretation. Cambridge, Mass.–L.: Harvard Univ. Press, 1992.
- Deetz S.A. Democracy in the Age of Corporate Colonization. Developments in Communication and the Politics of Everyday Life. Albany, N.Y.: State Univ. N.Y. Press, 1992.
- Dixit A., Nalebuff B. Thinking Strategically. The Competitive Edge in Business, Politics and Everiday Life. N.Y.–L.: Norton, 1991.
- Douglas M. Natural Symbols. Explorations in Cosmology. L.–N.Y.: Routledge, 1996.
- Fanon F. Les Damnés de la Terre. P.: S.A.R.L., 1961.
- Featherstone M., Hepworth M., Turner B.S. (eds.). The Body. Social Process and Cultural Theory. L. etc.: SAGE, 1986.
- Fraser N. Sex, Lies, and the Public Sphere: Some Reflections on the Confirmation of Clarence Thomas. – Critical Inquiry, 1992, vol. 18, N 2, p. 595–612.
- Freedman J., Combs G. Narrative Therapy. The Social Construction of Preferred Realities. N.Y.–L.: Norton, 1996 (Фридман Д., Комбс Д. Конструирование иных реальностей. История и рассказы как терапия. М.: Класс, 2001).
- Glass J.M. Delusion: Internal Dimensions of Political Life. Chgo: Univ. Chgo Press, 1985.
- Glass J.M. Psychosis and Power: Threats to Democracy in the Self and the Group. Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press, 1995.
- Goffman E. Asylums. Essais on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates. N.Y.: Anchor Books, 1961.
- Goffman E. Stigma. Notes on Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1963.
- Goffman E. The Interaction Order. – American Sociological Review, 1983, vol. 48, N 1, p. 117–129.
- Gould Ch. Mythical Monsters. L.: Senate, 1995.
- Gruter M., Masters R.D. (eds.). Ostracism: A Social and Biological Phenomenon. N.Y.: Elsevier, 1986.
- Hallam E., Hokey J., Howart G. Beyond the Body: Death and Social Identity. L.: Routledge, 1999.
- Harvey D. The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell, 1989.
- Harvey K., Shalom C. (eds.). Language and Desire. Encoding sex, romance and intimacy. L.–N.Y.: Routledge, 1997.

- Hebdige D.* Hiding in the Light. L.–N.Y.: Routledge, 1988.
- Hebdige D.* Subculture. The Meaning of Stile. L.–N.Y., Routledge, 1988.
- Hepworth M., Turner B.S.* The Body. Social Process and Cultural Theory. L. etc.: SAGE, 1991.
- Inchausti R.* The Ignorant Perfection of Ordinary People. Albany, N.Y.: State Univ. N.Y. Press, 1991.
- Jenkins R.* Social Identity. L.–N.Y.: Routledge, 1996.
- Jervis R.* System Effects. Complexity in Political and Social Life. Princeton, N. J.: Princeton Univ. Press, 1997.
- Kantorowicz E.H.* The King's Two Bodies. Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1997.
- Keller E.F.* Reflections on Gender and Science. New Haven–L.: Yale Univ. Press, 1985.
- Kern H.* Through the Labyrinth. Designs and Meanings over 5.000 Years. Munich–L. – N.Y.: Prestel, 2000 (*Керн Г.* Лабиринты мира. Все тайны древних лабиринтов. СПб.: Азбука-классика, 2007).
- Kets de Vries M.F.R., Miller D.* The Neurotic Organization. Diagnosing and Changing Counterproductive Styles of Management. San Francisco, Cal.: Jossey-Bass, 1985.
- Knipe H., Maclay G.* The Dominant Man. The Pecking Order in Human Society. L.: Fontana/Collins, 1972.
- Kristeva J.* Strangers to Ourselves. N.Y.: Columbia Univ. Press, 1991.
- Lasswell H.* Psychopatology and Politics. N.Y.: The Viking Press, 1962.
- Lee B., Urban G.* (eds.). Semiotics, Self and Society. Berlin–N.Y.: Mouton de Gruyter, 1989.
- Leinhardt S.* (ed.). Social Networks: A developing Paradigm. N.Y. etc.: Acad. Press, 1977.
- Lifton R.J.* Revolutioary Immortality. Mao Tse-tung and the Chinese Cultural Revolution. N.Y.: Vintage Books, 1968.
- Lindholm C.* Charisma. Oxford: Blackwell, 1993.
- Lopez-Pedraza R.* Cultural Anxiety. N.Y.: Daimon Date Publ., 1995.
- Mannoni O.* Psychologie de la colonization. Paris: Seuil, 1950.
- Marks S.R.* Multiple Roles and Role Strain: Some Notes on Human Energy, Time and Commitment. – American Sociological Review, 1977, vol. 42 (December), p. 921–936.
- Merton R.K.* Sociology of Science. Theoretical and empirical investigations. Chcgo: Univ. Chcgo Press, 1973.
- Mills C.W.* The Power Elite. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1957.
- Mode H.* Fabeltiere und Daemonen. Die phantastische Welt der Mischwesen. Leipzig: Edition Leipzig, 1973.
- Moser H.* L'Eclat c'est moi. Zur Faszination unserer Skandale. Weinheim: Deutscher Studien Verlag, 1989.
- Mulkay M.J.* The Social Process of Innovation. L. etc.: Macmillan, 1972.
- Mullaby P.* Oedipus: Myth and Complex. A Review of Psychoanalytic Theory. N.Y.: Grove Press, 1955.
- Muller R.J.* The Marginal Self. An Existential Inquiry into Narcissism. Atl. Highlands, N.J.: Hum. Press Int., 1987.
- Nelson C., Grossberg L.* (eds.). Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana–Chcgo: Univ. Ill. Press, 1988.
- Neuwirth G.A.* A Weberian outline of a theory of community: its application to the «dark ghetto». – British Journal of Sociology, vol. 20 (1969), N 2, pp. 148–163.
- Pile S.* The Body and the City. Psychoanalysis, Space and Subjectivity. L.–N.Y.: Routledge, 1996.

- Price D. de Solla.* A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes. J. Amer. Soc. Inform. Sci., Baltimore, 1976, vol. 27, N 5, p. 292–306.
- Radding Ch.M.* Superstition to Science: Nature, Fortune, and the Passing of the Medieval Ordeal. – The American Historical Review, vol. 84, N 4 (October 1979), p. 945–969.
- Ries A., Ries L.* The Fall of Advertising and the Rise of Public Relations. L.: Collins, 2004.
- Robbins Th.* Cults, Converts and Charisma: The Sociology of New Religious Movements. L. etc.: SAGE, 1988.
- Rossi P.* Philosophy, Technology and the Arts in the Early Modern Era. L.: HarperCollins, 1970.
- Sargant W., Graves R.* Battle for the Mind. A Physiology of Conversion and Brain-washing. L. etc.: Heinemann, 1957.
- Schmitt C.* Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Cambridge, Mass.–L.: The MIT Press, 1988.
- Scott G.R.* A History of Torture. L.: Senate, 1995.
- Scott J.C.* Domination and the Art of Resistance. Hidden Transcripts. New Haven–L.: Yale Univ. Press, 1990.
- Shibutani T., Kwan K.M.* Ethnic Stratification. N.Y.: Macmillan, 1965.
- Shills E.* Center and Periphery. Essays in Macrosociology. Chcgo–L.: Univ. Chcgo Press, 1981.
- Shils E.* Tradition. Chcgo, Univ. Chcgo Press, 1981.
- Shramm W.* (ed.). Mass Communication. Urbana, Ill.: Ill. Univ. Press, 1960.
- Skinner B.F.* Beyond Freedom and Dignity. N.Y. etc.: Bantam/Vintage, 1971.
- Sorlin P.* Mass media. Key ideas. L.–N.Y.: Routledge, 1994.
- Stoltenberg J.* Refusing to Be a Man: Essays on Sex and Justice. Portland, Oreg.: Breitenbush Books, 1989; *Tucker S.* Gender, Fucking, and Utopia: An Essay in Response to John Stoltenberg's Refusing to Be a Man. – Social Text, N 22 (Spring 1992), p. 3–34.
- Stonequist E.* The Marginal Man. A Study in Personality and Culture Conflict. N.Y.: Russel, 1961.
- Szasz Th.S.* The Manufacture of Madness. A comparative study of the inquisition and the mental health movement. L.: Routledge & Kegan Paul, 1971.
- Taylor Ch.* Sources of Self. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1989.
- Turner V.W., Bruner E.M.* (eds.) The Anthropology of Experience. Urbana–Chcgo: Univ. Ill. Press, 1986.
- Urban G.* Culture's Public Face. – Public Culture, 1993, N 5, c. 213–238.
- Wallis R.* (ed.). On the Margins of Science: The Social Construction of Rejected Knowledge. Sociological Review Monograph 27. Keele: Univ. Keele Press, 1979.
- Walser R.* Running with the Devil: Power, Gender and Madness in Heavy Metal Music. Hanover, Penn.: Wesleyan Univ. Press, 1993.
- Walzer M.* Exodus and Revolution. N.Y.: Basic Books, 1985.
- Whitfield P.* Astrology: A History. L.: British Library, 2004.
- Whorf B.L.* Language, Thought, and Reality. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1956.
- Winkler J.J., Zeitlin F.I.* Nothing to do with Dionysos? Athenian Drama in its Social Context. Princeton, N.J.: Prin. Univ. Press, 1990.
- Winn B.* Technology as Cultural Process. Working Papers of International Institute for Applied Systems Analysis, WP-83-118. Laxenburg: IIASA, November 1983.

В. Источники заимствований и стимулов к размышлению

Wolfgang M.E., Savitz L., Johnston N. (eds.). The Sociology of Crime and Delinquency. N.Y.-L.: Wiley, 1962.

Zerubavel E. The Seven Day Circle: The History and Meaning of the Week. Chgo-L.: Univ. Chgo Press, 1989.

Zerubavel E. Time Maps. Collective Memory and the Social Shape of the Past. Chgo: Univ. Chgo Press, 2003.

Содержание

1. Введение	7
2. Проблема «успеха», социогенные патологии и феномен признания	15
3. Модели для сборки: рабочие термины, структуры созависимости и циклы изменений	47
4. Контекст признания, «театральная метафора» и проблема легитимации	117
5. Заключительные замечания	149

ПРИЛОЖЕНИЯ

A. Статус, продуктивность и профессиональная карьера	173
B. Беседа о мифологии: феномен и проблема свободы	207
C. Человек на другом берегу	225
D. Источники заимствований и стимулов к размышлению	254

ИГНАТЬЕВ Андрей Андреевич
ХРОНОСКОП,
или *Топография социального признания*

Издательство «ТРИ КВАДРАТА»
Москва 125319, ул. Усиевича 9, тел. (495)151-6781, факс (495)151-0272
e-mail: info@triquadrata.ru

Подписано в печать 30 января 2008 г. Формат 60х90/16. Печать офсетная.
Бумага офсетная №1. Печ. л. 16,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 53.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Московская типография №6»